

БОРИС ХАЗАНОВ К СЕВЕРУ ОТ БУДУЩЕГО

Борис
ХАЗАНОВ

К СЕВЕРУ
ОТ БУДУЩЕГО

КАЯЛА

СОВРЕМЕННАЯ КНИГА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

КАЯЛА 

Борис
ХАЗАНОВ

К СЕВЕРУ
ОТ БУДУЩЕГО

Избранная проза

КАЯЛА
Киев, 2020

УДК 821.161.1(430)06-3

X15

Хазанов Б.

X15 К северу от будущего. — Киев: Каяла, 2020. 348 с. — (Серия «Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-617-7697-52-6

Автор, видный представитель зарубежной русской литературы, предлагает вниманию читателей новую книгу прозы разных лет и жанров — художественной, эссеистической, автобиографической, etc.

УДК 821.161.1(430)06-3

© Б. Хазанов, 2020

© Издательство «Каяла» (Киев), 2020

К СЕВЕРУ
ОТ БУДУЩЕГО
Русско-немецкий роман

In den Flüssen nördlich der Zukunft
werf ich das Netz aus, das du
zögernd beschwerst mit von Steinen
geschriebenen Schatten.

Paul Celan

¹ На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты нагружаешь её тенями, что написали камни. *Пауль Целан*

ВРЕМЯ И Т.Д.

Поздно вечером 30 января 1945 года с командного мостика подводной лодки «С-13» были замечены огни пассажирского судна. Пароход «Вильгельм Густлофф», шедший с десятью тысячами беженцев из отрезанной Восточной Пруссии, шестипалубный, длиной несколько больше двухсот метров и водоизмещением 25 тысяч тонн, до войны принадлежал национал-социалистической организации «Сила через радость», потом был переоборудован под плавучий госпиталь, а позднее использован как транспортный корабль. Посадка происходила накануне, толпы беженцев загрохотали гавань Пиллау, последнего портового города, который ещё удерживали немецкие части. Два буксирных судна вывели перегруженный корабль из освобождённой от льда акватории порта; в открытом море корабль сопровождали три сторожевых судна. С наступлением темноты капитан приказал не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. Погоня продолжалась тридцать минут. Пароход был потоплен тремя торпедами. Утонуло 8800 человек, что представляло собой своеобразный рекорд. Недостатком субмарин класса «С-13» было слишком продолжительное время погружения. Уходящую лодку настигли глубинные бомбы эскадренного миноносца «Лев». Лодка опустилась на дно, где уже лежал «Густлофф». Немецкие спасательные суда смогли увезти 900 человек. Перед рассветом патрульный катер VP 1703 обнаружил на месте гибели, среди плавающих трупов и обломков корабля, шлюпку с двумя мёртвыми женщинами и годовалым ребёнком. Мальчик был жив, его усыновил матрос катера.

Вахтенный офицер Юрий Иванов не помнил, как был выловлен из ледяной воды. Он был доставлен в порт Эльбинг, куда только что вступили наши передовые части, наскоро оперирован и отправлен в глубокий тыл в одном из переполненных санитарных эшелонов, которые шли друг за другом из Пруссии и Прибалтики. Ему было 22 года. Конкурс не был препятствием

для него как для участника Отечественной войны, не говоря о том, что на десять девушек, подавших заявление, приходился один мужчина. Когда девица в треугольной причёске с коком над круглым лобиком, в платье в крупных розовых цветах из крепдешина, с глубоким вырезом и квадратными накладными плечами, гордая своими общественными полномочиями, вышла со списком, чтобы выкликнуть его фамилию, у дверей топтался ещё один представитель дефицитного пола — юнец в курточке и коротковатых брючках, очевидно, медалист. Это было собеседование с поступающими без экзаменов. Ив́анов (с ударением на втором слоге, чему он придавал особое значение; все, однако, говорили: Ивано́в) вошёл в аудиторию, где сидела приёмная комиссия: парторг факультета, женщина, заполнявшая бумаги, и старец в полотняном пиджачке и академической шапочке. Иванов шагал, опираясь на палку, переставляя искусственную ногу, глядя прямо перед собой, бледный, огненно-рыжий, казавшийся старше своих лет, в пенсне — кто тогда носил пенсне? — и с планкой орденов на тёмносинем в полоску пиджаке, который стоял на нём несколько колб, подошёл к столу и сел, словно ударился о стул. Ему был задан школьный вопрос; старец в ермолке мягко осведомился, что побудило его выбрать филологический факультет. Собеседование было закончено, неделей позже, в последних числах августа, он увидел своё имя на доске в списке принятых.

Удивительно, сколько событий уместилось в какие-нибудь шесть или семь месяцев. Кто не помнит этот год? Или, лучше сказать, кто его ещё помнит. То, что называют историей, вновь, как в древности, стало жанром литературы и усвоило все её сомнительные черты. Время, о котором идёт речь, — время не то чтобы баснословное, но такое, о котором не так-то просто вести рассказ. Парадокс недавней истории в том, что она куда менее надёжна, чем история далёкого прошлого. Даже то счастливое обстоятельство, что ты был её очевидцем, не спасает дела. Угли ещё тлеют под золой. Ты помнишь всё. И, однако, невозможно избавиться от чувства, что главное и существенное от тебя ускользает. Глядя на фотографии и документы, убеждаешься, что они лгут. Но ведь в этом и состоит их своеобразная достоверность, ибо таков их способ говорить правду. Это было время, когда вино победы кружило голову всем. Армия, словно изувеченный богатырь, с расколотым щитом, с головой в запекшейся

крови, волоча за собой ногу, настигла уползающего дракона в его убежище и едва не испустила дух вместе с ним. Ещё не существовало телевидения — одно из немногих преимуществ этого времени. Зрители видели в кинотеатрах хронику подвигов и завоеваний, видели документальный фильм о параде победы, блестящую от дождя брусчатку Красной площади, маршала в орденах на белом коне и Вождя на трибуне, слышали гром оркестров и крики команд. Никому не приходило в голову, что это — победа, от которой никогда уже не удастся оправиться.

Как обломки корабля, вещи и детские игрушки на поверхности взбудораженных вод, дошли до нас реликвии этой эпохи. Маячит память о молодых людях, о тех, кто едва успел перешагнуть из детства в юность, кто ничего не достиг. Одинокие, они радовались, как несмышлёныши, залпам салютов и фейерверкам, были счастливы, что остались в живых, что война не успела до них добраться, сделать их обрубками, обжечь и обезобразить лицо. И лишь много позже догадались, в чём не могло признаться себе поколение отцов: что разгром и опустошение были расплатой за этот триумф, опустошение и разгром, каких не знали за тысячу лет. Ибо история одурачивает всех.

Победителей не судят. Победитель сам себя судит.

ТАНЕЦ, ИРИНА, ЧТО ОЗНАЧАЕТ: МИР

На всех трёх этажах Нового здания, сооружённого после пожара 1812 года, — с тех пор оно так и называлось, Новое, — гремела музыка, оркестранты дули в трубы, сидя над парадной лестницей у балюстрады, между двумя циклопическими гипсовыми кумирами, еще один оркестр помещался наверху, под стеклянной крышей, и повсюду, на галереях и в коридорах, топтались, раскачивались, крутились, задевая друг друга, пары, девушка с девушкой, вея пёстрыми шёлковыми платьями вокруг бёдер; явившиеся откуда-то полуподростки нестуденческого вида, кучкой, руки в карманах, «Беломор» в зубах, не решались разбить девичьи пары; кое-кто, впрочем, осмелев, развязно приближался к танцующим, хрипло выдавливал из себя: «Разрешите?..» и со стыдом, не удостоившись ответа, удалялся; морячок в подпрыгивающей пелерине изумлял широченными клёшами, рассекал нагретый воздух, облапив крошечную партнёршу; треск барабана, гром тарелок и криканье генерал-баса,

шорох девичьих ног в полуботинках на толстой подошве, называемых танкетками, — истинно военная метафора! — аромат дешёвых духов, пота, обещания, — краковяк, фокстрот, падеспань, венгерка — всё смешалось, все танцевалось на один манер, словно все объяснялись друг другу в любви на едином стандартном и общеобязательном наречии.

Прислонившись к колонне, выкрашенной под мрамор, в позе денди, в своём всё ещё новом костюме в полоску, в пенсне и при галстуке, студент первого курса Юрий Иванов цедил слова, глядя поверх толпы, из-за воя труб ничего не было слышно. Собеседница скучала, поглядывала по сторонам; этикет запрещал ей самой приглашать кавалера. Может ли он вообще? Наконец, она решилась. «Потанцуем?..» — спросила она уныло и тотчас раскаялась: в глазах Иванова мелькнула растерянность, он мужественно задрал подбородок, сверкнул стёклышками пенсне. Труба уже повела свой томительно-счастливый рассказ. Иванов стоял, слегка расставив ноги в прямых широких брюках, палка повисла в его руке. Она хотела взять у него палку. Он переложил палку в левую руку. Из медных жёрл выплёскивалась грубая радость оставшихся в живых. Музыка заглушала голоса, и это было благословением, не надо было разговаривать, ненужные, вымученные реплики заменил диалог движений, шаг вперед, шаг назад, пароль и отзыв, переключка тел. Вокруг всё качалось и колыхалось. Они выбрались из сутолоки в уголок, где было свободней. Роли переменялись. Девушка почувствовала себя рулевым, он охотно принял обязанности матроса, танец раскачивал их, словно на палубе, оба прониклись серьёзностью, оба почувствовали облегчение, как актёры, которые поняли, чего хочет от них режиссёр; роли давали возможность найти своё место в сложном спектакле бала. «Вот так», — сказала она и показала, как правильно взять партнёршу за талию; он послушно обхватил её левой рукой, не выпуская палку, стараясь держаться на некотором расстоянии от её живота и груди. Она положила руку ему на плечо. Загнутая рукоятка трости слегка давила её между лопатками. Держа в правой ладони его ладонь, она решительно правила; оба смотрели вниз, она на его ноги, он на спускающиеся к плечам, тщательно расчёсанные тёмнозолотистые волосы. Иванов переставлял ногу, стараясь приноровиться к шажкам партнёрши; так они протанцевали, вернее, прошагали под музыку несколько метров туда и сюда, меняя направле-

ние, как меняют галс корабля. Видимо, кавалеру было труднее двигаться задом наперёд, и она стала вести его на себя, что в общем-то отвечало правилам танца; и он заметил, что, не отказываясь от обязанностей водительницы, она осторожно и, может быть, бессознательно навязывает ему другую роль, предписанную ритуалом, роль атакующей стороны. Теперь танец сам вел их. Сама собой его здоровая нога, таща другую ногу, поспешила за отбегающей партнёршей, так что оба чуть было не потеряли равновесие, но в последний момент Ира, Ирина, — так её звали, это открылось как-то само собой, — развернула резким, почти насильственным движением его и себя, и нога мужчины оказалась между её ногами; её пах под текучей одеждой скользнул под его бедром; оба остановились. Тяжело дыша, она отбежала к балюстраде. Иванов захромал следом за ней.

Народ спускался густой толпой по широкой лестнице, померкли матовые висячие шары, музыканты укладывали в футляры свои инструменты, тромбонист, держа в руках половинки тромбона, вытряхивал, словно застрявшие ноты, капельки слюны, над аркой входа, внизу, стрелки на светлом диске сходились, как бы подводя итог, и гипсовые вожжи над лестницей провожали праздник с высоты своих пьедесталов. Из толпы, осадившей гардероб, молодежь бросала на Иванова и его даму взгляды, в которых зависть смешивалась с сожалением. Девушки смотрели на человека в ярко-рыжей шевелюре, в стёклышках пенсне, с негнущейся ногой, который держал, расставив руки, лёгкое, должно быть, тряпичное, женское пальто. Его собственное пальто, перешитое из морской шинели, висело у него на локте. Им казалось, что она слишком уж медленно завязывает косынку на шее, насаживает на голову самодельную шляпку; им казалось, что всё это делается напоказ.

Девушки испытывали облегчение в толпе себе подобных, здесь не надо было вести себя по-особенному. Как если бы они всё ещё были в женской школе, вдали от наглых мальчишек; или сидели в зрительном зале, следя на экране за той, что была не лучше их, но у которой был какой ни есть кавалер; которая должна была кого-то изображать, перед кем-то позировать; и почти со злорадством они следили, как она неловко просовывает руки в рукава пальто.

Что же касается их собственных, малочисленных спутников, то они, эти хилые недоросли, спешащие повзрослеть, пони-

мали, что их только терпят, за неимением лучшего. Да и танцовать они толком не умели, между тем как девушки словно владели этим искусством от рождения. Мальчики чувствовали себя брошенными на произвол судьбы посреди вертлявых, щебечущих существ в лёгких цветастых платьях, изнемогали от робости, страха и вожделения; хорошо вам, думал Марик Пожарский, тот самый юнец в курточке, который стоял в день собеседования у дверей приёмной комиссии, — вас много! И в самом деле, никогда ещё так близко не толкалось, не поворачивалось своими выпуклостями, источая запахи волос и духов, такое изобилие женского тела. Но стоило ему обратить взгляд на инвалида, стоявшего там, с палкой и пальто, как его осенила догадка: он вспомнил, что он здоров, молод и, кажется, не так уж уродлив, и ощутил себя владельцем лотерейного билета, который наверняка выиграет. Это было чувство счастливого ожидания и не растраченного запаса — едва успевшего начаться бессмертия.

Тусклые лампочки подъезда посылали последнее напутствие уходящим, темно-синее пахучее небо раскрылось над ними, неясной массой воздвигся монумент отца-основателя русской науки, впереди над тёмной кровлей Манежа, над купами Александровского сада взошли пурпурные звезды. Астрология будущего предстала перед девочками, прыгавшими с крыльца, и ребятами, которых отмена бального этикета лишила остатков инициативы: они шагали в одиночестве, с жалким независимым видом. Обогнув газон с Ломоносовым, выходили из ворот, налево дорога вела мимо Старого здания к Охотному ряду, туда и двинулось большинство. Девушка и спутник остановились в некотором замешательстве. То, что произошло, было сюрпризом для обоих.

Стендаль отводит три страницы описанию сложных манёвров, благодаря которым Жюльену удалось задержать руку госпожи де Реналь в своей руке. Ира с внезапной отвагой сама просунула руку под левый локоть Иванова. Оправдать эту решительность могло разве только увечье спутника.

И они повернули в другую сторону. В сущности, это было одно движение: взять кавалера под руку и шагнуть направо.

Теперь задача была приноровиться к его неровному шагу. Волнение улеглось, но не надо забывать, что для волнения было достаточно оснований. Получалось, что мы «навязываемся». Так можно было истолковать нарушение этикета. Так нужно

было его толковать. Не забудем, что действие происходит в обществе девушек без мужчин и невест без женихов. Возможно, будь Ира постарше, она бы так и подумала: да, навязываемся, лезем к нему; ну и что? Но до этого было ещё далеко. Не следует удивляться деспотизму приличий в государстве, где аскетическая мораль революции обернулась ханжеством, каких поискать. Этикет, как вериги под рубищем у подвижника, сковал юность, ещё не ведавшую о том, что политическая тирания предполагает как некое продолжение тиранию целомудрия.

И, однако, что должен был означать этот жест Иры, дерзкая инициатива, которую она взяла на себя, быть может, впервые в жизни? Не могла же она не знать, что такой знак может быть понят превратно. Была ли это в самом деле попытка сближения или всего лишь снисходительность к инвалиду? Или попросту страх в ночном неудобном городе? Иванов шествовал, глядя прямо перед собой, Ира старалась подладиться под его широкий, слегка подпрыгивающий шаг и внимательно смотрела себе под ноги. «А ведь я даже не знаю, — сказала она, держа под руку Иванова или, может быть, держась за него, — как вас... как тебя зовут!»

ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ

В самом деле, было уже поздно; погасли через один уличные фонари; лишь кое-где в тёмных окнах теплятся огоньки керосиновых ламп. В домах после одиннадцати отключается ток. Даже в центре попадают навстречу лишь редкие пешеходы. Город спал и не спал, больше не было будущего, зато явь становилась воспоминания. Явь походила на сны, и непросто было отличить одно от другого. «Как зовут... — проговорил Иванов. — Но ты же знаешь, как меня зовут». Он смотрел то на ярко освещённые стеклянные двери подземелья, то на часы у себя на руке, верх роскоши по тем временам.

«Ещё четыре минуты, вот сволочи», — пробормотал Иванов, которого, между прочим, звали Юрий Михайлович; хотя разница между ними была каких-нибудь пять лет, он успешно изображал перед девочкой знающего жизнь человека и даже сноба. Ире казалось, что он ещё старше. Но не называть же его, в самом деле, по имени-отчеству. Был, как уже сказано, поздний

час, и чувство ночного города и одиночества вдвоём как-то вдруг пробрало обоих. Четыре минуты остается или, если быть честным, три. А они уже закрылись. Иванов забарабанил в дверной косяк. Светлый вестибюль и эскалатор — ступеньки всё ещё подъезжали из глубины — были пусты.

Несколько времени погода показались голова и плечи уборщицы, она выехала с ведром и шваброй, замотанной в тряпку. Иванов стукнул кулаком в дверь, старуха презрительно покосилась на них. С завязанными на затылке косичками бесцветных волос, болезненно полная, низкобёдрая, в рубище, из-под которого шаркали её голые ноги в шлёпанцах, она превратилась на краткий миг из рабыни в начальницу. Иванов стучал пальцем по циферблату ручных часов. Но теперь стрелки показывали уже первый час ночи. Женщина умокнула швабру, шлёпала и елозила мокрой шваброй по каменному полу. Так она приблизилась к дверям. «Я попрошу!» — громыхнул офицер. Поджав губы, она увидела побелевшие от ярости глаза за стёклышками пенсне, перевела взгляд на удостоверение, которое он держал перед дверным стеклом.

Бесконечный, пустой эскалатор увозил их в подземный мир. Они сидели в мертвенном сиянии газосветных трубок одни на безлюдном перроне, грозно пылало зелёное око у входа в чёрный туннель, большой квадратный циферблат показывал фантастическое время; и прошло неизвестно сколько, девушка сбросила туфли, поколебавшись, улеглась на скамье, поджала ноги в чулках. Иванов выбрался из пальто и укрыл её, рукав свесился на пол, голова спутницы покоилась у него на коленях, и всё ниже опускалась на грудь его огненно-рыжая голова. Он очнулся, взглянул на часы.

Пол слегка ходил под его ногами; штормило. Э, нет, сказал Иванов. Не выйдет.

«Что не выйдет?»

Было и былём поросло, отвечал Иванов. И нечего возвращаться.

Девушка спала, утомлённая своей молодостью, толчейей, голодом, громом духового оркестра. Было уже сильно полночь, он вглядывался в полукруглый проём туннеля, и ему чудился доносящийся из мрака дальний гул поезда.

Голос из темноты сказал:

«Приказ есть приказ».

Мало ли что. Пошел ты с твоим приказом, с меня хватит. Хватит! — чуть было не крикнул он. — Война кончилась. — Но спохватился, что разбудит женщину. Ответа он не мог различить, ветер рвется из туннеля, колючие льдинки бьют в лицо, вахтенный в меховом комбинезоне, на площадке командной башни, рядом с антенной и трубой перископа, медленно поворачивает голову с биноклем и видит сквозь снежную мглу, прямо по носу, как светлячки, две, потом четыре точки. Он нагнулся к переговорной трубе, тотчас на мостик поднялся командир, точки превратились в огни, командир вполголоса отдавал вниз команды.

Оба нырнули в люк, срочное погружение. Огромный освещённый корабль в рамке перископа. Одна за другой три восьмиметровые сигары несутся к цели, четвёртая застряла в торпедном отсеке. Грохнул взрыв, второй, третий, столбы пламени осветили трубы и палубы с чёрной копошащейся людской массой, пароход заволокся дымом, чёрный нос поднялся над водой — последнее, что они видели. Нужно было успеть уйти на большую глубину, где давление воды уменьшало радиус взрывной волны от глубинных бомб. Люди слышали тяжёлый удар молотом с водяных небес, и ещё удар. «С-13» уходила от погони. И снова Данцигская бухта, радиограмма из штаба флота, лодка идёт в разрез волны, ветер в лицо, морозец градусов под двадцать, поглядывай, сказал командир, я на минутку спущусь, хвачу горяченького, справа двадцать заработал маяк, ага, намечается вход или выход больших кораблей. Вахтенный обшаривает в бинокль невидимый горизонт. Огни прямо по носу!

Новый удар потряс лодку, так что вздрогнула скамейка, на которой он сидит, голова женщины на коленях, на этот раз их достали, вода хлынула в отсеки, и тут, наконец, гул и грохот последнего поезда вырвались из туннеля.

ЭКСПОЗИЦИЯ: ALMA MATER

История, как и природа, не терпит вакуума, то, что принимают за перевал времён, есть итог чего-то, что незаметно копилось до тех пор, пока история не израсходовала своё терпение. Людям, сумевшим дожить до победы, казалось, что война налетела, как ураган, на мирную жизнь; о том, что мирная жизнь была материнским лоном войны, никто не вспо-

минал. Все преступления прошлого были списаны, как неоплаченные долги, страдания забыты; люди старались не смотреть на орды слепых, безногих и безруких, наводнивших толкучие рынки и пригородные поезда; нация переживала свой высший триумф, между тем как новая эпоха, словно чудовищный плод-ублюдок, созревала в тёмном чреве истории, чтобы в конце концов разорвать её ложесна. Новое и страшное приближалось и, в сущности, уже наступило. Смутно, не отдавая себе отчёта, его пришествие чуяли молодые люди. Но тайное дитя было их ровесником, они не помнили прошлого и не интересовались им. Проклятье истории ещё не успело дойти до их сознания.

А пока... пока что цвела прекрасная тёплая осень, лучшее время года в этом изумительном городе, под ласковым солнцем поблескивала брусчатка широкой Манежной площади, кроны Александровского сада под розовато-бурой стеной Кремля только ещё собирались желтеть, и грязно-белые, давно не отремонтированные храмины университета по обе стороны улицы Герцена мало-помалу вторгались в сны, превращались в родимый дом.

Войдём в ворота, обойдём памятник, поднимемся по ступенькам подъезда.

Взбежим по широкой лестнице на площадку под балясинами второго этажа: два боковых марша, галерея, бледно-морковные колонны под мрамор, белые монументы вождей и высокие узкие двери аудитории, некогда Богословской, ныне Коммунистической.

*Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!*¹

Бледный день сквозит через стеклянную крышу. Толпа первокурсников запрудила парадную лестницу. Но можно не подниматься на галерею, можно обогнуть колонны первого этажа, пройти мимо пустой раздевалки, газетного киоска и уборных, толкнуться в низкую дверь. Прихватив полы чёрного, перешитого из морской шинели, наброшенного на плечи пальто, стуча палкой, в полутьме взобраться по крутым, в три марша, ступенькам потайной лестницы и выйти на балкон Комаудитории.

¹ Вы вновь со мной, туманные виденья. («Фауст», Посвящение. Пер. Н.Холодковского).

Там уже сидят: человек семь-восемь. Тускло-золотистая, с узелком на затылке и колечками на висках голова Иры, рядом — как же иначе — Марик Пожарский. Иванов протиснулся, надменно поблескивая стёклышками пенсне, полаяя рыжими волосами. Внизу уступами поднимались ряды сидящих, ерзающих, шумящих, шушукающихся; старец в шапочке, с клинообразной бородкой, тот самый, дремавший в приемной комиссии, восседал на эстраде, кутался в шубу, фетровые боты торчали из-под столика. Всё стихло, профессор Данцигер прихлёбывал чай из стакана с подстаканником, вещал мерно-величественным голосом, который едва доносился до сидевших на балконе.

Толпа текла вниз по широкой лестнице, журчали девичьи голоса, трое стояли под аркой с часами, не решаясь разойтись и не зная, куда податься. Сверху, с галереи второго этажа, озарённые золотушным лучом, их благословляли со своих постаментов гипсовые небожители.

КОНЕЦ ПОЭЗИИ, ИЛИ РАТОБОРСТВО ПЕВЦОВ В КРЕПОСТИ ВАРТБУРГ

В те времена функционировали поэтические кружки.

Устарелая, как морские карты XVI столетия, география университета на Моховой была бы неполна, если бы, выйдя из Нового здания, мы не обогнули полукруглое крыло и свернули влево, как некогда повернула к югу флотилия Магеллана. Здесь начиналась узкая, как ущелье, улица Герцена, здесь рельсовый путь вёл от Манежа к Никитским воротам; а напротив — залитый солнцем флигель Старого здания и Зоологический музей.

Толкнув тяжёлую дверь, через тамбур с окошками касс, входили в сумрачный вестибюль и видели перед собой невысокую лестницу, мраморный бюст и строки славной оды на постаменте: *Держайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать...*¹ Но не всходили, а направлялись налево, три ступеньки вниз, в полуподвал. Были участники и участницы этих собраний, и доживали свои дни наставники-стихотворцы. Ещё существовали резервации государственных поэтов, редевшие с

¹ Ломоносов, «На день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны».

каждым днем; их обитатели вырождались: ничего не делали, сидели на шее у стареющих подруг, выклянчивали авансы, пили водку и сочиняли стихи, похожие на лапшу. И всё же это был по-своему величественный, полный смертной надежды, как пламя оплывшей свечи, конец. Если бы молодёжь об этом знала! Но она не догадывалась ни о чём. Прозе не было места в катакомбах клуба. Кучкой, как заговорщики, в тусклом коридоре стояли мальчики и девочки, в центре кто-то, рубя кулаком, как полагалось в то время, читал стихи. Входили в комнату, где стоял бесполезный рояль, рассаживались и ждали, когда начнутся стихи. Отворилась дверь, кто-то мешкал перед входом. Все головы повернулись к дверям. Вошел поэт. Он вошел, как врывается ветер, некогда им воспетый. *Итак, начинается песня о ветре...* Посверкивая очами под грозовыми крыльями бровей, прошагал между стульями. *О ветре, одетом в солдатские гетры. О ветрах, идущих дорогой войны.* Упругий ритм, похожий на марш, упрямое чередование одних и тех же согласных, рифма, какой еще не слышали, и главное, какой образ! Эти юнцы не знали, что гетры были взяты напрокат у Киплинга, ибо красноармейцы гражданской войны были обуты в обмотки. *О войнах, которым стихи не нужны.* Воображение рисовало им великана с красной звездой, в шлеме с прорезью, надвинутым на глаза, с ранцем за плечами, солдата, шагающего в серых гетрах по дорогам войны. Следом за руководителем студии ступал никому неизвестный, мрачного вида персонаж в пиджаке, одолженном у кого-то, с плоским перебитым носом на невыразительном лице.

Гулко откашлявшись, поэт уселся рядом с роялем. Началось чтение. Хорошо одетый юноша в заграничном галстуке, с пробором в масляно-блестящих тёмных волосах, по всему судя, отпрыск важных родителей, артистическим жестом положил ладонь на крышку рояля, взмахнул свободной рукой и заработал кулаком, словно вколачивал сваи, при этом он не произносил некоторых согласных; получилось так:

Юбовь, пьиди, пьиди скоей,
я пвачу, пвачу, свышишь? — пвачу!

Каждое слово вбивалось кулаком, хотя по тону и настроению стихов это было вроде бы необязательно.

Тузы — пиковые — ночей —
Мне нагадали — неудачу!

И далее в этом роде. Стихи произвели большое впечатление. Тузы пиковые ночей, это было что-то новое. Это был «образ», нечто ценившееся выше всего. Гуталиновый юноша смотрел сквозь длинные ресницы куда-то вдаль над двумя рядами девочек, и было странно и волнительно, что такой красавчик жалуется на любовные неудачи. Председательствующий наклонил кудлатую голову в знак одобрения. Прения были отложены на конец заседания, Марик Пожарский, с нетерпением ожидавший своей очереди, приготовился выступить вперёд, с цитрой, как рыцарь Тангейзер в Вартбурге, но тут руководитель вновь густо прочистил голос, что означало переход к главному пункту повестки дня.

Он указал на продавленный нос молодого поэта, автора фронтовой поэмы, у которого, сказал он, применив профессиональный термин, есть интересные ходы. Молодой поэт, впрочем, не совсем уже молодой, с поредевшими, цвета лежалой соломки, волосами, мрачно сказал, сильно налегая на «о», что поэма большая, в ней десять тысяч строк. Поэтому он прочтет другое стихотворение.

В этом стихотворении шла речь о возвращении с войны, о том, что он не собирается уходить на покой, потому что руки саднит от жажды работать, и в некотором противоречии с этим желанием в конце говорилось, что «лучше придти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Все посмотрели на пиджак поэта, но там обе руки были на месте. Председатель предложил перейти к обсуждению. Никто не вызвался. О Марике забыли. Встала маленькая, черноволосая, малиновая от волнения восьмиклассница и попросила разрешения прочитать стихи никому не известной поэтессы Ахматовой. Председательствующий поэт устремил на девочку ястребиный взор, покосился на ручные часы, может быть, сказал он, вы прочтёте что-нибудь ваше. Что-нибудь свое. Девочка обвела собрание умоляющим взором. Поэт развел руками. «Слава тебе, безысходная боль...» — начала она тоненьким голоском. При этих словах поэт встрепенулся, приподнял могучую бровь, соединил пальцы рук.

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал...

ДОМ ПРИВИДЕНИЙ

В ворота гостиницы губернского города NN въехала рессорная бричка. Но (скажут нам) рессорных бричек давно уже не существует. Нет больше и господ средней руки, нет половых, выбегающих навстречу, нет поросят с хреном и со сметаной, мужиков, обсуждающих достоинство колеса, нет больше таких колёс и вообще ничего нет. Что же есть, что осталось от гоголевских времён? Осталось ли что-нибудь? В ворота подмосковного дома отдыха, разбрызгивая грязь, въехала машина. Была глубокая осень, время тишины, покоя и вдохновения. Это был дом, непохожий на обычные дома отдыха, принадлежавший особому ведомству, которое не называло себя ни ведомством, ни министерством; это был монастырь муз. В старинном двухэтажном особняке за забором, с высокими окнами в белых наличниках, с гостиной, где стоял рояль, столовой, библиотекой, бильярдной, постояльцев ожидали уютные комнаты — у каждого своя. Внизу, в прихожей, на дощечке стояло: «У нас в гостях...» — и дальше славные, заслуженные имена. Это был дом отдыха, называемый также домом творчества писателей. Ибо писательство, по тогдашним понятиям, собственно, и было не чем иным, как отдыхом, — не мешки таскать, как выражался плёбс. Можно даже сказать, что писательство в некотором высшем смысле было отдохновеньем от жизни, — хоть и притязало на исключительное знание народной жизни. Творчество, или что там под этим подразумевалось — лежание на кровати, постукиванье двумя пальцами по клавишам машинки, мечтательное курение, поглядыванье в окно, — творчество означало, что счастливец (в нашем случае это был поэт) раз и навсегда освобождён от работы, от вскакиванья с постели ни свет ни заря, от впахиванья в автобус, от толчеи в подземных переходах и поездах, в угрюмой толпе таких же обречённых работать, от висения на подножке трамвая, от выстаиванья в очередях, короче, от всего, что называется жизнью. Здесь, в этом доме, можно было встать когда хочется, лечь когда хочется, солидно прогуливаться на свежем воздухе, можно было в пижаме и тёплых домашних туфлях, подняв бильярдное копьё, обдумывать удар по шару или строфу эпической поэмы. Поэт выбрался из машины. С дву-

мя чемоданами и зонтом под мышкой, в толстом ратиновом пальто и мохнатом картузе, тяжело дыша и помогая себе бровями, он взошёл на крыльцо, вступил в прихожую. Он был встречен кокетливой горничной. Немного спустя гость отдыхал в носках на кровати, в комнате на втором этаже, на полу стояли его чемоданы, пальто небрежно брошено на стул. Ветки с остатками жёлтой листвы заглядывали в окно, рабочий стол с пишущей машинкой дожидался гостя. Это был тот самый поэт с грозowymi крыльями бровей, председатель поэтической студии в университете. *Итак, начинается песня о ветре.*

Вернувшись из столовой, он развесил вещи в шкафу, разложил на столе бумаги, книги с закладками. День померк. Зашумел дождь. Ветер истории ворвался в уютный дом, в полутёмную нагретую комнату. Завтра с утра предстояло засесть за работу. Может быть, это был его последний шанс. Поэт давно не выдавал ничего основательного. Суета и безделие, членство в комиссиях, председательствованье на юбилейных вечерах, суверенное сиденье до поздней ночи в ресторане дома литераторов высосали остатки вдохновения. Величественный, как бог-громовец, поэт всё ещё был окружён женщинами. Кормился переводами фантастических стихотворцев братских республик. «Баллада о ветре» перепечатывалась в хрестоматиях. Как-то незаметно ветер превратился в движение воздуха, подобное тому, которое создаётся вращением вентилятора. Такие устройства необходимы в эпоху умирания поэзии. Как, когда это случилось? Он звал юность, как зовут сбежавшую любовницу. Ему всё ещё казалось, что ветер улёгся оттого, что угасла поэзия, а не наоборот.

Ещё не было написано ни одного связного отрывка, замысел рисовался, словно облачный замок. Это была Илиада наших дней. Её строки были медлительны, в них слышалась тяжкая поступь миллионов, умерший ветер революции должен был вновь зашуметь в них, как ливень за окнами. Демиург истории должен был предстать живым человеком и былинным богатырём. Вождь являл сегодняшний лик революции. С трибуны мавзолея он простирает руку в будущее. Залатать разлезшееся время, соединить завет революции с верой в Вождя, таково веление дня. В конце концов это значило возродиться самому. В заботах об этом, под шелест дождя и поскрипыванье половиц старого дома, он погрузился в сон.

ВСТАВНОЙ ЭПИЗОД: ГОСТЬЯ «ОТТУДА»

Настало утро; выпавшийся, умытый, с расчёсанными бровями, он сошёл вниз. Столовая помещалась в самой лучшей, большой и светлой комнате, всю стену занимал монументальный буфет морёного дуба. О бывшем владельце виллы было известно только то, что он некогда существовал и пропал. Посреди комнаты на тяжёлых резных ногах стоял обеденный стол, за которым рассаживались постояльцы. Позвякивали вилки, разворачивались крахмальные салфетки, хлебница путешествовала из рук в руки, с достоинством намазывалось на ломтики хлеба ароматное бледно-золотистое масло, не спеша, обратной стороной чайной ложечки разбивалась скорлупа яиц, входила улыбающаяся горничная в переднике и наколке, с кушаньями на подносе, всё было по-домашнему, без хамства, аристократично и вальяжно; «будьте добреньки, передайте соль», «с вашего позволения, сыр...», «а что там такое — о, гренки...». Подвальщице — «спасибо, Валюша». Всё принималось как должное, как осень за окном, всё подразумевалось само собой, никто не спрашивал, откуда взялась вся эта благодать.

С опозданием вошла новая жилища, её имя, известное и вместе с тем неизвестное, а лучше сказать — небезызвестное, значило на дощечке в прихожей. Молва распространилась вполголоса и предшествовала её прибытию. Вошла женщина с тёмным пепельным лицом и серыми, как хрусталь, блестящими глазами, с коротко стриженными полуседыми волосами, узкая, плоскогрудая, с сигаретой в бескровных губах, в тёмно-суконном платье и накинутой на плечи серой вязаной кофте. Тотчас разговоры за столом прекратились, каждый был занят своим делом. После завтрака все разошлись по комнатам.

С раскрытым зонтом поэт стоял на крыльчке в пальто и картузе, дневному сну он предпочитал прогулку. Было это, вероятно, через несколько дней после приезда. Выглянуло чахлое солнышко. Он свернул зонт. Серая дама вышла из дома. На ней был дождевой плащ, пожалуй, слишком лёгкий для этого времени года, голова повязана платочком из такой же ткани. Жизнь в доме, похожем на интернат, облегчает знакомство. По непросохшей тропе вдоль кювета, — худенькая гостья впереди, грузный поэт следом, — дошли до обломанной церкви, где размещалось местное сельпо. Сигарет, к сожалению, не оказалось, с

сигаретами в этой стране была проблема. «В этой стране?» — переспросил он. Она кисло улыбнулась, поправилась: «В нашей стране». Это была, следовательно, «наша страна». Поэт иронически поднял бровь. Дама купила пачку папирос «Звезда». Улица вывела к лесу. Побрели вдоль опушки. Он спросил, где она поселилась.

Нигде, был ответ.

Закурив, она добавила:

«В Литфонде обещают что-нибудь подыскать. Пока буду жить здесь». На осторожный вопрос, одна ли она приехала, не уточняя, приехала ли в дом творчества или «вообще», — она ответила: одна.

Солнце то проглядывало, то исчезало за набухшими влагой облаками. Он не спросил, *откуда* приехала. Это было более или менее известно. Из царства теней, вот откуда. А может быть, *мы* здесь, подумал он, кажемся ей теньями. Чуть: мы здесь жили. Мы воевали, мы... он споткнулся и чуть не шагнул в воду. А *они* там прозябали. Шли осторожно, точно по минному полю. Обходя лужи, перешагивая через корни.

«Странно», — проговорила поэтесса и остановилась. Папироса между пальцами; хрустальные глаза устремлены в пустоту.

«Что странно?»

«Всё. И этот лес, и село».

«Вы хотите сказать: посёлок?» (Приятно и горестно было ловить её на ошибках.)

«Да. Ничего не изменилось! То есть, конечно, всё изменилось. И в то же время...»

«Вы здесь раньше бывали?»

«Здесь — нет».

«Простите, я перебил вас. Вы хотели сказать, всё — то же и всё другое?» Серая дама пожала плечами. «Вы не можете себе представить, — сказала она, — что это за чувство, слышать везде, изо всех уст русскую речь».

«Сколько времени вы не были, э?...»

«В России? С двадцатого года. Мы уезжали из Новороссийска... Вас эта тема не смущает?»

«Меня? — спросил поэт. — Нисколько».

«Я представляю себе, как вы на всё это должны смотреть».

«Как?»

«Вы один из главных поэтов той поры». (Она не сказала — советских.)

«Что значит — главных?»

«Самых известных».

«То есть... — он усмехнулся, — принадлежу этому времени?»

Она возразила:

«Мы все принадлежим этому времени».

Прошагали ещё немного.

«Итак... — промолвила серая дама. Она остановилась, улыбаясь, смотрела в пространство. — Итак, начинается песня о ветре...»

Проклятье. Как будто с тех пор он ничего больше не написал.

«О, простите. Это, кажется, Светлов. Или Луговской?»

«Нет. Это я».

«Идёт эта песня, ногам помогая. Качая штыки... Они все уже умерли».

«Некоторые живы... Вы неплохо знаете нашу поэзию».

«Поэзия общая. Или ничья. Как язык. Как эти облака... И всё-таки странно. Ведь мой муж тоже воевал. Он был в Добровольческой армии», — сказала поэтесса и покосилась на собеседника — вызывающе, как ему показалось. Он подумал: сомнамбула. Нет, хуже.

Вслух он сказал:

«Я это знаю».

Она подняла брови. «Вы знаете, что мой муж был белым офицером?»

«Да. И что он погиб при отступлении».

«Откуда вам это известно?»

«У вас есть стихи».

«Ошибаетесь; вы, очевидно, имели в виду Цветаеву. Нас иногда путают».

Шли дальше.

«Я на гражданской войне по существу не был. Заболел сыпняком, не доехав до фронта».

«Это было тысячу лет назад, не правда ли?»

«Пожалуй, — сказал он. — Или позавчера».

Обогнув лесок, вышли к полю, заросшему почернелой травой. Поэт спросил, не собирается ли она что-нибудь опубликовать.

вать на родине. Собираюсь, сказала серая дама. Кто-то предложил подготовить небольшой сборник. Впрочем, совершенно напрасная затея.

«Но почему же?»

«Не напечатают. Меня здесь никто не знает. Говорят, уже есть отрицательный отзыв».

«Может быть, я мог бы вам...»

«Быть полезен? — быстро спросила она. — Спасибо, — и покачала головой. — Мне никто ничем помочь не может».

Она добавила:

«Даже если бы что-нибудь из этого получилось. Меня никто не станет читать!»

«Вы ошибаетесь».

Она промолчала.

Поэт назвал её по имени-отчеству, она встрепенулась. Можно ей задать вопрос?

«Сделайте одолжение».

«Вы не жалеете?»

Она не спросила — о чём. Усмехнулась:

«Не жалею».

«Извините моё любопытство... мою назойливость».

«Что вы, что вы».

«Я, конечно, понимаю. Но всё же. Что побудило вас?...»

«Вернуться?»

Поэт кивнул, и они продолжали свой путь.

«Нет, — сказала она, — здесь очень грязно».

На ней были лёгкие туфли; повернули назад.

«Логичней было бы спросить...» — пробормотала она.

«Кажется, снова крапает, — сказал поэт и раскрыл зонт. — Можно мне взять вас под руку?»

«Логичней задать вопрос, что могло бы меня остановить. Что останавливает многих. Страх? Вражда? Верность белой идеи? От этой идеи ничего не осталось...»

«Да, конечно».

Она усмехнулась: «Откуда вам это известно?»

Поэт пожал плечами. Должно быть, сказал он (или хотел сказать), должно быть, мешает вернуться и ещё кое-что.

«Вы имеете в виду возможные репрессии. Может быть. В конце концов, судьба Марины и ее семьи должна была бы всех насторожить... Но ведь и это было давно, времена изменились. Как вы думаете?»

«Да, да, — поспешно сказал поэт. — Разумеется, времена изменились».

«Правительство даже специально обратилось к эмигрантам».

«Да, конечно».

«Что касается меня, то есть что меня заставило преодолеть страхи... или предубеждения... Было много оснований для возвращения. Само собой, против меня оцетинились многие. Я имею в виду литературную эмиграцию... Даже Бунин, и тот... Впрочем, он-то и ополчился на меня больше всех. Хотя не одна я решила вернуться. Но, в конце концов, дело не в этом».

Помолчали; поэт ждал продолжения.

«А дело в том... — сказала она, осторожно ставя туфли, перепачканные глиной, — это, может быть, слишком громко звучит... Дело в том, что я почувствовала, как бы это объяснить».

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но всё же к милому пределу...

В Sainte-Geneviève-des-Bois мне бы лежать не хотелось».

Зачем тебе, подумал он вдруг. Ты и так мертва.

Но он не знал французского языка и спросил: что это такое?

«Русское кладбище. Километров пятнадцать от Парижа. Там, можно сказать, лежит весь цвет».

«Что ж...» — пробормотал он.

«А вы? Вы как считаете? Искренность за искренность».

«Я?.. вы хотите знать моё мнение?»

«Да. Хочу».

«Стоило ли возвращаться».

«Да».

«Вам».

«Да — к примеру. Я понимаю, — сказала дама в сером, — что задаю бестактный вопрос. Вам, советскому патриоту. Хотите, я сама отвечу? — Не стоило».

«Вот как!»

«Но и оставаться не стоило. Дело в том, что поэзия умерла».

«Умерла?»

«Да. И там... и здесь».

Дождь зарядил. Вот оно, думал поэт. Это и есть нужное слово. Ты сама — смерть. Слава Богу, ничто из того, о чём она говорила, — её заботы, её холодное отчаяние — нас не касается.

Вдруг оказалось, что собеседница куда-то делась. Он окликнул её, снова по имени и отчеству. Она стояла за углом — лишняя, как вставной эпизод в романе.

Он подумал о том, что сейчас они вернутся (пожалуй, будет лучше, если не вместе), он взойдёт на крыльцо тёплого, уютного дома и оставит мокрый зонт в прихожей. Поднимется к себе и зажжёт настольную лампу. Начинает темнеть. Дни стали совсем короткие. Он ещё полон сил, ему жить и жить. Умерла ли поэзия? О, нет. Поэт наденет домашние туфли, закурит, завернётся в халат. И примется за эпохальный труд.

ИРА У БАЛЮСТРАДЫ

Был на нашей памяти один студент, зубрил науки, сдавал зачёты и переходил с курса на курс, а сам тайком, дважды в неделю ездил в подмосковный посёлок и оканчивал вечернюю среднюю школу. Неизвестно, как он сумел стать студентом без аттестата зрелости, — впрочем, можно добыть фальшивый аттестат. О Марике Пожарском тоже можно сказать, что он был в некотором роде кавалером без аттестата зрелости; очутившись в высшем учебном заведении, оставался школяром и всё ещё переживал эпоху, когда каждое увлечение представляет любовь с первого взгляда. Этот взгляд натывается на какую-нибудь деталь, как взгляд кинозрителя на грудь актрисы, словно ненароком показавшуюся в кадре. Можно более или менее точно указать время, когда случилось короткое замыкание: были ранние осенние сумерки. Матовые шары уже сияли на галерее. Народ высыпал на перерыв из Русского кабинета. Марик был студентом романо-германского отделения, но этот кабинет, комната с диваном, книжными шкафами и столиками, на которых стояли лампы, за недостатком свободных ау-

диторий давал приют группам всех отделений. Марик стоял в дверях, в неопределённой задумчивости, ничего не видя перед собой, невзначай поднял голову и увидел два девических силуэта. Они стояли шагах в пяти спиной к нему. Одна из них наклонилась над балюстрадой.

Она встала на цыпочки, отчего её красное платье слегка приподнялось, обрисовались бёдра, обнажились обтянутые чулками подколенные ямки, и прежде чем Марик сообразил, в чём дело, эти ямки отпечатались, как на целлулоидной плёнке, на дне его глаз.

Камера отъехала; Марик увидел её всю. Ира звала кого-то спускавшегося по лестнице, её ладони упирались в плоскую поверхность балюстрады. Платье из поблескивающей материи, должно быть, из сатина, с отделкой вокруг шеи, слегка вздёрнутое, облегло её тело, очертилась линия от рыжеватых завитков волос к приподнятым плечам, от подмышек к талии, где обозначилась поперечная складка, и далее, описав полукруглые бёдра, задержавшись на сотую долю секунды, взгляд опустил к слегка напряжённым икрам, к пяткам, привставшим над белыми туфлями-босоножками.

Ира на цыпочках, рядом с подругой, для Марика, впрочем, не существовавшей, склонилась над балюстрадой, нашла кого-то внизу, и вслед за этим движением поднялось ее светлопунцовое платье, подчеркнуло рисунок бёдер и обнажило подколенные ямки. Тут он заметил, — чего никогда не умел замечать, — что красный цвет замечательно подходит к золотистым волосам, увидел, наконец, её всю.

Ира крикнула, смеясь, кому-то идущему вниз по лестнице бессмысленные слова и, очевидно, сейчас же забыла о нём; теперь она стояла вполоборота к подруге, которая что-то настойчиво твердила ей; красное платье опустилось до коленок, Ира сняла руки с балюстрады, подняла ладонь к волосам, и снова едва заметно обрисовалось её тело, открытия следовали одно за другим, изгиб талии подчеркнул лёгкую выпуклость зада, из-под локтя показалась её грудь, но зрение было ослеплено, и Марик, если бы он закрыл глаза, увидел бы на сетчатке всё ту же фигуру, склонённую над балюстрадой. Почувствовав на себе посторонний взгляд, она обернулась, зеленые глаза смерили Марика. Всё это продолжалось, вероятно, не больше минуты, и, круто повернувшись, он вошёл в кабинет.

НОВОЕ В ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Ах, какая началась жизнь. Полная загадок, захватывающего интереса, недоговорённости, таинственных взглядов, небрежных реплик. Жизнь, в которой обычные слова были паролями особого диалекта, топорный перевод с иного, несравненно более тонкого языка. Как в обыкновенном языке смысловые оттенки каждого слова образуют некоторое семантическое поле, так сигналы тайного языка обретали смысл в магнитном поле особого рода. Генератором этого поля была девушка.

Вечером, когда над опустевшей галереей второго этажа теплились бледно-желтые шары, Марика Пожарского пронизывали волны таинственного предчувствия. Он топтался между статуями из алебаstra, расхаживал вдоль морковных колонн, соединив брови, точно решал математическую задачу, висел на балюстраде, борясь с искушением поглядеть вниз, на старуху-сторожиху и входную арку, и всё это до тех пор, пока не приходили в движение стрелки некоего прибора, пока сердце-счётчик не принималось отстукивать импульсы силового поля. Тянулись минуты, ожидание стало невыносимым. И вот показались под аркой ноги в танкетках, показалось пальто, суженное в талии, появилась она вся. Ира всходила по лестнице, опустив голову, на ходу растёгивая потемневшее на плечах пальто, откинув капор, встряхивала мокрыми завитками волос, вышла на галерею. «Ты?.. Привет», — сказала она с притворным удивлением. По правде сказать, она удивилась бы, если бы его тут не было.

Ира выросла на Арбате в старинном доме, который видел конницу Мюрата; как все, проживала в коммунальной квартире и, как большинство граждан, не чувствовала себя обделённой. Полутёмный длинный коридор, заставленный рухлядью, упирался в их дверь; большая комната была разделена пополам занавеской, переднюю половину перегородивал дедовский шкаф, справа помещались родители, слева спала Ира. В задней половине обитало семейство старшего брата, молоденькая, возраста Иры, жена и ребёнок. Ира мыла пол, стирала, стояла в очередях, нянчила плачущее дитя и знала, в буквальном смысле понаслышке, в чём состоит ритуал интимной жизни мужчины и женщины; шепот, скрип кровати, боязнь беременности, боязнь, что услышат, были компонентами этого ритуала.

Ира была невысокого роста, от природы несколько наклонна к полноте и лет через десять должна была превратиться в толстушку, если предположить, что к тому времени жизнь станет сытой. Ира мелко и твёрдо ступала на своих крепких коротковатых ногах, слегка покачивая бёдрами, которых ждало блестящее будущее. Она успела вступить в возраст, когда девическая неуклюжесть начинает казаться чем-то само собой разумеющимся. Весь её облик, походка, посадка головы как бы говорили: иначе и быть не может.

Кем-то сказано, что девушки бывают из серебра или из золота. В бледнозолотистом ореоле волос, казавшаяся бледной, с синевой под глазами, что можно было отнести на счёт женского нездоровья или хронического недоедания, она стояла перед Пожарским, давая понять, что он мешает ей пройти в читальный зал. Ощущала ли она невесомое дрожание, шелест магнитного поля, которое окружало её? Скорее она сама находилась под его воздействием, чувствовала, входя в университет, что её несёт прозрачное облако. Временами ей начинало казаться, что она влюблена; но в кого? В себя, разумеется. Предметом тайной симпатии, если не вождения, была она сама, её тело, её походка; как если бы в ней самой жил подросток и подглядывал за женщиной. И она искала редкой возможности побыть одной, чтобы, сбросив одежду, насладиться лицеизрением самой себя перед волшебным стеклом. Совсем другой вопрос, была ли она готова хотя бы пальцем шевельнуть, чтобы ободрить Марика. Она спросила, что он тут делает. Последовал неопределённый ответ, неохота идти домой или что-то в этом роде; но на том подлинном языке, где не было склонений и спряжений, на языке без слов, ответ не допускал двух толкований. «Надо к завтрашнему сделать перевод», — сказала она. «Я тебя подожду, ладно?» — отважно крикнул он вдогонку. Удаляясь, она слегка пожала плечами.

ВПРОЧЕМ, НЕ ТАКОЕ УЖ НОВОЕ

Если Ира (как большинство её сверстниц) к этому времени успела открыть себя, то неуверенность Марика объяснялась тем, что он всё ещё искал себя и не мог найти.

Девушка, стоящая перед зеркалом, делает открытие, подобное открытию Колумба; то, что предстало ей, не есть то, что

она искала, но именно то, что надлежало открыть. Она испытывает чувство раздвоения; вот так могли бы её видеть другие; разглядывает себя как нечто новое и вместе с тем — «то самое»; та, что стоит в стекле, свидетельствует, что это она сама. Чтобы окончательно убедиться, она проводит руками от подмышек и ниже, вдоль талии, да, это её грудь и лирообразные бёдра. Её нежный, воздетый кверху подбородок. Все, что удостоверяло в ней женщину, что подчеркивало и делало неопровержимым ее пол, — всё это была она сама. Иначе обстояло дело с Мариком Пожарским.

Известная теория о том, что пенис есть символ власти, что его отсутствие воспринимается как потеря и, дескать, вот откуда снадающая женскую душу тайная зависть, досада, отчего ты не родилась мальчиком, — теория эта показалась бы Марику абсурдной, ибо он вовсе не гордился тем, что имел, и уж, конечно, не притязал ни на какую власть. На самом деле, если уж на то пошло, присутствие этого придатка тяготило, смущало, было причиной постоянной неуверенности, неловкости, беспокойства и тайных мук.

В темнице своего «я», куда едва проникали косые лучи света, барахтаясь в собственной душе, как на дне колодца, Марик не имел представления о том, чем жили и дышали представительницы другого пола, чем жила Ира, о чём она думала, чего хотела; само собой, невозможно было решить и насущный вопрос: какое место он занимает в её душе? Их «отношения» — приходится взять это слово в кавычки — можно было бы назвать приятельскими, если бы не влюбленность; можно было бы назвать любовью, если бы из них старательно не изгонялось всё, что напоминало о любви. Ведь сказал же Гейне: все мы сидим голые под нашей одеждой. Как под одеждой таилось нечто неупоминаемое, так под покровом студенческой фамильярности скрывалось напряжение, которому не было исхода.

Марика Пожарского, как и всех очень молодых людей, сбивало с толку очевидное противоречие: весь вид юной женщины говорил о том, что она созрела «для этого», а между тем эти существа вели себя так, словно ни о чём не догадывались, словно никакой любви и чувственности не существовало; был ли это стыд, гнёт репрессивной морали, расчётливая тактика — или Ира в самом деле ни о чём таком не помышляла?

Марик завидовал девушкам, не подозревая о том, что округлившиеся формы, которых не скроешь, могут подчас причинять такие же муки. Позу презрительной независимости он принимал за чистую монету. Получалась странная вещь: если девицы были снедаемы тайным беспокойством, всё ли у них «в порядке», если они готовы были часами разглядывать себя в зеркалах, не упускали ни одной витрины, утешаясь зрелостью своих форм и вновь отыскивая изъяны, если с придиричностью, не знающей снисхождения, с завистливой наблюдательностью оглядывали друг друга, у одной находили кривые ноги, у другой плоскую грудь, — то мальчики испытывали стыд и неловкость именно оттого, что стали мужчинами.

Мелькало ли у него хоть изредка подозрение, что от него ждут большей решительности? Эх, ты. В затуманенном взгляде Иры как будто сквозил упрёк. Немое поклонение надоедает. С чисто женской зоркостью она отметила, что Марик смотрит на неё не так, как «надо», не оглядывает её, как подобало мужчине, и почувствовала к нему жалость: Марик попросту ничего не видел. На самом деле Марик видел её лицо, видел её сразу всю; однажды вздрогнув от неожиданности, как от спички, вспыхнувшей в неумелых пальцах, он больше не разбирался в подробностях. Так близорукий любит пейзажем, так простодушный читатель воспринимает книгу целиком, не замечая красот стиля, не умея оценить композицию целого и отдельных глав.

Да, но она могла думать совсем о других предметах! Очень может быть, что она вовсе не помышляла о нём. Марику нужно было прожить на свете ещё столько же лет, сколько он прожил, чтобы научиться угадывать мысли женщин. Он убедился бы, что мысли эти чаще всего не отличаются оригинальностью.

Между тем зловещая репрессивная мораль не допускала даже мысли о том, что могло бы произойти, если бы Марик набрался отваги и перешёл в наступление. Стоп! Полосатый шлагбаум перекрыл дорогу в солнечные страны чувственности. Отдавал ли себе полуподросток второй половины сороковых годов вообще сколько-нибудь внятный отчет, что собственно является «целью», не был ли для него половой акт профанацией любви? Как ни удивительно (а впрочем, не удивительно), мальчики оказывались консервативней девочек. В то же время викторианский этикет предписывал отношение к женщине как к

être-objet¹. Коммунистическая мораль провозгласила равноправие полов, но при этом неявно навязывала женщине роль пассивной стороны. *Шагать с мужчиной в одном строю*. Это ведь не то же, что рекомендовать мужчинам шагать в одном строю с женщиной. Быть может, — подчиняясь той же морали, — Ира в самом деле чего-то ждала. По крайней мере, ждала внятного объяснения. Ждала в этот вечер, ждала завтра. Потом... как бы это выразиться? Перестала ждать. Каждодневные встречи в университете, рутина занятий, привычные шуточки, какой-то порхающий, приятельский, пошловатый тон сделали своё разрушительное дело. Игра, лишённая необходимой тактики обороны, игра без риска, словно игра в шахматы без опасности получить мат, лишалась смысла.

Вечер длится, вечеру нет конца, жёлтые шары сияют под высокими потолками, исполинские гипсовые кумиры осеняют широкую лестницу, тускло отсвечивают псевдомраморные колонны, наверху розоватые, цвета бледной моркови, внизу серые, как ливерная колбаса или суррогатное кофе с молоком. Сторожиха в тулупе дремлет на своём посту за столиком под аркой с часами. Марик бодрствует наверху.

Он стоит, прислонясь к колонне, опираясь локтем на плоский край балюстрады, щека подпёрта ладонью. Одна и та же мелодия без конца прокручивается в оцепенении мозга, волшебный, баюкающий звукоряд: «Утро в горах». *Нáрара, рáрара. Нáрара, рáрара*. А ещё — монотонно позванивая, постукивая, бодрым баском-говорком: *Был обеспокоен очень воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет...* «Песенка ночных бомбардировщиков», ансамбль под управлением Леонида Утёсова. И опять Григ. Всё опустело, всё умерло, в коридорах темно. Мысли, звуки плывут над головой. Облачно-слизистые существа, крохотные монстры — голова и хвост барахтаются в мутной светящейся влаге. Он ждет, когда, наконец, закроется читальный зал.

Что же мешает ему войти в читалку, сесть напротив? Стыд, робость, боязнь быть назойливым, а может быть, гордость? Ира знает, что он ждёт, и нарочно тянет время. Значит, не забыла, что он ждёт. Это испытание верности. Бесконечно тянется поздний вечер. Последние студенты-зубрилы уныло спускают-

¹ Одушевленному предмету (*фр.*)

ся по лестнице, пробудившийся Марик вперил байронический взор в пространство, — она должна увидеть его надменный профиль, его равнодушный, его отрешённый профиль, и вот, наконец-то: она появляется в дверях, он замечает её краем глаза. Не удержавшись, поворачивает голову, проклятье, это не Ира. В опустевшем зале Марик бредёт между столами, подходит к усталой библиотекарше. Его не устаивают ответом. Иры нет, и неизвестно, как, когда она ускользнула. Шары под сводчатым потолком померкли, свет горит только вниз.

ШЕСТВИЕ МАРИКА ПОЖАРСКОГО ПО НОЧНОМУ ГОРОДУ

Марик сбежал вниз по лестнице с чувством, похожим на радость висельника, нагло насвистывая: *Мы летим, ковыляя во мгле! Мы летим на последнем крыле!* Завораживающая мелодия. Всё пропало. *Бак пробит, хвост горит, но машина летит.* Ступенька, еще ступенька. Машина летит! *На честном слове и на одном крыле.* Мужественно-расслабленным говорком, с англосаксонскими синкопами:

Ну, дела! (Там, та-та́м). Ночь была...
Все объекты разбомбили мы дотла. (Та́м, та́ра́м!)
Мы ушли, ковыляя во мгле.

Он шагает по влажно поблескивающему тротуару. На черном небе восходят малиновые светила. Город принимает его в свои объятия. Город, где только и можно жить. Фантастический, единственный в мире. Где всё вместе, эпохи и страны, Византия, Италия, Золотая Орда и Герцен с Огаревым, орлы на круглых щитах над воротами и подъездом, будка милиционера — посольство вчерашних друзей и союзников, перед которым не рекомендуется останавливаться, а вот мы возьмём и остановимся; и напротив, по ту сторону пустынной площади Манежа, за тёмной оградой Александровского сада и зубчатой стеной купол дворца, над которым в космическом небе, в призрачном сиянии плещется флаг, чёрный с кровавым отливом. Всё вместе, рядом, одно к одному. И где-то там, за светящимся окном, кабинет. Лампа на столе, и какой-нибудь персидский, шамаханский ковёр, по которому Вождь неслышно расхаживает в своих штанах с лампасами, заправленных в сапоги.

Там ли он? Остаётся ли он ещё человеком из плоти и крови?

Дальше, дальше... подъезд Колонного зала, Аполлон над четвёркою мраморных лошадей, в пахучей тёмной ночи сверкающая надпись над крышей ЦУМ'а: *Слава народу-победителю!* И везде, во всём одна и та же великая, зловещая и вдохновляющая тайна. Марик Пожарский шагает по городу, его шествие напоминает плаванье Зигфрида по Рейну, напоминает шаги командора, напоминает ночной смотр императора в треугольной шляпе. Он идёт пешком, ему далеко идти.

Вся команда цела,
И машина пришла
На честном слове и на одном крыле.

Поздно; гаснут фонари. В это время в старом арбатском доме Ира давно уже спит в своём закутке, подложив руку под щеку, антикварный шкаф отгораживает её от родителей. Станным, даже абсурдным, не правда ли, покажется сравнение магнитного поля восемнадцатилетней барышни с другим, мощнейшим излучением, которое ощущали все от мала до велика. С полем высокого напряжения, чьё смертоносное действие мог выдержать только тот, кто родился в нём или десятилетиями привыкал к его шелестящему присутствию.

И всё-таки, всё-таки... *Мы летим, ковыляя во мгле.* Юность сумела уравновесить воздействие двух полей, юность ухитрилась не замечать грозного шороха и потрескивания. Как лунатик не знает, что может споткнуться и упасть с высоты, так юность не подозревала о страшной опасности, подстерегавшей её на каждом шагу.

Но какой ценой, чем было куплено это шаткое равновесие? Любовь к тому, кто, скрывшись от всех, присутствовал всюду, чьи портреты давали не более адекватное представление об оригинале, чем иконы и фрески — о реальном облике божества, любовь к Вождю-Спасителю, которому молодые были обязаны своей молодостью, старики своей старостью, нищие своей нищетой, богачи богатством и в конце концов все и каждый — тем, что они живут, — не размагнитила ли эта любовь половую энергию? Кого нужно больше любить: Вождя или подругу? Конечно, Вождя! Женщина «отвлекает».

Люди старшего поколения помнили времена, когда он был человеком из плоти и крови. Чего они больше не могли вспомнить — когда и как влечение к Вождю начало заменять влечение к противоположному полу. О каком противодействии могла идти речь? И всё же, возвращаясь к Марику, мы можем сказать, что любовь к Вождю (или её остатки) была в конце концов перечёркнута. Чем? Любовью к Ире, чем же ещё.

Был обеспокоен очень
воздушный наш народ.
К нам не вернулся ночью
с бомбёжки самолёт.

ВОЖДЬ В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ НОЧИ

Никто не знает, что в этот час вблизи опустевших улиц, по которым бредёт Марик Пожарский, в клинике для особо почётных больных, нарушая режим, в своей палате с цветами, с картиной на стене, письменным столом и диваном для посетителей сидит знаменитый человек, великий артист или, точнее, режиссёр. Лампа с молочным абажуром освещает его бессонную всклокоченную голову. Синяя ночь дышит из приоткрытой фрамуги. Дорогой товарищ Сталин. Так принято, так требует этикет; говорят, он сам любит, чтобы его так называли.

Но с такими словами может обращаться к Вождю какая-нибудь доярка, так адресуются все — в воздух, в пространство, к великому портрету, с рапортом и славословием; а он — отнюдь не «все», и писать собирается по сугубо личному, но вместе с тем и государственно-важному делу, пишет, чтобы тот прочёл. Дорогой — и дальше по имени-отчеству? Этикет не предусматривает такую форму. Но и не запрещает. Всё дело в том, что в ней заложен особый смысл, в ней заключена уже некоторая степень доверительности, как бы намёк на близость и даже симметрию: великий артист — и Вождь. Вергилий и Август. Властители знают цену искусству, ибо только искусство сохранит их имя в веках, художник же, в свою очередь, нуждается в верховном покровительстве; оба, страшно сказать, но ведь это действительно так, оба — зависят друг от друга.

Дорогой... — и, подержав на мгновение в воздухе золотой «паркер», он выводит имя и отчество.

Далее — этикетное извинение за причиняемое беспокойство.

Я до сих пор...

Это «я», конечно, большая дерзость, «я», которым начинается абзац и всё письмо; что это ещё за «я», спросит Вождь, какое такое «я»? Но художнику, которого знает весь мир, позволено говорить от собственного имени.

Я до сих пор не писал Вам...

Больной задумался. Получается, что он берёт на себя не только право писать к Вождю, но даже право самому решать, когда ему воспользоваться этим правом. Вождь может сказать: зачем вовремя не обратился ко мне? Почему скрываешься от меня? (С характерным для него акцентом.)

Я до сих пор не писал Вам, чувствуя и зная, как сильно Вы заняты...

Все знают, что Вождь занят. Но художник это ещё и чувствует — своим особым, пророческим чутьём.

...как сильно Вы заняты и перегружены серьёзнейшими государственными делами. Но ведь и художник занят важнейшим государственным делом.

...как сильно, та-та-та... государственными делами. Однако, поскольку меньшей нагрузки для Вас в ближайшее время не предвидится...

Вождь оценит эту шутку.

...я всё-таки берусь написать Вам.

Тяжёлый вздох. Теперь — к делу. Пора брать быка за рога.

Дело идёт о Второй серии.

Разумеется, нет никакой необходимости напоминать Вождю, что это за Вторая серия: он в курсе дела, он внимательно следит за этой работой.

Мы настолько торопили завершение к началу этого года, что сердечные спазмы, появившиеся у меня от переутомления, в свою очередь завершились сердечным припадком (инфаркт), и вот я уже четвёртый месяц нахожусь в больнице.

Человек со вздыбленными волосами снова вперил взгляд в пространство, ему пришли на ум стихи народного поэта, другое Слово к Вождю. Как бы вылившееся прямо из сердца, непроизвольное. Искусно имитирующее бесхитрость и в самом деле

бесхитрое, продиктованное чувством, которому, в свою очередь, кое-что продиктовали. Впрочем, самое известное стихотворение последних лет.

Оно пришло, не ожидая зова.
Оно пришло, и не сдержать его.
Позвольте ж мне сказать Вам это слово...

Поэт прекрасно понял свою роль, она состояла в отсутствии какой-либо роли, какого бы то ни было задания. А вот просто так, и ничего не поделаешь, пришло, и не сдержать его. Пусть другие изобретают искусные рифмы, стараются удивить смелой метафорой. *Простое слово сердца моего*. Хитрый простачок. Его наивная восторженность, его простодушная, крестьянская, пастушеская искренность такова, что он доходит до невозможного, только вдуматься — он говорит: мы так Вам верили! *Как, может быть, не верили себе*. Что это значит? Неужели он хочет сказать, что «мы» уже потеряли веру, оставалось разве только поверить Вождю?

Режиссёр размышляет о том, что его назначение иное. Он не лежит, повергшись ниц, истекая благодарностью, у сапог Вождя. Он — Художник. Вождь может выказывать недовольство, Людовик XIV тоже был порой недоволен Мольером. Вождю может не понравиться его смелость, он может критиковать его, всё это — то, что можно назвать внешним диалогом Вождя и Художника. Но существует внутренний, неслышимый для окружающих, неизвестный современникам разговор, который они ведут наедине друг с другом, и тут они — на равных. О, как тяжело это время, как тяжело давит плита на грудь.

ИНТЕРМЕДИЯ В КОСТЮМАХ ЭПОХИ

В эту минуту (больной лежит на высоких подушках, руки поверх одеяла, грудь открыта, крохотная таблетка под языком, капли пота на лбу, знакомая история, не хочется вызывать сестру, не дотянуться до кнопки сигнала, боязно шевельнуться, кажется, нитроглицерин начал действовать, болит голова, это хорошо, главное — не поддаваться, медленно, равномерно, глубоко втягивать воздух), — в эту минуту он отчётливо, так что потрескивают седые волоски на груди, испытывает

лучевое воздействие Вождя, дрожание электромагнитного поля. Там тоже не спят. Вождь шагает по ковру в своём кабинете, из угла в угол, и, может быть, в эту минуту подошёл к высокому окну, смотрит на спящий город в редких огнях, под сенью красных, как леденцы, звёзд, — и думает о Художнике. Впервые с такой отчётливостью, физически, животом, мошонкой, режиссёр ощущает связь между собой и Вождём. Поле Вождя заряжено сексуальной энергией. Больному кажется, что сейчас произойдёт эрекция. Кстати, он всегда был чувствителен к красоте и могуществу мужчин.

И Вождь, несомненно, сознаёт эту близость. Вождь его поймёт. Он разрешит все трудности. Ведь это и его собственные трудности. Легче дышать. Мысли вернулись к незавершённой Второй серии. Шаги в коридоре. Это идёт дежурный врач.

Со слабым скрипом, с пением открывается белая дверь палаты, входят рынды в высоких шапках, в белых кафтанах со стоячим воротником и сафьяновых сапожках с загнутыми носками, серебряные топорики на плечах. Становятся по обе стороны у косяков. Входит, стуча посохом, вбивая наконечник в пол, покачивая набалдашником, огненноглазый, косматый, жидкобородый, татарообразный царь Иоанн IV Васильевич, это артист Черкасов. Великолепно найденный типаж.

Как его пропустили в этот час, спрашивает больной.

Царя — и не впустить! — удивляется Черкасов.

Должно быть, узнали. По Первой серии.

Может, скажешь: по картинке в учебнике? — грозный гость ухмыляется.

Впрочем, ты ещё до войны прославился, замечает больной. *Жил однажды капитан...* Паганель, «Дети капитана Гранта», бирюльки.

Кто-то услужливо придвигает кресло. Царь Иван усаживается возле постели, теперь он в длинной холщёвой рубахе. Согнутый в три погибели, тощая шея торчит между ключицами, борода вперёд, длинные плоские волосы, смазанные лампадным маслом, закрывают уши, рука высоко над головой висит на посохе.

Не знаю, говорит, никакого Паганеля. Не ведаю никакого Черкасова, не учён. А тобою недоволен.

Величественно-скрипучий, насморочный голос, великолепный актёр. Режиссёр одобрительно кивает. Жестом вносит

небольшие поправки. Чем бы ты был без меня, думает он. Эстрадным фигляром. Ты — моё творение. Дитя моей фантазии, моего творческого гения.

Царь пронзает его огненным взглядом. Меня слушай! Али глухой?.. Недоволен я, шибко недоволен.

В чём дело, иронически осведомляется больной. Глубокая ночь, город спит, в палатах спят пациенты, писатели, генералы, ответственные работники аппарата ЦК, рядовых людей здесь нет, в просторном полутёмном коридоре бодрствует за своим столиком перед лампой с черным абажуром, перед щитком с лампочками палат ночная сестра, дремлют дежурные врачи в своей комнате, опустив голову, сидит лифтёр в освещённой кабине, тишина, ничто не мешает их разговору.

Сейчас опасность миновала, и в ближайшее время я перехожу на санаторный режим. Физически я поправляюсь, но морально меня очень угнетает тот факт, что Вы лично до сих пор не видели картины, уже готовой...

Видел, как же, говорит Черкасов, члены Политбюро мною довольны. А вот тобою — лично я, — и он качает масляной головой, — нет!

Картина является второй частью задуманной трилогии... сюжет строится вокруг боярского заговора и преодоления царём Иваном крамолы.

Какой-нибудь Ромм, какой-нибудь Большаков или это ничтожество — Александров могли на него клепать, но царь — чем же он недоволен?

Кому, стонет самодержец, воздев костлявые руки, борода вознеслась вверх, очи к потолку, кому — и яростно осеняет себя двуперстием — доверю Русь? Кто довершит моё дело, истребит под корень бояр?

Ему! Он мой потомок, моя кровь.

Кто? Вождь?! Больной поднимает голову с подушек, напрягает лоб, это уже что-то новое.

Али не знал? Мой и орлицы моей Марии Темрюковны, черкешенки, царство ей небесное (снова размашисто крестится), едиnorodный сын, именем Димитрий, Димитрий Иоаннович, да не тот, не тот, что в Угличе... Не сгинул, не отравлен, а тайно укрывался в кавказских горах, и вот теперь... От Димитрия он... Да только не хватит, как я вижу, твёрдости, некому подсказать... давно пора, весь народ пал бы ниц перед ним.

Он и так пал ниц, заметил режиссёр.

Мало! Венчаться надо на царство, как положено. Шапку Мономаха, да не из рук патриарших, дрожащих рук, — самому на себя возложить. Как я в Первой серии. Тишина, всё спит, и Художник, которому осталось жить несколько минут, прислушивается к стуку посоха, к шаркающим, затихающим шагам.

WORDS, WORDS, WORDS¹

Пронеслись дожди, деревья стряхнули остатки листвы, и, как чудо, возможное только в этом городе, наступили тихие, тёплые, скопчески-опрятные дни. Как будто осень, отряхнувшись от мусора, оставленного некультурными постояльцами, постариковски наслаждалась покоем и тишиной в опустевших хоромах. Ни одного пожухлого листика не осталось на чисто выметенных дорожках Александровского сада, кругом ни души, тускло поблескивал песок, за оградой урчал и бормотал город, бледно-голубое небо стояло над византийскими башнями, и за стеной, мелькая между ласточкиными хвостами зубцов, разгуливал часовой.

Они уселись на скамейке, подошёл, хромя, палка под мышкой, с кульками мороженого Юра Иванов. Ира расстелила платочек, отколупнула серебряную обёртку и разложила брикетки плавленого сыра. Юра вынул складной нож. Марик Пожарский глотал слюни, следил, как женщина нарезает батон.

Марик стоял, что-то дожёвывая, за его спиной виднелся купол дворца с повисшим флагом. Девушка и ветеран сидели по обе стороны от платка с крошками хлеба, комками сладкой бумаги, обрывками станиоля. Иванов извлёк из заднего кармана брюк шикарную коробку: чёрный джигит на фоне синесеребряных гор. Ира собрала в кучку остатки еды, приподняла уголки платочка. Она держала платок в воздухе, словно приз. Марик поплёлся вытряхивать мусор в урну. Иванов помалкивал, сверкал стёклышками, важно курил, положив на трость негнущуюся ногу, держа длинную папиросу между средним и указательным пальцами.

¹ Слова, слова, слова... («Гамлет», II, 2).

«А мне?» — сказала она.

Он протянул ей раскрытую коробку. Ира выудила папиросу и вставила между губами. Большим пальцем Иванов крутил колёсико зажигалки. Кончился бензин. Его рука потянулась в карман за спичками.

«Ты, — пробормотал Марик, как-то вдруг заволновалась. — Что-то было в этой игре опасное и щекочущее, что-то шевельнулось во тьме сознания в ту минуту, когда бледные губы Иры сжали картонный мундштук. — Ты того, н-не затягивайся... Дай-ка мне!»

Из осквернённых губ Иры папироса-фалл перешла к Марику, словно совершался некий обряд.

Он разглядывал нож, на костяной ручке выцарапано нерусское имя.

«Это что, — спросил он, с Казбеком в зубах, перхая и давясь от кашля, — трофей?..»

Он попробовал, положив ладонь на скамейку между собой и Ирой, колоть острием между растопыренными пальцами.

«Это мне один подарил», — сказал Иванов небрежно.

«Немец?»

«Какой немец. С мичманом махнулись. Он мне этот, я ему свой... Брось. Дай-ка нож».

Иванов стал быстро и ловко стучать ножом между пальцами.

С закрытыми глазами Ира подставила лицо бледно-жёлтому свету с небес, вздохнула:

«Мальчики, мне пора...»

«Образцовая зубрилка, вот с кого пример надо брать».

Юра спросил, постукивая ножом: «Ты всегда занимаешься в читалке?»

«Дома негде приткнуться...»

И в это время чья-то фигура показалась в конце аллеи. Человек остановился перед обелиском революционеров.

Ира — не поднимая ресниц:

«Почитай что-нибудь».

Марик, которому ужасно хотелось читать свои стихи, делал вид, что не слышит, изучал погасшую папиросу, швырнул прочь.

«Он поэт», — сказала Ира.

Иванов: «Слыхали».

«Между прочим, в клубе есть поэтическая студия».

«Знаю», — сказал Марик.

«Ты там выступал? Прочти что-нибудь новенькое».

«У меня нового ничего нет. Я вообще перестал писать».

«У поэтов это бывает», — заметил Юра.

«После Блока, — сказал Марик, — поэзия кончилась».

«Как это кончилась?»

«А вот так. Один Исаковский остался».

«А что, — сказал Юра, — поэт как поэт».

«Да ещё Симонов».

«Что ты хочешь этим сказать?»

Ира: «Прочти то, что ты мне читал. Про зарю».

Марик уставился в пространство. Человек вдали не то стоял, не то приближался, как будто перебирал ногами на одном месте, и вдруг пропал.

Юра: «Ты, стало быть, единственный настоящий поэт».

«Возможно».

«Та-ак. Ну, валяй, послушаем единственного».

Марик вздохнул, огляделся, прочистил голос и начал читать, помогая себе кулаком.

«Н-небо! В-вывесит...»

При этом он слегка подвывал, как будто сидел в кувшине. Тёплый, тихий, бездыханный день, одинокий странник вдали на чисто выметенной аллее, бледный луч между безлистыми сучьями, стрелец на древней стене.

Небо вывесит утром цветную зарю.

Пусть на стыке больших осиянных дорог

Развевается платье твоё на ветру,

Развевается платье твоё на ветру,

Обнажая изваянность ног.

Я останусь стоять возле серой тоски

У скелета замученных дней,

Только пусть простучат об асфальт каблуки,

Только пусть простучат об асфальт каблуки,

Чтобы знать о дороге твоей¹.

¹ Стихи Якова Серпина (1929—2002).

ОБСУЖДЕНИЕ

«М-да, — сказал Иванов. — Ничего себе...»

Воцарилось молчание, оттого ли, что стихи произвели впечатление, или оттого, что не произвели никакого впечатления. Юра Иванов посвистывал, поглядывал по сторонам, свист перешёл в мурлыканье.

«Это что, немецкая песня?» — спросил Марик.

Ответа не было. Иванов мурлыкал. Потом громче:

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor!..

«Ну, и нечего здесь, — сказал Марик, — фашистские песни распевать».

«Её все пели, и там, и здесь. И немцы, и англичане, вообще все.

Wie einst Lili Marlen!

Wie einst Lili Marlen¹.

Хотите, ещё спою.

O, Hedwig! O, Hedwig!

Die Nähmaschine geht nicht...»

«Ну, я пошёл», — объявил Марик.

«Куда? Сидеть».

«А чего тут делать...»

«Тебе неинтересно наше мнение?»

Поэт сделал неопределённый жест, пожал плечами.

«Слушайте, — проговорила Ира, — это ведь он...»

«Кто?»

«Былинкин».

«Тебе померещилось. Чего ему тут делать?»

«А я говорю, он. Эй!» — и она замахала рукой.

«Зализывает раны», — сказал Марик.

¹ Перед казармой, в свете фонаря... С тобой, Лили Марлен... («Лили Марлен», пер. И.Бродского.) Шлягер сороковых годов.

«У меня вот какой вопрос, — сказал, вальяжно развалившись на скамейке, Юра Иванов, — может быть, я неправильно понял...»

«Конечно, неправильно», — быстро сказала Ира, не сводя глаз с быстро удалявшегося человека.

«Между прочим, я ещё не спросил!»

«Ты лучше скажи своё мнение. Тебе понравилось?»

«М-м... Вообще-то ничего. Но отдельные выражения...»

«А мне нравится», — сказала она, встряхнув кудрями.

«Вот, например, как это понять...»

«Слушай, Иванóв...» — сказал Марик.

«Ивáнов», — поправил Иванов.

«Хорошо, пусть будет Ивáнов».

Стихи висели в воздухе. Стихи, как осенние листья, упали в воду и медленно поплыли прочь. Ветеран восседал на краю скамейки, положив протез на палку. Поэт каменел посредине. Барышня помещалась поодаль, но на таком расстоянии, чтобы не разобидеть Марика окончательно; непринуждённо и, однако, ни на мгновение не забывая о том, что она сидит как подобает, грудь слегка выставлена, коленки вместе, полуприкрытые краем платья между полами слишком лёгкого пальто. Нужно было разрядить обстановку. Она проговорила:

«Мальчики, а это правда, что...?»

ЭПОХА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЕЛ

Произошло разоблачение Былинкина. Кто-то обронил это слово, курящееся ядовитым дымом: «разоблачение».

Былинкин числился студентом русского отделения, но не имел времени для учёбы. Былинкин был знаменитой личностью, секретарём бюро, членом комитета, состоял в комиссиях, выступал на собраниях, был облечён множеством почётных обязанностей, дневал и ночевал на факультете; это был хилый мальчик двадцати пяти лет, с впалой грудью, с хохолком волос на темени, с планкой орденов на пиджаке, где-то в лесах Белоруссии сражался в партизанском отряде.

Специальностью Былинкина было разбирательство персональных дел, и можно сказать, что особым коварством судьбы было то, что он сам стал жертвой разбирательства. Что такое персональное дело, было понятно всем, хотя и держалось в тай-

не до того времени, когда всё было решено и оставалось лишь начертать: *Персональное дело такого-то*, третьим пунктом повестки дня. Тогда-то и наступал час, когда блистал Былинкин. Он вёл допрос, предлагал товарищам высказаться, подытоживал факты, вносил предложение: поставить на вид. Самое лёгкое наказание. Или: строгий выговор с занесением в личное дело, это уже серьёзней. Или: поставить перед райкомом вопрос об исключении из комсомола — что означало полный крах, костей не соберёшь, а может, ещё хуже.

Факультет помещался на четвёртом этаже Старого здания; миновав крохотную переднюю, попадали в коридор, по которому, должно быть, когда-то прохаживался Герцен под ручку с Огаревым. По которому шествовал юный, страшно серьёзный, в волнообразных кудрях и с немецким Гегелем под мышкой, Станкевич. Теперь по коридору пробегал с толстым портфелем член комитета и секретарь бюро Игорь Былинкин. Из коридора попадали в небольшой, прямоугольником, зал, за ним какой-то закуток, окно с низким подоконником, уборная, служившая курительной комнатой, местом отдохновения и раздумий о смысле жизни. Далее, повернув направо, ещё один коридор с окошечком кассы, где платили стипендию, с дверями парткома, профкома, секретариата, деканата... Но вернёмся в зал.

Рядом с расписанием лекций и семинарских занятий, на кнопках, на булавах, на чём попало висели объявления, кому-то назначали встречу, кто-то потерял очки (было дописано: «и голову»). Две других стены занимала клеенная из многих кусков факультетская стенная газета «Юность» с девизом-подзаголовком: «Шагай вперёд, комсомольское племя». После знамён, репортажей, патриотических и критических статей — отдел сатиры и юмора, многорукий, как Шива, фотоколлаж, и в каждой руке по портфелю, подпись в стихах: *И куда ты ни пойдёшь, там Былинкина найдёшь*. Былинкина ожидало блестящее будущее. Как вдруг это случилось.

Марик заметил, что это уже не секрет.

Но ведь ещё неизвестно, сказала Ира.

Если не секрет, возразил Юра Иванов, зачем тогда спрашивать.

«Пока ещё не решено, — сказал он. — Будут разбирать. Сперва на бюро, потом в райкоме».

«Ты ведь тоже член бюро», — сказала Ира. Слегка поёрзав на скамейке, положила ногу на ногу — открылась коленка, обтянутая чулком, она укрыла её полами пальто. Она спросила:

«А как же курсовое?»

«Это в райкоме будут решать. Разрешат, значит, будет курсовое собрание».

«Закрытое?» — спросил Марик Пожарский, который думал, как всегда, и о том, что говорилось, и о чём-то далеком.

«Само собой».

«У вас всё закрытое, — съязвил Марик. — Все знают, и всё равно закрытое».

Былинкина перестали видеть в коридоре. Слух оброс подробностями. Слух распустился, как куст, осыпанный ядовитыми цветами. Якобы свалился с неба некто с костылём, из деканата был направлен в секретариат, на другой день явился в бюро комитета. Предъявил книжку: «В едином строю», очерки о боевых операциях партизанского подполья в Могилёве, автор Игорь Былинкин. Нам эта книга известна, сказали ему, ну и что? Он самый, возразил приезжий. Произошло некоторое замешательство, человек с костылём утверждал, что они с Игорем старые знакомые, можно сказать, родственники. Былинкин приехал в Агрыз с эвакуированными, был назначен заведующим клубом. В 44 году отбыл: вроде бы на родину, в Могилёв.

Когда отбыл?

Зимой, перед Новым годом.

Попрошу товарищей выйти, сказал секретарь партийного комитета. Значит, продолжал он, оставшись наедине с приезжим, вы утверждаете, что Былинкин якобы не был в партизанском отряде, а якобы находился все эти годы... я вас правильно понял?

Так точно, отвечал колченогий человек.

А вы знаете, спросил секретарь, что значит очернить имя советского патриота? Правильно, сказал с костылём, только это не моё дело, это вы уж сами разбирайтесь.

Разберёмся, сказал секретарь, а вы, собственно, кто такой? Приезжий отвечал, что он уже объяснял, кто он такой, и что они его целый год разыскивают. Кто — они? Семья, кто ж ещё, сказал приезжий. Что за семья и с какой целью, продолжал допытываться секретарь. С какой целью, переспросил приезжий и переложил костыль из правой руки в левую. А вот с такой целью: ос-

тавил девушку в деревне, с ребёнком. А я её брат. Вот мы все и приехали. Так-так, задумчиво проговорил секретарь. Все вместе. Уезжать не собираетесь? Приезжий развёл руками. Попрошу, сказал секретарь, пока о нашем разговоре никому не сообщать.

На другой день было созвано бюро.

«Вы инвалид Отечественной войны?» — спросил секретарь. Оказалось, нет, нога покалечена с детства. Поинтересовались документами: паспорт как паспорт. Прописан в селе Агрыз, Агрызского района Татарской АССР. Справка с места работы, предусмотрительно запасённая приезжим: военрук районной средней школы. Кто-то из присутствующих задал вопрос, а как же обстоит дело с орденами. Имелись в виду боевые награды Былинкина. Как обстоит дело, переспросил хромой. Да я вам на базаре сколько хочешь этих орденов куплю. Я думаю, вмешался секретарь комитета, нам сейчас незачем поднимать этот вопрос.

«Вот что, — сказал он, твёрдо глядя в глаза приезжему, — вы поезжайте спокойно домой, мы разберёмся и сделаем соответствующие выводы».

«Как же так...» — заволновался агрызский военрук.

«Поезжайте. Сколько сейчас ребёнку? Годика ещё нет? Ну, вот видите. Поезжайте. Мы всё выясним. Напишите заявление, сестра пусть тоже подпишет, и пришлёте нам... Обратный билет у вас есть? Надо будет, — сказал секретарь, — заказать товарищу такси. Вы где остановились?»

ДИСПУТ НА РИСКОВАННУЮ ТЕМУ

Думается, сказал секретарь, выражу общее мнение товарищей... Инцидент не должен выходить за рамки. Есть мнение, что торопиться не следует.

Надо поднять личное дело, связаться с военкоматом.

Кто-то намекнул: а не поставить ли в известность... м-м? Холодок пронёсся над сидящими. Секретарь загадочно взглянул на спросившего, не сказал ни да ни нет и заключил своё выступление так:

«Сделаем всё что от нас зависит. После предварительного выяснения передадим на рассмотрение комитета комсомола. Думается, не надо перегибать палку. Если факты подтвердятся, наказать со всей строгостью, но подумать о сохранении ценного работника».

«На базаре, так и сказал?» — спросил Марик.

«Не знаю. Я там не был».

«Где?»

«На заседании».

«А у тебя, — спросил Марик, — тоже есть награды?»

«Есть», — мрачно ответил Иванов.

«Почему ты их не носишь?»

«Знаешь что, — сказал Иванов. — Пошёл ты знаешь куда...»

Он добавил:

«Ты что, не понимаешь, что такие вещи на открытое обсуждение не выносятся?»

«Ну, значит, меня туда не пустят. Да я и сам не пойду», — сказал Марик и встряхнул буйной головой.

«Почему это ты не пойдёшь? Если будет общее собрание, пойдешь. Это твой долг».

«Какой ещё долг, я не комсомолец».

«Как это не комсомолец, все комсомольцы».

«А я нет».

«Тебе надо вступать», — сказала Ира.

«Зачем?»

«Надо», — сказала она внушительно.

Марик задрал голову. Обвёл надменным взором пространство, нагие деревья, буро-розовую стену и обелиск в честь великих революционеров.

«Так вот, я вам скажу. Марксизм-ленинизм приказал долго жить», — изрек он.

«Это как понимать?» — усмехнувшись, спросил Иванов.

«А вот так. Война доконала. Ты разве не заметил, что вдруг всё исчезло: классовая борьба, мировой пролетариат...»

«Не заметил. Не до этого было».

«Мальчики, перестаньте...»

«Вместо всего этого — великий русский народ».

«Вместо чего?»

«Вместо всей этой хреновины».

«Ну и что. Он действительно великий».

«Не просто великий, а самый великий. Всё изобрёл. Иностранцы только и делали, что воровали наши открытия. Своровали радио, своровали паровоз».

«При чём тут марксизм?»

«Вот именно что ни при чём. Всё ложь, — сказал Марик вдохновенно. — Ложь и неправда! И нечего притворяться».

«Что неправда?»

«Да всё».

Молчание, зеленые глаза Иры блуждали по окрестностям.

«Много ты понимаешь, — сказал Юрий Иванов. — Что ты всё заладил: правда, неправда... К твоему сведению, неправда...».

«Перестаньте вы, наконец...» — пробормотала она.

«Неправда — это не то же самое, что ложь».

«А что же это?»

«Необходимая версия действительности».

«Ага, вот как!»

«Да. Ты представляешь, что было бы, если бы тебе вот так, в открытую, лягнули: дескать, так, мол, и так, мы говорили одно, а на самом деле всё совсем другое?»

«Значит, по-твоему... по-твоему...» — и Марик злобно расхохотался.

«Что по-моему?»

Марик Пожарский умолк. Ира сидела, раскинув руки на спинке скамьи, с запрокинутым лицом, мерно, покойно дышала ее грудь, и пальто сползло с коленок. «Геббельс сказал: пропаганда — это власть!»

«Откуда ты это вычитал?»

«Вычитал».

«А ты знаешь, что за такие слова по головке не погладят?»

«За какие это слова?»

«За такие. За то, что ты цитируешь Геббельса. Вообще за всё это».

Марик прищурился, процедил:

«Хочешь на меня настучать, да?»

Иванов сложил руки на груди.

«Ну-ка повтори», — сказал он.

«Что повторить?»

«Повтори, что ты сказал. (Молчание). Сволочь сопливая. Молокосос».

Всё в той же позе, не шевелясь, Ира сидела, подняв к солнцу лицо с закрытыми глазами, и всё растворилось в этом мягком тепле, в жидком сиянии, спор иссяк, обе стороны почувствовали, что *не в этом дело*. Не то чтобы они усмотрели в этом веч-

ное, неисправимое стремление женщины обесценить всякий спор, если он не имел отношения к «жизни». Просто само собой стало очевидно, что дело не в русском народе и не в марксизм-ленинизме. Все это были мыльные пузыри. А дело в том, что она сидит здесь, между ними, и это в тысячу раз важнее всех споров, обсуждений, разоблачений и персональных дел.

ERITIS SICUT DEUS¹. РАЗГОВОР АСМОДЕЯ С УЧЕНИКОМ

Слава и гордость факультета, без пяти минут академик, а точнее, член-корреспондент без надежды стать когда-нибудь просто членом, — профессор Сергей Иванович Данцигер, маленький, крупнолицый, румяный, с мощным мясистым носом, густыми белыми бровями, в усах и клиновидной бородке, в чёрной шёлковой шапочке, насаженной на седые кудри, профессор-картинка, профессор-вывеска, — дремал подле парторга и пробуждался, лишь когда председатель, скосив глаза на коллег, произносил: «Можете идти». Очередной абитуриент — это был фронтовик на протезе — вышел, девица в крепдешинном платье, справившись со списком, выкликнула следующего, и в комнату вступил на нетвёрдых ногах вчерашний школьник, чуть ли не подросток, в курточке домашнего изготовления и в брючках, которые едва достигали лодыжек. Марик Пожарский окончил школу на один год раньше, чем полагалось, это была идея, поданная учителем Александром Моисеевичем, — подзубрить за лето и сдать осенью экзамены за десятый класс. Марик сдал на пятёрки, но его знания были эфемерны. Вдобавок они страдали односторонностью. Он не сумел ответить на вопрос, заданный секретарём парткома, его спросили ещё о чём-то, Марик барахтался и явно произвёл неблагоприятное впечатление. Но тут обнаружилось, что Сергей Иванович, подобно жирному парню Диккенса, не спит. Это обстоятельство решило судьбу Марика. Старец спросил, — вопрос, который он задавал всем, — что подвигло молодого человека избрать филологический факультет. И Марик по внезапному наитию продекламировал из «Фауста»:

¹ И будете, как Бог (знать добро и зло; *лат.*). Бытие, 3, 5.

Ich wünsche recht gelehrt zu werden
Und möchte gern, was auf der Erden
Und in dem Himmel ist, erfassen,
Die Wissenschaft und die Natur¹.

На что окончательно пробудившийся профессор Данцигер живо отвечал:

Da seid Ihr auf der rechten Spur².

Наступила пауза, профессор вдохновенно взирал на ученика, затем, спохватившись, покосился на парторга. Секретарь парткома хранил непроницаемый вид, он ничего не понял и ждал, что скажет профессор. «Я думаю, что...» — неуверенно проговорил Сергей Иванович. «М-м?» — отозвался парторг. — «Я полагаю...» — «Да, да, конечно», — спохватившись, кивнул парторг, и, хотя ничего более определённого из его уст не последовало, секретарша поставила против фамилии Марика галочку, в конце концов Марик принадлежал к дефицитному мужскому полу, да и собеседование, в сущности, было формальностью.

Но где мы? Марик Пожарский обводит зачарованным взглядом келью учёного чернокнижника, небесную сферу, алхимическую посуду, голову Адама. Некто в рясе учёного доктора, скрыв лицо и голову с рожками под монашеским капюшоном, восседает на стуле с высокой спинкой, перед своим пультом. Славное имя профессора Данцигера, знаменитый университет...

КАРТОФЕЛЬ ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА

Имя — это судьба, и никто охотней не согласился бы с этим утверждением, чем сам профессор Данцигер. Среди щелчков и уколов, которым судьба награждала его время от времени, худшим унижением в эпоху необычайно возросшего патриотического самосознания была необходимость внушать начальст-

¹ (Ученик): Желаю стать настоящим учёным, объять всё, что есть на небе и на земле, постичь природу и все науки.

² (Мефистофель): В таком случае вы на верном пути. «Фауст», I, 1898—2002.

венным лицам, что фамилия его отнюдь не связана с национальностью, о которой, как о дурной болезни, не полагалось упоминать. Правда, имя и отчество были безупречны. Но, как известно, «эта нация» умеет маскироваться. В анкете профессора Данцигера стояло: русский. Тоже не довод. Наконец, с чисто филологической точки зрения, корневая часть этой фамилии, как, впрочем, и сомнительный суффикс, выглядела непристойно. Особенно теперь, когда бывший Данциг принадлежал Польше. Что же это получается: если не еврей, значит, немец?

У Сергея Ивановича были враги. Он знал, что у него есть враги. Завистники, дай им волю, не побрезгуют любой демагогией. Было чему завидовать. Импозантная внешность, солидная репутация в учёных кругах, имя на обложке общепризнанного учебника. Наконец, и, может быть, прежде всего, безукоризненная лояльность. Предыдущая глава могла подать повод к тому, чтобы заподозрить его в сношениях с духом отрицанья и сомнения. Профессор Данцигер ничего не отрицал и не подавал повода к тому, чтобы обвинить его в сомнениях. Лояльность требовала подтверждений; в те времена лояльность именовалась общественной работой. Работа состояла в том, что он неизменно заседал на торжественных собраниях. Его академическая ермолка возвышала сидящих за красным столом президиума в их собственных глазах, густой благородный голос Сергея Ивановича Данцигера с несколько старомодным проносом придавал особый вес его словам, когда он выступал с сообщением о том, что в президиум поступило предложение избрать почётный президиум во главе с Вождём, «кто за то, чтобы принять...» — и первым поднимал руку, и то, что он был беспартийным, в глазах ответственных товарищей имело даже положительное значение.

Но в звуке этого имени содержался ещё один сомнительный обертон, присутствовало нечто в самом деле двусмысленное, имя напоминало о том, кого никто больше не помнил или, по крайней мере, помалкивал о том, что помнил. Был ещё один Данцигер, Фёдор Владимирович, которого, собственно говоря, надо было бы называть Вильгельмовичем, но откуда же у Сергея Ивановича оказалось другое отчество? Этот вопрос нужно поставить в связь с бурным и смутным временем, когда изменилось всё, вплоть до названия страны. Давно сгинувший Фёдор Владимирович, увы, приходился Сергею Ивановичу родным

братом. Брат был гордостью и проклятьем. Брат был знаменитый философ, мистик и рационалист, изобретатель христианства Третьего Завета, оппонент отца Павла Флоренского, архимандрита Серафима Высотского и других; оратор, спорщик, говорун, ценитель севрюжьей ухи в Религиозно-Философском обществе, пожиратель облитых маслом блинов с икоркой в ресторане Литературно-художественного кружка, истинное олицетворение мыслящей, избалованной и уже малость *gâtée*¹ России 1913 года. Полная противоположность скромному и осмотрительному младшему брату.

Грянула война, Сергей Иванович получил приват-доцентуру в Петербурге, переименованном в Петроград. Фёдор же Владимирович очутился на австрийском фронте и оттуда вновь привлёк внимание публики патриотическими «Письмами капитана артиллерии». В роковом Семнадцатом году, как видный член партии к.-д., вместе с Гучковым и Шульгиным по заданию Временного комитета Думы (все тогда было временным) Федор Владимирович прибыл во Псков и даже будто бы первым вошел в салон-вагон литерного поезда, чтобы уговорить царя отречься. В мемуарах, изданных в эмиграции, он об этом, правда, не упоминает. Достоверно известно, что, будучи министром в правительстве Керенского (министром чего? — это уже вовсе никто не помнил), Федор Владимирович после переворота едва не был казнён большевиками, в уцелевшем имении матери, в Пензенской губернии, сажал картошку и обдумывал обширное сочинение о грядущих судьбах русского народа. Дошли слухи о прогремевшем в Германии трактате философа Шпенглера, черный Гамаюн вещал гибель. Кто же тогда спасёт Европу — и христианство? — вопрошал Фёдор Владимирович. И отвечал, стаскивая в сених заляпанные глиной сапоги: Россия. *Ex Oriente lux!*²

Это продолжалось недолго. Фёдор Владимирович послал в Москву статью для сборника — достойную отповедь гробокопателью фаустовской цивилизации. После этого кто-то приехал в картузе и куртке из жеребьячьей кожи. Данцигера-старшего вызывали в Москву, в Чека. Первое время, пять или шесть лет после изгнания из пределов отечества (с внятными предупреждением, что теперь уж, если вернётся, будет как пить дать рас-

¹ Подгнившей (*фр.*)

² Свет — с Востока! (*лат.*)

стрелян), он присылал письма из Германии; Сергей Иванович отвечал всё неохотней, наконец, связь прекратилась, брат сгинул, никакого брата не существовало, и профессор Данцигер — он был уже профессором — с законным правом мог писать в анкетах, что родственников за границей не имеет.

Как вдруг — сколько было этих «как вдруг» — случилось невозможное: Фёдор Владимирович воскрес. Получил разрешение вернуться. Годы изменили его не только внешне. Брат пересмотрел свои взгляды. Он согласился с Владимиром Соловьёвым в том, что своим величием Россия обязана жертвенной готовности русского народа отречься от самого себя. Он пришёл к выводу, что ненавистная узурпаторская власть была на самом деле Божьим перстом. Она называла себя революционной, но в действительности спасла Россию. Пускай она всё ещё клянется Марксом и международным пролетариатом, — именно эта власть сберегла империю. К несчастью (ибо прошлого не зачеркнёшь), а вернее, к счастью, ему не разрешили прописку в столицах. Фёдор Владимирович не настаивал, отправился от греха подальше в Пензенскую область, в родные места. От усадьбы ничего не осталось. Несколько времени спустя дошли слухи, что он женился на деревенской бабе-колхознице, обитает в избе, полет картошку на приусадебном участке, дышит свежим воздухом и работает над сочинением о грядущих судьбах русского народа.

ГРОМ ПОБЕДЫ

Оставим в покое мыслителя-пророка, эту старую рухлядь. Пора воротиться к нашим баранам, точнее, к одному из них. Каким был духовный путь Марика Пожарского, какими тропами добрёл он до филологического факультета? Подобно тому, как однажды потух — к счастью, ненадолго — свет кремлёвских звёзд (многие помнят этот инцидент, породивший так много слухов), так однажды прервалось излучение Вождя, исчезло магнитное поле, и те, кто пережил эту катастрофу, помнили о ней всю жизнь, даже если война застала их детьми. Лето было уже в разгаре, стояли жаркие дни, сверстники Марика разъехались кто куда, сам он собирался с мамой и старшей сестрой на дачу, которую почему-то сняли в этом году очень поздно. Всё было готово, посреди комнаты стояла бельевая корзина, пере-

вязанная верёвкой, стояли на полу керосинка и плетёная бутылка с керосином, швейная машина, стулья один на другом. Ждали отца, который должен был приехать с грузовиком.

Марику Пожарскому исполнилось двенадцать лет, по своим убеждениям он был марксистом-интернационалистом с анархическим уклоном. Услышав из чёрного картонного рупора обращение Молотова к советскому народу, Марик испытал необычайное возбуждение, выбежал во двор, ему хотелось скакать, маршировать, ни о какой даче, конечно, не могло быть и речи. На улице из двойных раструбов с крыш, над водосточными трубами гремела праздничная музыка. *Малой кровью, могучим ударом!* Мужской хор, как строй бойцов, чеканил оду на слова поэта-орденоносца Василия Лебедева-Кумача. Так и произошло. Красная Армия перешла в наступление. Двинулись, лязгая гусеницами, танки, понеслись с гиком лихие тачанки, помчалась — сабли наголо — кавалерия. Распространился слух о том, что наши войска заняли Варшаву, Будапешт и Бухарест. В свою очередь германский пролетариат готовился встать грудью на защиту отечества всех трудящихся. Между тем дошло до сознания несуразное, непонятное: Вождь исчез. Поручил Молотову сообщить о вероломном нападении, это понятно, он занят; но прошла неделя, шла другая, Вождь не подавал признаков жизни, никто не знал, что с ним, где он, и стрелка вольтметра, напряжение поля с каждым днём съезжало от деления к делению, пока не приблизилось к нулю.

То, о чём говорилось вполголоса, реплики, полные недомолвок, разговоры о тёте Мане, которая вновь пожалует в гости, что означало: ночью будет воздушная тревога, снова тревога, — как, почему, если врага успешно отогнали, — всё это не было предназначено для его ушей, но Марик обладал сверхъестественной интуицией подростка. Сидя на каменном полу, в толпе между перронами станции метро «Красные Ворота», которая теперь превращена была в бомбоубежище, Марик Пожарский чувал губительное исчезновение магнитного поля, и в этом было всё дело. Именно этим исчезновением объяснялись необъяснимые неудачи. Их уже невозможно было скрывать. Государственные органы, которые до сих пор так успешно справлялись с задачей обрывать реальность в парадный мундир, теперь не успевали одолевать новые и неслыханные трудности. Это было похоже на лихорадочное латание вновь и вновь расползающейся одежды.

Вождь, наконец, очнулся, они услышали его глухой желудочный голос. Стало ясно то, что и так было ясно: немцы захватили Прибалтику, Белоруссию и, вероятно, много ещё чего. Вождь сказал правду или, по крайней мере, нечто близкое к правде. Вождь говорил правду даже тогда, когда он говорил неправду, а неправду, как постепенно выяснилось, он говорил чаще, чем правду... Он возглавил Комитет Обороны, и магнитное поле восстановилось. Победа была близка. Из закровов языка было добыто слово «ополчение», оно напоминало о нашествии поляков, о Козьме Минине и князе Димитрии Пожарском. Отец записался добровольцем в ополчение — так делали всё. Рано утром отец проводил их на вокзал, в этот день ему предстояло явиться на призывной пункт. Никто не узнал, что случилось с ополчением, куда оно делось, о нём не упоминали в сводках, его словно не было, и негде было наводить справки об отце, который никогда больше не возвратился.

Бывшая Каланчёвская, ныне Комсомольская площадь кишела народом, подъезжали автобусы и грузовики, высаживались люди с узлами, чемоданами, швейными машинами, детскими стульчиками для каканья, из метро вываливались новые толпы, тротуар перед Казанским вокзалом, зал ожидания, лестницы, коридоры, перроны — всё было забито людьми и скарбом. Еле успели отыскать свою организацию, для неё было выделено два пульмана. В такт мерному стуку колёс качались, лёжа вповалку наверху и внизу, на помостах из необструганных досок и на полу посреди вагона, против задвижной двери, это было лучше, чем метаться от духоты на нарах, ночью стучала откиннутая наружу крышка узкого продолговатого люка, что-то несло навстречу, казалось, вагон то взбирается на гору, то стремительно катится вниз, непонятно было, куда ехали, на рассвете остановились. Лязгнули буфера. Женщины неловко, задом спускались с нар, шарили место, куда поставить ногу. Оттащили в сторону тяжёлую дверь. Состав стоял бок обок с пассажирским поездом, слепо отсвечивали окна, и казалось, что там никого нет. Позади него послышалось медленное постукивание, видно было между вагонами, как движутся платформы, товарные вагоны, заскрежетали колёса, звякнули буфера, это подошёл ещё один состав. Кое-где на сумеречном оловянном небе ещё горели огни, можно было различить вдали буквы на мачтах семафоров. Было прохладно.

Хрустя сапогами, прошагал мимо вагона железнодорожник, спросили: что за станция? Оказалось, Пенза. Долго ли простоим? Час, не меньше, сказал человек.

Начали вылезать, прыгивать, умывались, поливая друг друга, поглядывали на медленно теплеющее небо без единого облачка, ожидался жаркий день, такой же, как все эти недели. Далеко на западе, на бледно-лиловом небе вспыхивали зарницы, пахло паленым, трава горела на корню. В те дни за спиной у катящейся, как океанский вал, вражеской армии уже осталось столько земли, что на ней можно было разместить ещё одну Германию и полдюжины государств в придачу; была применена новая тактика, артиллерия и пикирующие бомбардировщики концентрировались на узком участке фронта. Радисты в танках сообщали лётчикам координаты бомбовых ударов. Танки устремлялись в прорыв, следом бежала пехота в шлемах, похожих на ночные горшки, и окружала наших. Миллионы красноармейцев сдавались в плен, и об этом тоже не знали. Слухи заменяли информацию, но сводки от Советского информбюро были не более правдоподобны, чем слухи.

В те дни, в другом таком же эшелоне эвакуированных Ира Игумнова ехала на юго-восток с матерью, тётёй, бабушкой и братом, которому через год предстояло получить повестку; никто не думал, не гадал, что через год война докатится и до юго-востока. Юра Иванов стал курсантом Высшего мореходного училища и не знал о существовании Иры и Марика, как они не знали ничего друг о друге. И в те же самые дни середины июля, в ранние утренние часы Марик Пожарский загадочным образом потерялся.

Марик отправился за кипячёной водой, пролез под колёсами пассажирского поезда и побежал в обход товарняка, который подошёл следом за ними. С двумя полными бидонами он выскочил из вокзального здания, пустынного и спокойного, совсем не то, что в Москве, взглянул на большие перронные часы и убедился, что времени остаётся ещё много. Он шёл по путям, обходил вагоны, перелезал через тормозные площадки, поглядывал на неподвижные крылья семафоров, на красные и жёлтые огни, раздумывал над проблемой, занимавшей его все последние недели; как вдруг оказалось, что пассажирского нет и товарного тоже нет; он бросился к другому составу, но это определённо был не их состав и не их вагон.

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО КОРНЯМИ ВВЕРХ

В те же июльские дни ехала неизвестным маршрутом, с детским садом и школой имени Карла Либкнехта, с пионерским горном, барабаном и знаменем, с директором, завхозом, учителями, с бочонком селёдки, с упакованными наспех чемоданами, тринадцатилетняя девочка Соня Вицорек, иначе Сузанна Антония, по матери — фон Ирш цу Зольдау.

Здесь невозможно описать в подробностях генеалогию этой семьи; любознательный читатель может справиться в Готском альманахе.

Замок графов Ирш, где в ясные ночи свирепый одноногий старик взбирался на башню, прыгая с костылем по каменным ступеням, стоял на горе посреди леса; внизу, в долине, лежала деревенька, дюжина дворов, край был бедный и малолюдный; когда стало известно, что неприятельский отряд рыщет по окрестностям в поисках провианта и женщин, звездочёт приготовился к обороне с кучкой вооружённых слуг, но шведы так и не разыскали замок. Бавария была разорена, города сдавались один за другим, Валленштейн спешил на помощь из Богемии, но прежде чем он перешёл границу, Кёцтинг был сожжён дотла ордами протестантов, и смуглые, черноусые хорваты, закалённые в сражениях, не могли сдержать слёз, увидев, что осталось от города. Повсюду кругом пылали пожары, и толпы разного сброда скитались по дорогам и заброшенным полям, а сверху, с лесистых холмов, на них налетали на всём скаку одичавшие рыцари-громилы, каких прежде не видели в этом краю, и грабили всех, кого ещё можно было ограбить. Генералиссимус Тилли умер в Ингольштадте после того, как шведский рейтар пробил ему нагрудник копьём. Граф Ирш-младший, единственный сын, погиб при осаде Аугсбурга известие принёс полумёртвый гонец, кто-то видел молодого Ирша лежащим на поле боя без чувств. Старик бодрствовал в башне, разглядывал чертёж и вперялся в зрительную трубу, искал ответа: что с сыном? Случилось чудо, упрямство победило, что-то сдвинулось в небесном механизме. Сатурн, вестник гибели, увял в лучах благодатного Юпитера. Ирш выздоровел от смертельной раны. Пришла другая весть, о поражении под Лейпцигом, — фортуна вновь отвратила лик от защитников апостольской веры. Но зато, к их радости, северный король пал под пулями мушкетё-

ров. Вернувшись в замок, молодой Ирш нашёл старика отца при смерти, наследственное владение неразграбленным, обсерваторию в образцовом порядке.

Знай он о том, что его потомки впадут в лютерову ересь — пфальцская и баварская ветви угаснут в смене столетий, уцелеет единственная ветвь рода, балтийская, — знай он об этом, он проклял бы своё семя. Однако планеты не оставили своим покровительством последнего из его потомков. Последней была женщина. На щите графов Ирш был изображен зубр, склонивший рогатую голову. Упрямство Аннелизе Ирш было семейной чертой. Любовь, а затем и замужество Аннелизе единодушно осудила вся родня, отчасти из аристократических предрассудков, но главным образом из-за морального облика и политических убеждений Отто Вицорека. Трудно сказать, что сильнее вскружило голову Аннелизе: революционная идея или красота Отто. Он был строен, голубоглаз, заносчив, как и подобало сыну рабочего, вдобавок еврей; дерзко нёс свою голову с огненно-рыжей шевелюрой; в семнадцать лет примкнул к движению нудистов, этих апостолов разврата, позировал на пляжах в окружении девиц, изображавших наяд (есть фотографии), получил премию на конкурсе мужской красоты, играл на флейте и барабанае, слагал баллады (говорят, ему подражал молодой Брехт), бедствовал, кое-как окончил на казённый кошт военно-медицинскую академию кайзера Вильгельма в Берлине. Медицина не была его призванием. Эволюцию его взглядов можно кратко охарактеризовать как замену одних фантомов другими. Отто Вицорек был батальонным врачом на Западном фронте, председателем солдатского комитета в Дрездене, а в пору знакомства с девушкой из стана эксплуататоров — членом центрального совета рабочих и солдатских депутатов. Дружил с Фридрихом Вольфом, был на «ты» с самим товарищем Тельманом.

В предпоследний день февраля тридцать третьего года, в Берлине какой-то голландец по имени Маринус ван дер Люббе, полуголый, обливаясь потом, выбежал из горящего рейхстага с воплем: «Протестую!», его сочли за поджигателя. История шлёпнулась в грязь; в семействе Ирш переворот был встречен сочувственно. Аннелизе возвратилась в семейное поместье, в семи километрах от Мариенбурга в Восточной Пруссии, вернула имя и титул; с Вицореком было покончено, Аннелизе оставила его так же решительно, как некогда завладела им. Вицорек бежал. Через

Базель, Вену и Варшаву с новой подругой и дочерью добрался до столицы мирового пролетариата, был помещён в гостиницу «Люкс» на улице Горького, 36, и получил в Отделе виз и разрешений Главного управления НКВД бессрочное право жительства в стране как ветеран рабочего движения, революционный журналист и подпольщик. Через три года подали на гражданство. Им дали квартиру из двух комнат с ванной и кухней в Нижнекисловском переулке, в доме, где поселились Вольф с женой и мальчиками, поэт и партийный функционер Эрих Куявек, Фишеры, Лотар Влох и другие; Сузанна Антония стала Соней.

Зимой последнего года войны пароход с беженцами из Восточной Пруссии был атакован русской подводной лодкой. В темноте из-за сильной качки к переполненному баркасу, за который всё ещё цеплялись руки тонущих в воде, невозможно было приблизиться. Всё же удалось кое-как перетащить людей в шлюпки спасательного судна. Аннелизе фон Ирш цу Зольдау была крупная рыхлая женщина лет пятидесяти; когда два или три месяца спустя она добралась до Аугсбурга к дальней родне, одежда висела на ней лохмотьями; никакой родни не оказалось, во второй раз после Тридцатилетней войны город был уничтожен. Аннелизе чуть не умерла от голода, но, к счастью, сумела списаться с Сузанной Антонией. Дочь находилась в советской зоне.

РАЗЛОМЫ

Лязг буферов прокатился по всему составу, вагон дрогнул, медленно повернулись колёса, из приотворённой двери протянулось несколько рук, Марик бежал за вагоном с бидонами, бросай, бросай — кричали ему, втащили в вагон, поезд гремел на стыках, путаница рельс, семафоры, пакгаузы — всё исчезло. Поезд шел по насыпи, внизу тянулся кустарник, блестела вода. Здесь тоже были эвакуированные, женщины и дети, русская речь мешалась с нерусской, подросток сидел на краешке нар, ел бутерброд и пил чай из эмалированной кружки. Состоялось знакомство. Девушка лет двадцати ехала с отцом, высоким, тощим человеком с полуседыми всклокоченными волосами, с провалившимся лицом, между собой они говорили по-литовски и по-еврейски. Был ещё один сын, мальчик такого же возраста, и звали его так же; вот как, сказал отец, и, вероятно, это обстоя-

тельство — одно и то же имя — имело какое-то значение. Этот Марк находился в пионерском лагере в Паланге, куда уже невозможно было добраться, и никаких вестей, и неизвестно, успеют ли их вывезти. Большинство родителей, по-видимому, вовсе не собирались в эвакуацию, но у отца с дочерью не оставалось другого выхода. В Каунасе на вокзале так и не дождались автобуса с детьми, возможно, пионерлагерь успел эвакуироваться раньше; вдруг разнеслось известие, что немцы уже в городе. Из этих отрывочных рассказов Марик, не тот, кто пропал, а тот, кто сидел на краешке нар и вот уже третьи сутки ехал с незнакомыми людьми в неизвестном направлении, сделал вывод, что евреи были настоящими советскими патриотами, а литовцы предателями.

Прошёл слух, что едут в Уфу. Никто в вагоне не знал, где это находится, и Марику пришлось объяснять. До Уфы, впрочем, не доехали. Как в Средние века, это было время грозных чудес. На речном вокзале, где ждали парохода, чтобы плыть дальше по Белой, к Марику подбежала, вся в слезах, мать, она ждала здесь уже третьи сутки. Поздно ночью погрузились на баржу, лежали под звездами, пока пароходик где-то впереди шлепал колесом по воде; взошло солнце, мальчик спал, несколько времени спустя он сидел, протирая глаза, что-то жевал, люди вокруг лежали, укрытые чем попало, мать не отпускала его ни на шаг; вечером причалили к дебаркадеру. Всё смешалось в голове у Марика, летняя ночь и огни на чёрной воде, толпа брела с пристани наверх, это было большое село, разместились в школе и прожили в физкультурном зале на полу, среди кульков, узлов, чемоданов, две или три недели.

Так началась новая жизнь, итоги которой, по прошествии трёх лет, были плачевны. Существует тайная связь между кризисом плоти и крушением веры в Бога; политическое мировоззрение Марика Пожарского (как и всех его сверстников) было сопоставимо с религиозной верой.

Был один случай, была такая деревенская девчонка, голоное существо в коротком платьице, теперь уже не вспомнишь, как её звали; вдвоём шли по пыльному тракту, лес стеной стоял на холмах по правую руку, слева сверкала река. А вот хочешь, подмигнула она, покажу кое-что. Два дерева, как одно, стерегли круто поднимающийся луг. Два дерева обвили стволы одно вокруг другого, словно две огромные змеи.

«Гитлер со Сталиным борется!» — с каким-то бессмысленным восторгом объявила она. И всё это вместе, белая пыль дороги, в которую так приятно было погружать босые ступни, опушка, залитая солнцем, и хихиканье, дурацкий смех, в котором почудилось ожидание, почудился вызов, и самое главное — неслыханное, невозможное сравнение великого друга и вождя с кровожадным фашистским ублюдком, — болезненно отпечаталось в душе у Марика: всякий раз при воспоминании об этой истории, которую историей-то не назовёшь, об этой девчонке с бугорками груди, ему казалось, что он упустил что-то, надо было обнять её, как Гитлер обнял Сталина. Вся жизнь вокруг была не такой, какой ей полагалось быть, какую представлял себе никогда не живший в деревне подросток, и далекая война шла не так, как полагалось, что, впрочем, было уже не новостью, и всё-таки невозможно было отделаться от вопроса — как же это так. Как это могло случиться, ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее! Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, а где теперь этот товарищ Ворошилов? Где лихой Будённый, шашки наголо, где Лебедев-Кумач, куда вообще всё подевалось? Куда делся германский пролетариат, который должен был грудью встать на защиту первого в мире... ах, о чём тут говорить, никакого германского пролетариата не было в помине, а были фрицы. Пламенный патриотизм подростка подвергся мучительному испытанию, — не то чтобы зашатался, но всё же... Как все вокруг, Марик жадно ловил известия об успехах, радио изо дня в день рассказывало о подвигах, враг нёс потери, непонятно было, как он может всё ещё сопротивляться, и вдруг как-то само собой оказалось, словно и не было новостью, что немцы давно уже взяли Киев, вдруг очутились в Харькове.

Вновь открытие поразило Марика: то, что происходило, оставалось тайной и, очевидно, стыдной тайной, иначе зачем её было скрывать? Хуже всего было то, что Марик перестал понимать Вождя, перестал понимать смысл великой максимы: Вождь говорит правду, даже если приходится говорить неправду. Не означало ли это, что Вождь говорит неправду, даже когда он говорит правду? Говорит ли он вообще правду? Давно прошла первая зима в эвакуации, новое лето клонилось к закату, и детской дребеденью казалось всё, чем он увлекался год тому назад, появились другие книжки, другие занятия, пришло новое знание, подобно знанию о чарующем эксперименте с отростком; но

что-то ушло вместе с умирающим детством, ушла вера. Что в этом странного? Живи он на этом свете подольше, он понял бы, что утрата веры в Вождя не зря была схожа с утратой веры в Бога, подозрительно напоминала атеистическое прозрение, каким его переживала юность прежних поколений. Это было не что иное, как утрата метафизической уверенности в том, что мир устроен разумно. Болезнь треснувшего зеркала. Да, ты стоял перед зеркалом, расколовшимся на много кусочков, которые, однако, еще держались в раме, — упаси Бог дотрагиваться до них. И тут уже дело шло о чем-то большем, чем о крушении политической веры; речь шла о Зеркале мира, которое шмякнул оземь безответственный тролль. Поколение, шедшее следом за Мариком, было обречено жить в мире осколков.

ФАРАОН

Губительную роль сыграла и дружба с Александром Моисеевичем. С тем самым — высоким, костлявым, с провалившимися щеками, который крикнул Марику, бросай свои бидоны, и своими длинными руками втащил его, как клещами, в вагон; с вечно озабоченным и вечно что-то теряющим, потерявшим и своего сына. Александр Моисеевич преподавал в школе иностранный язык, обитал с дочерью в комнате у хозяйки, на самом краю села, и встречал подростка, когда тот, взойдя по скрипучей лесенке в мезонин, стучался в дверь, приветствием на языке врага. Учитель сидел в расстёгнутой жилетке, в широких бесформенных штанах на подтяжках, заложив ногу за ногу, боком к столу, покрытому клеёнкой, пил коричневый морковный чай, излагал последнюю сводку от Советского информбюро. Keine Bewegung an allen Fronten¹. После чего разговор, лучше сказать, монолог учителя, продолжался по-русски. Александр Моисеевич жил до войны в Европе, по его словам, Берлин был самым благоустроенным городом. Германия — самая цивилизованная страна. Но этот народ охвачен безумием, он продан дьяволу, и ему готовится страшное возмездие, его ждёт судьба многочисленных народов и царств, которые были врагами евреев, а где теперь эти царства? Подобно войску фараона, он захлебнётся; подобно филистимлянам и амалекитянам, исчезнет с лица зем-

¹ На всех фронтах — затишье (нем.).

ли. Но... (воздев косматые брови, качая головой, на которой дыбом стояли серые волосы), но, если уж говорить правду, то, конечно, и *этом* не лучше. Два монстра схватились друг с другом.

«Да, но ведь ...» — лепетал подросток.

Учитель по-прежнему качал головой.

«А кстати, — спохватывался Александр Моисеевич, словно об этом ещё не было речи, — что нового на театре военных действий?»

Теперь Марик должен был повторить по-немецки последние известия. Учитель рассеянно кивал, поправляя произношение.

«Вот видите», — сказал подросток.

«Что я должен видеть?»

«Это сделаем мы».

«Кто это — мы?»

«Советский Союз, — сказал Марик, — победит фашистскую чуму».

«Kein Zweifel¹. Будем, по крайней мере, надеяться. Только неизвестно, что лучше. То есть, само собой разумеется, что с Гитлером надо покончить, иначе он покончит со всеми нами... Не только с евреями! — сказал Александр Моисеевич, подняв палец. — И все-таки неизвестно, кто из них опаснее... О-хо-хо...»

Он снова закинул ногу за ногу, сложил руки с переплетёнными пальцами, нижняя часть живота, несмотря на худобу, выступала, спина ещё больше согнулась.

«Неизвестно, что лучше, — повторил он, — и кто лучше... и мы ещё не знаем, кто воцарится в Европе, когда Гитлер будет разгромлен...»

«Произойдёт революция. После первой Мировой войны произошла революция в России, а после этой произойдёт в остальных странах».

«Ага. Вот как!» — заметил учитель.

«А почему же тогда, — возразил подросток запальчиво, это было продолжение предыдущих дискуссий, — прогрессивные силы всего мира...»

«Какие эти силы, позвольте спросить?»

¹ Без сомнения (*нем.*).

«Например, Ромен Роллан», — сказал мальчик, только что прочитавший «ЖанаКристофа», толстую книгу, в которой самое сильное впечатление произвела глава о знакомстве с Адой.

«Я такого не знаю», — отрезал учитель.

Полногрудая Ада сидела на дереве, когда мимо проходил Жан-Кристоф, и не знала, как слезть. Спрыгнула в объятия Кристофа, а дальше всё происходит как бы само собой, они приходят в деревенскую гостиницу, *опираясь на руку Кристофа, Ада потребовала комнату*. И... и... погас мерцающий свет в саду, погасло всё. Кровать, как лодка...

«Кровавый деспот. Выродок», — бормотал тощий человек, и мальчик спохватывался, понимал, о ком идёт речь, терялся, ужасался и восторгался.

ДИВЕРТИСМЕНТ. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Марик Пожарский был блондином, светловолосые молодые люди выглядят, к своему огорчению, ещё моложе. Двоюродный брат Марика по имени Владислав был брюнетом. Бритые щёки и подбородок были серо-лилового оттенка, и это придавало Владиславу мужественный вид, хотя он был лишь на год старше Марика. Владислав устроил концерт Вертинского. Концерт состоялся в Новом здании, под вечер, в пустой 66-й аудитории, той самой аудитории на втором этаже, где некогда вахтенный офицер с негнущейся ногой предстал перед приёмной комиссией. Зрители — их было трое — заняли места в первом ряду.

Вертинский явился, за неимением фрака, в длинном, слишком просторном пиджаке небесного цвета с неестественно широкими накладными плечами, с оранжевым бантом на шее и антикварной розой в петлице. Несмотря на свою мужественность и знание женщин, Владислав был небольшого роста и довольно хилого строения, мало напоминал прославленного артиста, который, по рассказам, был высок и статен. Но Владислав недаром учился в студии театра имени Вахтангова. Раздались жидкие хлопки; Владислав раскланялся. Он был одновременно и конферансье, и аккомпаниатором Брехесом, и самим маэстро, объявлял номера, бил растопыренными пальцами по воображаемой клавиатуре и по-собачьи поглядывал на исполнителя, и он же балансировал на цыпочках, с вытянутой

шеей, крутил чем-то перед грудью, вибрировал попкой и распевал тонюсеньким голоском: «Я маленькая балерина! Всегда мила, всегда нема!»

Затем сцена менялась, гасли огни и возгорались душистые светильники, Брочес самозабвенно брал аккорды, Владислав пел, молитвенно сложив руки, — пел завлекательным, полуночным, сладострастным баритоном, не спуская глаз с Иры:

Я безумно боюсь. Золотистого плена
Ваших медно-змеиных волос.
Я люблю ваше тонкое имя — Ирэна!
И следы ваших слёз!

А кончилось всё тем, что Владислав, возбуждённый произведённым эффектом, распустив рывком, истинно артистическим жестом свой оранжевый бант, с ходу пригласил Иру и Марика к себе на дачу, «выпьём, потанцуем, нет, я серьёзно», — говорил он, хотя казалось, что он всё ещё играет роль; Ира смеялась несколько преувеличенно, закидывая голову, словно киноартистка, не сказала на да, ни нет, Иванов сидел на краю первого ряда, мрачный, как туча, положив ногу на палку. Владислав удалился, помахал рукой, не оборачиваясь, должно быть, отправился на вечернюю репетицию, на свидание с какой-нибудь актрисулей; и стало обидно за свою убогую жизнь, рутину занятий, стыдно за школярское усердие; другая жизнь, лёгкая, беспорядочно-упоительная, была рядом, огни города, раскалённые вывески ресторанов, бессонные ночи, таинственные любовные похождения. На другой день вечером в сумерках, в седьмом часу явились на вокзал. Шёл густой мокрый снег, смеясь, отряхивались, на грязном полу стояли лужи, валялись окурки. Кругом теснился народ с мешками, кошелками, деревянными чемоданами, инвалиды на самодельных тележках с роликами, голос по радио каркал неразборчивые слова.

Наконец, явился Владислав, весь в снегу, в облезлом тулупчике, обмотанный башлыком, что придавало ему бабий вид, бормотал что-то и поглядывал по сторонам, Ира смотрела на него растерянно, да и сам Владислав как будто ждал, что они сейчас скажут: мы передумали.

Она сказала, что не поедет, пришла, чтобы не подводить, сказать, что сегодня не может. Да и поздно уже. Как это поздно,

встряхнулся Владислав, через полчаса будем на месте. Через полчаса поезд, битком набитый молчаливыми, угрюмыми людьми, всё ещё нёсся мимо тёмных заснеженных перелесков и слабо освещённых платформ. На какой-то станции сошло много народу. Становилось свободнее, по проходу между ногами сидящих, отталкиваясь деревяшками, ехали безногие на колёсиках, Владислав озабоченно поглядывал в окно, опустевший вагон гремел и шатался. Наконец, вылезли, было сыро, холодно, Ира в своих ботиках то и дело проваливалась в снег. Шли через поле под огромным сиреневым небом, навстречу слепым огонькам. Время от времени Владислав останавливался, похоже, плохо ориентировался. Оказалось, что дача не его, а дядина. Родители обретались где-то за границей, а дядя приезжал на дачу только летом.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

«А вот и мы!» — вскричал Владислав, распахнув дверь с террасы. С потолка свисала люстра, испускавшая жёлтый, точно керосиновый, свет, в комнате стоял тусклый туман, оттого ли, что было холодно, или из-за того, что закурили. Ира пыталась стянуть с ноги мокрый ботинок, кто-то выскочил из стола, картинно встал на колено и стащил ботинок вместе с туфлей. Ира шевелила пальцами в намокшем чулке. Опоздавшим был назначен штрафной кубок Большого Орла. Марик Пожарский храбро осушил гранёный стакан с чем-то омерзительным, «вó даёт», сказал кто-то. Марик оглядывал собрание блестящими сумасшедшими глазами. «Закусить, закусить», — раздались покровительственные голоса, чья-то рука посадила его, шлепнув по плечу, за стол, и Марик, который не ел с утра, вонзил зубы в бутерброд, густо намазанный — трудно поверить — красной икрой. Вообще пиршественный стол являл собой смесь нищеты и роскоши.

Владислав подхватил под руки двух девиц, исчез в соседней комнате, из открытой двери донёсся звук патефона. Марик перебирал присутствующих победоносно-осоловелым взглядом, искал Иру. Она сидела в пальто, накинутом на плечи, на другом конце стола, и двое каких-то наперебой угощали её, один с волнообразной, наподобие шестимесячной завивки, шевелюрой, тот, который подбежал снимать ботинок,

другой, плосколицый, страшный, редкозубый, с перебитым носом. Больше кавалеров, кажется, не было. Марик исполнился презрением, встал и нетвёрдым шагом вышел в другую комнату.

Там в полусвете помещался широкий продавленный диван, на столике у изголовья горела лампочка. Великий певец исполнил «В бананово-лимонном Сингапуре», но это был не Владислав, это был сам Вертинский. Впрочем, и патефон оказался не патефоном. В углу возле столика на полу сиял и лучился зелёный цветок из оргстекла. Перед ящиком, похожим на гробницу, сидела на корточках одна из девиц, подкручивала ручку завода и ставила пластинки. Пёстрое крепдешинное платье лежало на её коленках и обрисовало зад. Владислав танцевал.

Он раскачивался вместе с партнёршей, левой рукой прижав её к своей груди, к просторному, чуть не доходящему до колен лазоревому пиджаку с широкими ватными плечами, в котором прятался его тщедушный торс: с полузакрытыми глазами, отдавшись томным, раздражающе-сладострастным и бессильным звукам, уверенно правя далеко отставленной правой рукой, танцевал стильно, нагибаясь над падающей навзничь и снова выпрямляясь, и внезапным рывком вращая её вокруг глубоко внедрившейся в пах ноги. Граммофон исполнил, вслед за Сингапуром, «Я безумно боюсь золотистого плена», «Говорят, что назначена свадьба» и ещё несколько произведений в этом роде, появились другие танцующие, затем кто-то потушил лампу, свет проникал в комнату через полуоткрытую дверь из столовой. Умолкший раструб загадочно мерцал в полутьме. Гости полулежали на диване в обнимку, кто-то сидел на полу, слышались вздохи, смешки, должно было начаться самое главное.

Несколько времени спустя Владислав оказался рядом с Мариком, стол с остатками пира был отодвинут, это было уже в первой комнате, выходявшей на террасу, мистический свет струился по стенам, по лицам, граммофон ожил, неизвестно, что происходило в комнате за дверью, а здесь они оба смотрели на пышноволосого завитого отрока, который извивался, танцуя с Ирой. Она старалась поспеть за кавалером, следила за его ногами в щёгольских узконосых туфлях, танец происходил почти на одном месте. «Ба-альшой талант», — процедил Владислав. «Он

тоже в вашей студии?» — спросил, с трудом ворочая языком, Марик. В это время пышногривый, отогнувшись назад, выставив хилые бёдра, старался повалить Иру на себя, а она упиралась рукой ему в грудь.

«Ты как насчёт того-сего? — спросил Владислав. — Вон с той», — он показал кивком на высокую в крепдешиновом платье, стоявшую в дверях. Марик Пожарский подумал, что вот он сейчас подойдёт к этой дылде и отомстит Ире, и уже было двинулся вразвалочку, с развязной миной к рослой, выше его, девице, чтобы спросить, как полагается: «Вы танцуете?..» — но каким-то образом вместо неё оказался перед Ирой и её женственно-томным партнёром, оба тяжело дышали. «Ты, — сказал Марик, — ты вот что. Ты пойдй отдохни...» — «А я не устал», — возразил пышноволосяй. «Нам поговорить надо», — сказал Марик. Он попытался оттеснить Иру от партнёра.

«Э, э, э, что за шум. В чём дело?» — услышал он сзади барственный, гундосящий голос, обернулся и увидел тупорылого с продавленным носом. «А это вас не касается», — хотел сказать Марик, а может быть, сказал и вместо ответа получил удар в челюсть. Удар был вполсилы, Марик схватился за щеку. «Вы что это, — воскликнула Ира, — вы что делаете!» — «А ну вали отсюда, — сказал тупорылый, в упор глядя на Марика. — Кто его привёл, ты?» — спросил он и повернул голову к Владиславу. Тот пожал плечами, замотал головой. «Значит, сам притащился», — констатировал тупорылый. В эту минуту кто-то показался на террасе. Новый гость вошёл в комнату. Вошёл, опираясь на палку, Юрий Иванов, снег лежал на плечах и обшлагах его перешитой шинели и на меховой шапке. Он снял и отряхнул шапку, снял запотевшее пенсне, снова нацепил и двинулся к тупорылому. «Ну-ка, подвинься», — сказал он. «А ты кто такой», — лениво спросил с перебитым носом. «Подвинься, говорю», — проскрипел Иванов.

«Это кто же это к нам пришёл, бабоньки!» — радостно пропел-прогундосил редкозубый, внушительно прочистил голос, дернулся, словно его ударило током, развернулся — Иванов поднял ладонь, чтобы защититься, тупорылый толкнул его кулаком под дых. Иванов, потеряв равновесие, полетел навзничь, его подхватили, девочки завизжали, раздался голоса: «Инвалида бить, это уж нечестно...» — «А пуцай не лезет». Пуцай — было сказано, вероятно, для шика.

«Так», — сказал Иванов, тяжело поднимаясь и укрепляя пенсне на носу. Палка лежала на полу. Иванов опирался о край стола. Все увидели, что он пьян. Тупорылый смотрел на него, ослабившись. «Та-ак, — медленно повторил Иванов. — Ну-к, подойди». — «Что, ещё захотел? — спросил тупорылый. — Воин хуев», — добавил он. Иванов, не оборачиваясь, схватил что-то со стола, размахнулся и швырнул бутылку в гундосого. Девы бросились к нему, тупорылый стоял, пошатываясь, посреди комнаты и, по-видимому, плохо соображал, что произошло. Кровь и водка текли у него со лба. Граммофон пел из соседней комнаты кислосладким голосом Клавдии Шульженко: «Говорят, что назначена свадьба. С капитаном бригаантины Родрыгой».

ПРИНЦИП КРАЕУГОЛЬНОЙ БЕЗЗАБОТНОСТИ

В эти годы писатель, которому суждено было перед смертью изведать всемирную славу, сидя на своей даче в посёлке для государственных писателей, в тепле и тишине, сочинял роман об эпохе высшей и краеугольной беззаботности. Так называл он чувство, присущее людям той эпохи¹.

Это была допотопная эпоха. Ещё были живы те, кто о ней помнил. Потоп смыл всё. Беззаботность осталась.

Беззаботность как принцип жизни, как опора существования вновь доказала свою почти сверхъестественную живучесть. Она заменила умершую религию. Беззаботность, другое имя которой — фатализм, приняла безотчётный, нерассуждающий, простой житейский вид. Ни революция, ни война не смогли истребить абсурдную и спасительную уверенность в том, что всё образуется. Все утрясётся. Не завтра, так послезавтра, не через год, так когда-нибудь. Подождём, потерпим. Где наша не пропадала! Ничего нет, и достать негде, но что-нибудь да найдётся. Нет продуктов, зато есть карточки. Истрепалась одежда, однако носить можно. По-прежнему влюблённые находят друг друга, хотя негде уединиться. Каким-то образом рождаются дети. Ходят трамваи, народ гроздьями висит на подножках, как-нибудь найдём место поставить ногу, местечко на поручне, чтобы уцепиться. Как-нибудь доедем. Тряхнёт на повороте, так что шапка

¹ «Доктор Живаго», I, 7.

слетит с головы; кто-нибудь поднимет, подбежит и протянет. Ублюдок с лицом, по которому словно проехали на студебекере, собьёт тебя с ног — ты поднимешься. И мы ещё поглядим, кто кого.

Играет музыка, толпы движутся по тротуарам. В двусветном коктейль-холле на улице Горького, шикарно именуемом «кок», тонюсенькая рюмочка, «Полярный со сливками», стоит столько, сколько не заработаешь за год, а всё же от посетителей нет отбоя, и к вечеру выстраивается очередь на тротуаре. Девчонки в юбочках, в фильдеперсовых чулочках прогуливаются от Охотного ряда до Телеграфа и назад, топчутся перед гостиницей «Метрополь», поглядывая, не показалась ли милицейская фуражка. Играет музыка. Ничего нет, карточки не отовариваются, но все можно достать по блату. Конечно, за исключением того, чего достать невозможно. Но и того, чего не достанешь, можно добыть, если уметь; всё можно. Можно купить коверкотовый костюм на Тишинском рынке, принести домой, развернуть и увидеть вместо костюма обрезки, тряпье. Можно продать часы, которые не ходят и никогда не ходили, и купить такие же. Можно стащить на задворках старый ящик, найти местечко на том же Тишинском рынке, вошедшем в историю и фольклор, разложить макулатуру; потрясая истрёпанной книжкой, зорать во всю мочь: «А вот История маленького лорда Фаунтлероя!» Можно договориться, и тебе достанут диплом, ордена, гвардейский значок, удостоверение инвалида Отечественной войны и аттестат об окончании средней школы. Можно кататься на метро бесплатно, давиться в толпе перед контролёрами, приблизиться к одной, руку с билетиком тянуть к другой, шагнуть на ступеньку эскалатора — и поехали. А билет за 15 копеек ненадорванный в кармане.

Можно пристроиться к похоронной процессии. Постоять, обнажив голову, скромно сесть в автобус вместе с роднёй, сослуживцами, однополчанами или кто они там, перекинуться словечком, дескать, замечательный был человек, вместе в школу ходили. Войти в квартиру, а там поминальный стол, и отлично покушать.

Можно выстоять часовую очередь перед кинотеатром «Художественный» на Арбате, остаться с носом перед захлопнувшимся окошком кассы и купить с рук за углом, в последнюю минуту билеты на эпохальный фильм «Клятва».

УХОДЯ ОТ НАС. ПОЛОТНЯНЫЙ ЭПОС

Гаснет свет. В последнюю минуту зрители всё ещё ёрзают, устраиваясь удобней на жёстких стульях. И вот это начинается...

На необъятных просторах, в волжских степях, висит на стене фотография: хозяин избы Степан Петров вместе с Вождем, во время славной обороны Царицына. Отгремела гражданская война. Семья за праздничным столом. Что ждет их в Новом, 1924 году? Кулаки поднимают голову. Холодеющей рукой, смертельно раненный из кулацкого обреза, Степан вручает жене Варваре письмо — передать Ленину. И вот Варвара Петрова в Москве. Красноармеец с заиндевевшим штыком у ворот Кремля объясняет, что Ленина нет, он в Горках. Вместе с Варварой шагают по снежной аллее кавказский пастух Рузаев, узбекский хлопкороб Юсуф и украинский батрак Семён. Как вдруг — траурный плакат над колоннами фасада, Ленин отдал концы. Из подъезда выходят руководители партии. Но сперва появляются Каменев и Бухарин. Как-то сразу становится ясно, что это Бухарин и Зиновьев. Или Каменев — что одно и то же. Враги народа; это сразу видно по их физиономиям. Тем более что они уже и не маскируются. Думают, что настал их час.

В сущности, с ними было всё ясно уже тогда, оставалось только разоблачить и поставить их к позорному столбу, зачем же понадобилось столько лет, чтобы, наконец, с ними разделаться. Ведь это и есть главная задача, суть всей борьбы, вывести на чистую воду двурушников, агентов иностранного капитала, злейших врагов партии; революцию совершить — пустяк по сравнению с этой задачей. Но это сейчас нам понятно, а тогда обстановка была сложной. Кто там следующий вышел из подъезда? Выходят истинные ленинцы. Их легко узнать по портретам: Молотов, Дзержинский, Орджоникидзе, Буденный. Их озабоченные лица выражают тревогу. И не зря: враги готовят атаку на Сталина. А вот...

Вот! Пол под ногами ходит ходуном, качается люстра, зал сотрясается от аплодисментов, счастливый вопль: «Да здравствует товарищ...!» Зрители повскакали с мест, пришлось даже остановить проекционный аппарат. Луч повис над головами, воцаряется тишина. Все уселись. На экране он сам. Одинокий, поникший, неподвижный, в меховой шапке с опущенными ушами, а поодаль скамейка. Разрешается ли останавливать фильм по-

среди сеанса? Должно быть, это согласовано. Выдающийся артист нашего времени Геловани в роли товарища Сталина, а может быть, настоящий товарищ Сталин — так здорово он похож — играет самого себя, то есть Геловани. Все сидят, прикованные к стульям, все глаза устремлены на экран. Слабый шелест проектора, и Вождь оживает. Геловани продолжает свой путь. «Звук, звук!» — кричат в зале. Стучат ногами — тысячекопытный гром. В страхе, в панике киномеханик что-то нажимает, несутся кадры, вперед, назад, и, наконец, врывается музыка, Чайковский, Патетическая симфония. Геловани бредет к скамейке, на которой совсем еще недавно сидели вдвоем с Ильичом. Медленно поднимает голову, смотрит направо, куда же ушли верные ленинцы? Там, на снегу, на коленях стоит Варвара. Глубоко символический кадр: Родина-мать и её верный сын. Но пора возвращаться во дворец. В кабинете Ленина Вождь уселся за письменный стол. Под портретом Маркса, это тоже не случайно. Вообще здесь случайному, произвольному не место. Перед его взором проплывают картины прошлого, образ Ленина встает в его памяти.

Почему нет некролога? Глупый вопрос задает недалекий американский журналист Роджерс, он как раз подвернулся под руку на Красной площади. И не будет, отвечает Вождь. Ибо Ленин никогда не умрет. Но, конечно, и не оживет, — да и зачем? Он был бы здесь лишним. Никому нельзя доверять наследие Ленина, добавляет Геловани, оглядывая прищуренным взором Бухарина и Каменева, или Зиновьева, впрочем, это все равно. И восходит на трибуну. Позади него видна кремлевская стена и Спасская башня, и не догадаешься, что это макет. Медленно бьют куранты. Виден собор Василия Блаженного, его спустили на канатах на съёмочную площадку. Замечательная художественная находка режиссера Чиаурели. Именно так: не в Колонном зале, а на Красной площади, вместе с народом, на фоне древнего Кремля. *Уходя от нас, товарищ Ленин...* и народ за ним повторяет хором великую клятву. Тут и кавказский пастух Рузаев, и узбекский хлопкороб Юсуф, и украинский батрак Семён. Вдруг толпа расступается. Варвара, высоко подняв письмо, несет Вождю. Все в зале видят надпись на конверте: «Ленину».

Что-то там происходит, поет хор, на площадь въезжает молодой тракторист, как вдруг трактор портится. Как в той самой, русской народной легенде о мужике, который застрял в грязи

со своим возом, а тут как раз проходили мимо Иус со святителями. Что ж, сказал Иус, надо пособить. Никола засучил портки, полез в грязь, а Касьян стоит, не хочет пачкаться. Так и Вождь очень кстати оказался с соратниками — Молотовым, Ворошиловым и Калининым. Что же, говорит, надо помочь, и сразу установил причину поломки трактора. Оказывается, необходимо сменить в моторе свечи. Исключительно правдивая и вместе с тем глубоко символическая сцена. Разговорились. Батрак Семен или пастух Рузаев — кто-то из них — пожаловался Вождю на кулаков. (Видимо, они и подстроили аварию трактора.) Вождь посоветовал кавказскому пастуху бороться с кулаками. Тут вступил в разговор узбекский хлебороб Юсуф. Геловани подсказал ему, что необходимо прорыть оросительные каналы, чтобы поднять урожайность хлопковых полей. И как на зло в их беседу встревает все еще не разоблаченный Бухарин: лучше, говорит, будем покупать машины за границей. До каких же пор, мать твою так и сяк, думает Геловани, можно терпеть это предательство. Нет, отмечает он измышления Бухарина, не надо покупать машины за границей, идти на поклон к капиталистам, а необходимо самим развивать тяжелую промышленность.

Так и произошло. Успешно выполнен и перевыполнен пятилетний план по производству стали, чугуна и проката. Все встречаются в Кремле на большом народном празднике: тут и кавказский пастух Рузаев, и русский рабочий Ермилов, и, в общем, все. Артист Геловани приглашает всех в Георгиевский — или какой там — зал, в Георгиевском зале пляшут казачок, кавказский пастух Рузаев выдал лезгинку, а разбитной парень Иван подкатился к Вождю спросить разрешения оторвать нашу русскую, как когда-то во время обороны Царицына. Дело в том, что этот Иван — не кто иной, как сын Степана Петрова. Вождь, конечно, разрешил, Иван Ермилов, или Петров, это не важно, отчебучил барыню, Ворошилов растянул гармонь, а Буденный пошел вприсядку. А Геловани, с трубкой в зубах, улыбаясь, прихлопывал в ладоши. В этом проявился особый художественный такт создателей фильма — режиссера Чиаурели и автора сценария писателя Павленко, чувство меры, чутье художника подсказало им, что не следует заставлять Вождя плясать вместе с другими. Он, конечно, мог бы, и еще как, но будет лучше, художественно убедительней, больше будет соответствовать историческим фактам, если Вождь будет просто хлопать в ладоши. Так веселились, пировали, а между тем время было сложное.

Замечательная актриса Гиацинтова, она играет рабочекрестьянскую мать Варвару или Варвара играет роль Гиацинтовой, это все равно, озабоченная, покидает праздничный зал. Ее не оставляют тревожные мысли. И вот она сидит где-то в закутке, кутается в оренбургский пуховый платок. Геловани входит и садится тут же. Это одна из самых важных, ключевых сцен. Она производит глубокое впечатление. Варвара спрашивает Вождя: будет ли война? Да, говорит он, и все в зале понимают, что каждое слово Вождя взвешено и продумано. Эту сцену товарищ Сталин сыграл с изумительным мастерством. Да, войны не миновать. И Варвара ему отвечает: что ж, нашему поколению не привыкать преодолевать трудности. Так они разговаривают, сидя вдвоем, Варвара и Вождь, отец и дочь. И то же время как бы муж с женой. И, само собой, мать и сын. Етить твою мать! Мировая кинематография ещё не знала произведений такой художественной глубины, такого исторического размаха.

Гитлер, живая карикатура, надрывается, бьет себя в грудь. Наша делегация в Париже, по указанию Вождя хочет начать переговоры, создать фронт миролюбивых народов. Но у французского и английского министров своё на уме, они ведут двойную игру и хотят столкнуть лбами Гитлера и Советский Союз. Бонне, сучий потрох, отплясывает в ночном притоне, типичный французский разврат, а Чемберлен юлит и лицемерит, что характерно для англичан. Вождь всё это предвидел. Под музыку Шостаковича тевтонская рать идет на Москву. Американский журналист Роджерс, тот самый, который спрашивал, почему не было некролога, советует Вождю мотать из столицы, пока не поздно. Нет, отвечает Геловани, Москва сда-на не будет. Так и произошло, и пошли потом победа за победой. Здесь создатели фильма следуют выводам военно-исторической науки: удар — победа, следующий удар — следующая победа, восемь знаменитых сталинских ударов, в который раз всё совершилось по предвиденью и по планам Геловани. Ясно, что и в дальнейшем всё пойдет как по маслу, завершится новой встречей русской матери Варвары с Вождем, тут уже не съёмочная площадка — Вождь произносит речь в настоящем Кремле, великая клятва выполнена, конец. Брызжет тусклый свет с потолка, люстра горит вполнакала. Все сидят, как пришибленные, обалдев от величия времен и собы-

тий, от гроыхающей музыки и спертого воздуха в зале. Стучат откидные сиденья, толпа валит к выходу. Тускло светится после дождя пустынная площадь, еще не рассеченная полуподземной трассой в те баснословные времена.

ПРОВОЖАНИЕ И ОБМЕН МНЕНИЯМИ

А чем тут, собственно, обмениваться. В молчании обогнули каменный шатёр станции метро «Арбатская».

Марик Пожарский заметил, что здорово все-таки показана Сталинградская битва.

Иванов: «Угу».

Ещё прошли шагов двадцать.

«Здорово он танцевал с любовницей».

«Кто?»

«Ну, этот».

«Угу».

Марик: «Это что, танго?»

Ира подтверждает, что это было танго. Вот так же точно двоюродный брат танцевал на даче. Но о даче не хочется вспоминать, и Марик ограничился замечанием, что Владислав мог бы сыграть не хуже Вертинского.

«Это не Вертинский. Это документальные кадры».

Темно-синее небо дышит спокойствием, никто не попадается навстречу. Троица побрела к устью улицы Фрунзе, повернули направо, пересекли поблескивающий трамвайный путь. Ира с Мариком впереди, за ними, сгорбившись, опираясь на палку, поспешает Юра Иванов. Постукивает его посох, мерцают стеклышки, но во время сеанса он сидел без пенсне.

Окруженный желтыми фонарями, в кресле на своем цоколе, завернувшись в крылатку, сидит удрученный Гоголь. Надо ли что-нибудь говорить? Фильм, словно грохочущий эшелон, переехал зрителей и понесся дальше. Назвать его увлекательным, интересным? Не те слова. Грандиозный фильм провернул, как мясорубка, сквозь себя всех и каждого — и выдавил фарш.

«А Буденный вприсядку».

«Это не Буденный».

«А кто же. Не узнал усищи, что ли».

«Буденный уже не маршал».

«Как это не маршал?» — удивился Марик.

«Обосрался во время войны». Иванов покосился на Иру, ещё не было принято выражаться при барышнях.

«Самые длинные усы в Советском Союзе».

«Откуда это известно?»

«Я читал».

«Унтер-офицерские. Он был унтер-офицером до революции. Бывают длинней».

Разве не о чем больше говорить? Надо ли говорить... О чём? Все было ясно. Ничто не происходило случайно, не рождалось само собой, все выполняло высшую задачу, великолепный фильм. Торжество исторической необходимости. И, может быть, поэтому в нём было скрыто нечто мистическое. Фильм, где не было ни одного невыдуманного кадра, ни одной естественной сцены и ни одного слова правды, таил в себе истину по ту сторону правды и лжи. Это была история, превратившаяся в мистику. Это был мрамор, похожий на картон. Видимо, Марик Пожарский в своих коротковатых брючках просто не понимал этого, не чувствовал, для него это был картон, раскрашенный под мрамор.

Грошовый скепсис. Нигилизм недорослей. Между тем задача, и смысл, и роскошь всего произведения состояли в том, чтобы заново сотворить мир — не более и не менее.

Надо было отменить незаконное, сомнительное, двусмысленное, хаотически беспорядочное прошлое — прошлое, в котором чёрт ногу сломит, — и установить прошлое, стройное, как геометрический чертёж. Надо было учредить новую, грандиозную, феерическую Историю с большой буквы. *Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!* Нет, быль сделать сказкой. Это была новая мифология, почище шумерской; действие, которое разыгрывали, сменяя друг друга, зловредные и благие божества, а где-то в низинах, куда стекали помои, обыкновенные люди старались им подражать. Божественный отблеск должен был играть на их лицах. Существуют ли боги на самом деле, существовал ли Вождь? Праздный вопрос. Что значит «на самом деле», — ведь это совсем не то, что На Самом Деле. На экране улыбалось, говорило, разглаживало усы и расхаживало в сапогах его земное воспроизведение. Все знали, что это актёр. Но актёр поразительно был похож на Вождя, потому что никто не знал, каков был Вождь «на самом деле». Актёр был как две капли воды похож на портрет Вождя. Устами актёра вещала мудрость Вождя,

глазами, прищуренными, как у Вождя, взирало на зрителей провидящее око. Он появлялся, он шествовал, как если бы это был он сам; это и был Он Сам. Вот он идет по снежной тропинке, одинокий, погруженный в раздумье, в меховой шапке с опущенными ушами, не сразу можно его узнать, поскрипывают по снегу валенки. Но уже осенила догадка. Излучение коснулось сидящих в зале. Искусственное, инсценированное излучение, в меру возможностей искусства. Но только искусство, это тоже все понимают, способно изобразить Вождя, ибо тот, кто существует на самом деле, все равно что не существует. Никто его никогда не видел. Только в кино.

«Китаец, вот он кто».

Юра Иванов, холодно: «Не понял. Будённый, что ли?»

«Да какой Будённый...»

Ира: «Перестань. Чтобы этих разговоров в моем присутствии...»

«Все они китайцы, бывает такой дальневосточный идиотизм».

«Я сейчас уйду от вас».

Но есть во всём этом и другая сторона, существует высокая политика и трезвая целесообразность, и сопляк Пожарский не имеет о них ни малейшего представления. Проходит наваждение, бледнеет фантазмагория, пока они бредут с Гоголевского бульвара на Арбат, — и Марика Пожарского так и подмывает спросить: а как же он сам? — Кто — сам? — Ус! Смотрит на все это где-нибудь там и терпит эту беспардонную лесть? В книжке Фейхтвангера говорится: Вождь пожал плечами и сказал, что же я могу поделать.

А, между прочим, интересно, как это Марик умудрился прочесть «Москву, 1937 год», книга была изъята. А вот так: в эвакуации, в сельской библиотеке. Преспокойно стояла на полке. Зачем нужны сто тысяч портретов человека с усами, спросил Фейхтвангер. Вождь ответил: что я могу поделать, раз меня так любят. Как — что? Прекратить, сказать: хватит! Но лесть ему нравится. Он ее поощряет! Сколько ни вывешивают портретов, ни воздвигают статуй, ему все мало.

Этот дурак не понимает...

«Кто дурак, я?» — Иванов, холодно: «Кто же еще. Ну и что там дальше сказано?»

«Он говорит: я не могу им приказать».

«Не может приказать. В том-то и дело!»

В том-то и дело, что монументы воздвигаются ему — и не ему. Мудрый Геловани — это он и не он. Потому что одно дело человек в Кремле и совсем другое тот, кто на портретах; потому что надо, необходимо, чтобы существовал хозяин, без него все повалится. Без него наступит хаос. Ради этого, хочешь не хочешь, согласишься на любую лесть. Какое там приказать — он вынужден отделиться от самого себя, не зря он себя называет в третьем лице. Люди шли в бой с его именем... Примерно так хочет, по-видимому, возразить Иванов, урезонить этого сопляка. Но сегодня Юра двигается через силу, сгорбленный, тащит пудовую ногу. Путь не близкий.

Пора расходиться, но Марик Пожарский выражает желание проводить Иру до дому. Иванов хмуро плетется рядом. В этот момент чувствуется, что он лишний. В этот решающий момент Марик, разгоряченный спором, полночным часом, призрачными огнями, мог бы вымолвить, наконец, что-то, что навечно отпечаталось бы в сердце Иры Игумновой. Пустые темные витрины на узком и безлюдном Арбате, влево уходит кривоватый Большой Афанасьевский переулок, трое топчутся перед крыльцом, над которым светится номер, и, как всегда, не знают что сказать друг другу.

О ЧЁМ ГОРЮЕТ ГОГОЛЬ

О чём — сгорбленный, в кресле, кутаясь в крылатку? О сожжённом Втором томе? О своей России в бесконечной дали дорог, засыпанных снегом, залитых осенней грязью, о страшном городе нищеты и разбоя, о том, что скоро стащут с постамента — уже принято решение — и повезут на Никитский бульвар, во двор постылого талызинского дома, где так мучительно страшно пришлось умирать, — а здесь, на его законном месте водрузят другого Гоголя, самозванца, которого он знать не знает, слыхом о нём не слыхал?

Русь, дай ответ. Не даёт ответа.

Ночь, тусклый блеск фонарей, и на скамейке фигура одинокого пешехода, присевшего отдохнуть. Что-то происходило наверху, человек-памятник с птичьим носом перевёл затрав-

ленный взгляд с Юрия Иванова на кого-то там: они приблизились, сначала двое. Потом их стало трое. Поодаль на *атасе* ещё один.

Он поднял голову. Над ним стоял квадратный, тупорылый, раздавленным носом.

«Кого я вижу! — прогундосил. — Здорóво, землячок».

Иванов окинул компанию сумрачным взором.

«Чего молчишь-то? А может, это не он?»

«Он», — сказал кто-то сзади.

«Здорово, говорю. Не узнаёшь?»

«Узнаю. Чего надо?»

«Чего надо... А? — удивился с перебитым носом и взглянул на своих. — Он спрашивает».

«Вот что, отцы, — сказал Иванов устало. — Отчаливайте. Я за себя не отвечаю».

«Чего-чего?»

«Валите отсюда. По-хорошему».

«Между прочим, должок за тобой. Бухой был, забыл?»

«Не забыл».

Иванов стал подниматься.

«Куда? — спросил гундосый. — Мы ещё не поговорили».

Иванов усмехнулся.

«Ну-ка, Манюня...»

Он не успел встать, как получил удар крюком под скулу, пенсне слетело на землю.

«Проси прощения, гад!»

Иванов отступал, косясь по сторонам, медленно занёс палку.

«Полегче. Знаем, какой ты храбрый».

Манюня врезал ещё раз. Кто-то, изловчась, вырвал палку у Иванова. Тупорылый с размаху треснул по спинке садовой скамьи, трость разлетелась пополам.

Он занёс ногу над стёклышками.

«Подыми, сука, гад недорезанный».

Иванов озирался — может быть, искал на земле что-нибудь тяжёлое.

«Подыми, говорят... Раздавлю на х...!»

Тут раздался свист, и компания исчезла. Чьи-то сапоги скрипели по песку. Человек шёл по аллее, остановился, увидев полулежащего на скамейке, покачал головой и пошёл дальше.

В полутьме Юрий Иванов прижимал к губам и носу окровавленный платок, обломки пенсне блестели на песке. Он решил посидеть ещё немного. Тупо, тяжело проворачивались мысли, плескалась вода, его качало, он стоял, держа перед глазами тяжёлый морской бинокль.

Огоньки во мраке, один, другой, ещё несколько, и пропали. Он снова сидел на скамейке перед каменным Гоголем, но на самом деле склонился над переговорной трубой: объект впереди по носу.

Иванов громко, длинно выругался.

МАРИК ПОЖАРСКИЙ РЕШИЛСЯ НА ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК

Видение девушки в красном платье вновь посетило Марика Пожарского и тотчас померкло: тут было другое; тут вступила, можно сказать, в свои права литература. Ибо писание волнительней того, о чём пишут. Писание — это заменитель того, о чём пишут. Не зря в таких случаях употребляется двусмысленный глагол «излиться».

Наше существо тянется навстречу той, которая излучает магнитное поле, но истинная причина любви — в нас самих; причина — наше ожидание, потребность испытать воздействие поля, жажда любви. Такая любовь оказывается чрезвычайно хрупкой, и если она не осуществилась, благодарите судьбу; надежда прекрасна до тех пор, пока остаётся надеждой; чего доброго, и тоска, и восторг, и обожание испарились бы на другой день после того, как робкий обожатель сподобился бы, наконец, овладеть Ирой. Остался бы привкус чего-то, на что совсем не рассчитывали, осталось бы бедное женское тело; а пока...

Я к Вам пишу — чего же боле... В стихах? Гениальная идея. Однако по зрелом размышлении этот проект был отвергнут. Тут нужна была проза, серьёзная, в меру страстная, проникновенная, и вообще ему было сейчас не до рифм. В конце концов она и прежде наверняка догадалась, что его стихи были адресованы более или менее ей.

Наступило время прямой речи.

Здравствуй, Ира. Или нет, прощай. Ира! Я давно собирался...

Он сидел в том самом «русском кабинете», из которого вышел однажды во время перерыва, — как давно это было, — и увидел её, она стояла у балюстрады, кто-то шёл вниз по лестнице, и она привстала на цыпочки, отчего платье приподнялось на её бёдрах, и открылись обтянутые чулками подколенные ямки; он сидел за столиком у стены, под уютной лампой, никому не мешая, а в углу напротив, на стульях и на диване располагалась группа русского отделения. Что-то бубнил вдохновенный доцент. Марик Пожарский вперил взгляд в бумажный лист. Перо, предоставленное самому себе, чертило что-то, выводило причудливые знаки.

Как известно, решающим шагом в расшифровке экзотических письмён была догадка, что мы имеем дело с письмом, а не с орнаментом. Что это, от кого это, скажет она, получив письмо по почте без обратного адреса.

Ира! Я давно уже собирался...

И вдруг — неизвестный алфавит, шифр.

Буквы нельзя придумывать как попало, буквы должны быть выдержаны в одном стиле. Нужно взять за основу графический архетип: круг, квадрат, угол. Буквы круглые, тонкие, похожие на кружева, как буквы грузинского алфавита, или свисающие с перекладины, как письмена санскрита, или извивы и локоны готического шрифта, или копыя и наконечники стрел рунического письма. Это был какой-то зуд, болезнь — изобретать письменность, выводить загадочные узоры и гадать, что они означают, как будто знаки существуют прежде всякого содержания, сами порождают неведомый смысл, и началась эта болезнь ещё в детстве.

Конечно, это лишь способ оттянуть неизбежное. Решение принято. Он порвал бумагу и оглядывался, куда бы выбросить. Положил перед собой чистый лист, умокнул перо. Теперь кто-то на диване зачитывал реферат.

...стало вехой в послевоенной советской поэзии. Такие стихотворения, как «Стеной стоит пшеница золотая», как ставшее уже классическим «Слово к товарищу Сталину». Семинар по Исаковскому. Дураки!

Ира! Я давно хотел сказать тебе.

Его рука снова чертит завитки. Увлекательное занятие. Задача — обойтись минимальным набором простых элементов, создать из них всё возможное разнообразие знаков. Секрет

письменности, между прочим, в том, что не всякий знак обязательно что-то значит! Бывают нулевые знаки. Вот эта буква, например, означает просто паузу. Знак может выражать настроение пишущего. Знак предупреждает: речь пойдёт о тайном, неизречённом.

Сколько можно? Сколько можно бубнить о поэтическом мастерстве стихоплёта, который даже не заслуживает того, чтобы его читать. Сколько можно мараить бумагу дурацкими закорючками, вместо того чтобы... Нога осторожно придвигает мусорную корзину. Марик занят рисованием. Портрет Исаковского, весьма реалистический, на тоненьких ножках, в лаптях и с лирой. Нет, пожалуй, с гармонью.

Снова замерло всё до рассвета.
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
Только слышно на улице где-то
Одинокая бродит...

Туда ему и дорога. Казнённый крест-накрест, скомканный стихотворец летит в корзину. Художник воровато поднимает глаза: теперь перо рисует её. Нет, конечно, не конкретную её. Вечный сюжет искусства: Марик рисует Женщину. Круглое лицо и локоны наподобие ионической капители. Шея и плечи. Некоторую трудность представляют растопыренные руки, которые получились слишком короткими. Зато какие груди! Талия... широченные бёдра. Пах, похожий на нос корабля, на расщеплённое перо.

Его отвлекает движение в углу комнаты, доцент встал с дивана, задвигались стулья: перерыв. В панике Марик Пожарский комкает похабный рисунок, выгребает бумагу из корзины, прочь, прочь отсюда.

ТОЛЬКО СЛЫШНО НА УЛИЦЕ ГДЕ-ТО

Всё происходит в одно и то же время. Все живут в одной стране. Каждого обнимает общая жизнь. Поздно вечером в толпе, на перроне Казанского вокзала стоит человек тщедушного сложения, в валенках и полушубке, в мохнатой шапке-ушанке — реликт бывшего благополучия. Пассажир втиснулся со своим багажом в вагон. Всю ночь и весь следующий день он качался,

сперва притулившись в проходе, затем лёжа на освободившейся верхней полке, следовал маршрутом демобилизованных и заключённых, всех, куда-то и зачем-то едущих, для кого тряска в переполненных поездах, шапка под головой, чтобы не стащили, стук колес на стыках, как стук огромных часов под ухом, остановки, пересадки, блуждания по путям, ночёвки на вокзалах превратились в образ жизни. Удивительным образом после неслётных потерь страна по-прежнему была битком набита людьми. На рассвете третьего дня пассажир выглянул в окошко и увидел заснеженные леса, услышал свистки, почувствовал, что его тащит к изголовью, поезд шел по дуге, видна была загибающаяся цепь вагонов, поезд затормозил, завизжали колёса. Медленно поехали навстречу и остановились тусклые огни. Гром прокатился по вагонам. И — снова свисток, вагон вздрогнул. Поезд нёсся вперед сквозь сизую мглу, путешественник дремал на полке, провиант был съеден, день померк. В сумерках он стоял с вещами в тамбуре, боясь пропустить свою станцию.

Было уже совсем темно, когда он добрёл до калитки, взошёл на крыльцо и, удостоверившись, что это тот номер, который нужен, оглядевшись, постучал в дверь. Чье-то лицо вглядывалось во тьму, отогнув занавеску, между горшков с цветами. Он миновал тёмные сени и вступил в просторную горницу, где пахло кислым теплом и уютom, на столе сияла керосиновая лампа, на комодe будильник отстукивал неподвижное время. Пока там, за тысячу вёрст, под гнусаво-торжественный перезвон выстраивались в караул могучие стрелки, гудел колокол, бился над куполом чёрный с кровавым отливом флаг, пока сменяли друг друга сутки, месяцы, годы, — здесь тянулся один единственный год, здесь время ползло так же медленно, как ползёт стрелка будильника. И встретили его так, словно он отлучался ненадолго.

Былинкин сидел без шапки и полушубка, босой, шевелил грязными пальцами ног. Вошёл, припадая на ногу, хозяин в зелёном поношенном кителе без погон, с бутылками в обеих руках... «Может, они сперва желают попариться? — спросила хозяйка. — С дороги-то небось». Сегодня как раз истопили, объяснила она. «А не поздно ли?» — «Чего поздно. Воды ещё полкотла». Гость сообразил — в дороге всё спуталось, — что сегодня суббота. «Веничком бы, оно для здоровья полезно. А может, и того», — прибавила она. Военрук подмигнул: «Это мы устроим».

Былинкин шествует под предводительством хромого военрука, покорно бредёт по улице спящего городка, хозяйка несёт таз, веник и узелок с чистым бельём. Слепо отсвечивают мёртвые окна, высоко над углистыми крышами сияет оловянная луна. Покойное, безопасное захолустье, не надо ни о чём хлопотать. Отсюда глядя, какая эта была изматывающая жизнь. В конце концов ему дали хороший совет — убраться подобру-поздорову. На время, добавил кто-то. Что ж, переждём.

Гость остался один в предбаннике, в исподней рубахе и кальсонах. Оцепенелый, он не может заставить себя встать. Лампа под колпаком разбрызгивает тусклый свет, сыро, тепло, пахнет деревом, тянет гнильцой. Приезжий вздохнул. С усилием стянул с себя пропотевшее бельё, переступил, наклонив голову, через порог парной. Былинкин научился париться в эвакуации. Он вскарабкался на полók — отдохнуть, погреться, подумать о своей жизни. Он устал от этой жизни, как устают от долгой дороги. Ему показалось, что он всё ещё едет, раскачивается на полке и слушает перестук колёс. Он открыл глаза. Что-то скрипнуло в предбаннике, захлопнулась дверь. Кто-то вошёл. Он хотел спросить — кто там? — ждал, расставив тощие коленки, упёршись в полók ладонями. Тишина; видимо, заглянули и вышли. В эту минуту кто-то толкнулся в тяжёлую забухшую дверь, и призрак в белом, с огромными, блестящими в полутьме глазами вступил в парную.

HAPPY END

Былинкин никому не писал, не предупреждал о своём приезде. Он поразился даже не тому, что она явилась, а какой она стала. Голоногая, лунноликая, с крепкой шеей, с полными белыми плечами, в короткой ночной сорочке с кружавчиками. Волосы сзади пучком. Она притворила за собой дверь, стояла в нерешительности. «Ты?» — спросил он растерянно.

Вот оно что, думал он, всё подстроено, и уже не выбраться отсюда. Он знал, что военрук приезжал в Москву не один. И он был рад, когда оказалось, что их быстренько спровадили, не понадобилось объясняться с Валентиной, с её братом, он вообще с ними не виделся. Значит, это был заговор. Они укатили назад с твёрдой уверенностью, что Былинкин вернётся, и, хотя никто ему в парткоме не говорил: возвращайся в Агрыз, просто на-

мекнули, что лучше уехать куда-нибудь подальше, — им самим не хотелось громкого скандала, надо было спустить дело на тормозах, — хотя никто так прямо не сказал, но подразумевался Агрыз, и теперь ему было ясно, они пообещали военруку надавить на Былинкина, заставить его вернуться.

Он даже не спросил, как она тут оказалась, не спросил о ребёнке, — кажется, это была девочка, — он смотрел на Валю во все глаза, и мгновенная мысль о бегстве, дескать, позабыл что-то, сбегаю и вернусь, а самому — на вокзал, в кассе купить обратный билет, и поминай как звали, — мысль эта спуталась с другой мыслью, вообще что-то начало мешаться в голове, то, что он сидел голый, разомлевший в тепле, не давало сосредоточиться. Валентина стояла в сорочке, приподнятой на груди, такой высокой груди у неё никогда не было. Была жалкая, тощая, глупая, как пробка, мыла полы в клубе. Он втянул в себя воздух, съёжился и прикрыл низ ладонями. Валентина смотрела на него, подняв лицо с приоткрытым ртом, видно было, что она волнуется, кружева вздымались на ней, точно она не могла отдышаться. Теперь в Агрызе живу, пролепетала она, но непонятно было, у брата или отдельно от них.

«Дай-ка мне...» — сказал Былинкин, показывая на ковш, она поняла, бросилась к бочке в углу, белоногая, пышнобёдрая, со скрученными на затылке волосами, подала ковш. Плеснуть в лицо холодной водичкой, придти в себя. Успели-таки подсунуть ему рюмку зелья. Былинкин перевёл дух. И чем больше он трезвел, тем больше успокаивался. Тем сильнее было это чувство — ничего не спрашивать, ни о чём не думать. Всё образуется, всё устроится само собой. Валентина вышла в предбанник снять сорочку. Гость пил из ковша, провёл по лицу мокрой ладонью. Гость ли? Как-то, не спросая у него, само собой получалось, что он вернулся насовсем. Из командировки, с учёбы. Его ждали. Женщина зачерпывает горячей воды и швыряет на раскалённые камни. Шипя, вырывается белая струя, горячий пар обжигает лёгкие, тускло, жарко, она уже не стесняется своей наготы, деловито мочит в шайке берёзовый веник. Так и положено: мужик на полкё, жена с веником.

Он лежит плашмя, щекой на скрещённых руках. Валентина лезет вверх с деревянной шайкой. Над ним колышутся её груди, перед глазами круглые женские ноги. Она погрузила веник в горячую воду. О-о! Бывший студент, бывший герой-партизан,

бывший секретарь бюро и член комитета, свергнутый, осмеянный, одинокий, полуживой с дороги, корчится в облаках пара, изнемогает от наслаждения под хлещущими ударами. Ох, хорошо. И ничего больше не надо. Он сел, отдуваясь. Шальная мысль, не тряхнуть ли стариной, прямо здесь, на горячем полке, растворилась в парном довольстве. Мирно сидят рядком.

Али ещё поддать?

Былинкин сошёл с помоста, опираясь на руку женщины, покорный, умиротворённый, да и о чём волноваться, всё образуется. Его усадят в прохладном предбаннике. Валентина, с головой, обмотанной полотенцем, оботрёт ему спину, и живот, и в паху, и ноги, и натянет, чтобы не простудился, колючие вязаные носки, и поможет одеться, и нахлобучит шапку. И пойдут они рядом, она с тазом под мышкой, он, держась за неё, словно чем-то опоённый, под высокой серебряной луной, по спящей улице, где всё замерло до рассвета, *дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь*, а там уже стол накрыт жесткой крахмальной скатертью, опрокинуть в рот хрустальную стопку, закусить твердым, с лёдника салцом, огненной рассыпчатой картошечкой, мало-сольным огурчиком, многоглазой, оранжевой, как заря, на громадной чугунной сковороде, глазуньей. А там и борщ, и котлеты, и опять по стопочке, по полной, кушайте на здоровье, Игорь Семёнович. Никто не спрашивает, какие у него, собственно, планы. Несчастный, тощий, с хохолком волос на темени, Былинкин сидит возле разругавшейся, как яблоко, помалкивающей, счастливой Валентины, ни дать ни взять — молодожёны. Будет тебе, отец, умеряет хозяйка расстаравшегося военрука, не очень-то его спаивай, — и всем понятно, что она хочет сказать, бабы — они дело своё знают, впереди брачная ночь. А что будет завтра, не всё ли равно, утро вечера мудренее.

РЕМОНТ. МЫ НЕ ОТ СТАРОСТИ УМРЁМ

Иванову Юрию Михайловичу выдали направление на стационарное лечение в областной госпиталь инвалидов Отечественной войны, но туда пришлось бы неделями ждать очереди. Последнее обострение было в ноябре, после драки на даче у Владислава; всем троим пришлось топать в крошечной тьме по грязному хлюпающему снегу и просидеть на станции до утра в ожидании электрички. Была, по крайней мере, причина. Сейчас

особых поводов для рецидива не было, но стояла гнилая, промозглая погода, ни зима ни весна, поселившая колотье в отсутствующей ноге; вечерами охватывала тоска, некуда податься, невозможно согреться из-за озноба; культя была воспалена, пришлось отказаться на время от протеза. В виду этих обстоятельств Иванов пил целую неделю, почти ничего не ел, к ужасу матери, не показывался на занятиях. Да и не мог представить себе, как это он появится в университете на костылях. В поликлинике врачаха изъяснялась туманно, наконец, было произнесено это слово: остеомиелит, знакомое по тем временам, когда он кочевал почти полгода по госпиталям. Культя была с самого начала плохо, наспех ушита в Эльбинге, в дивизионном ППГ.

Ждать очереди не имело смысла, пришлось лечь в районную больницу, чему Юра был даже рад, хотя и здесь первые две ночи провёл в коридоре. Завотделением попенял ему, что он запустил обострение, пригрозил — еще раз повторится, придется делать экзартикуляцию в тазобедренном суставе, сам понимаешь, не радость. Операция по укорочению (это называлось «освежить» культю) была произведена в старинной Екатерининской больнице № 24 на Петровском бульваре, где они долго стояли в очереди перед регистратурой, старуха в грязнобелом халате поверх пальто водила пальцем по строчкам, переспрашивала палату, имя, отчество, которого, как оказалось, ни Марик, ни Ира не знали. В больнице, снаружи импозантной, с ампирными колоннами, было тесно и грязно, продолжался ремонт, затеянный ещё накануне войны; лифт всегда занят, поднимались по узкой лестнице, пробирались по коридорам мимо баб-малярок, ворочавших длинными кистями, в заляпанных робах, в платочках до глаз; шли навстречу пробежавшим сестричкам, мимо коек с больными, лежавшими в коридоре, и полуоткрытых дверей в палаты, где всё свободное место было заставлено койками. Вошли, несмело озираясь, оглядывая лежащих. Юра лежал у окна, рыжий, почернелый и осунувшийся, без пенсне, поднялся было в постели с почти испуганным выражением и тотчас лёг, — не хотел, подумала Ира, чтобы увидели его без протеза. Оба топтались между кроватью Иванова и соседней, свежестеленной, кто-то умер ночью, и кого-то должны были перевести из коридора на освободившееся место.

Ира положила на тумбочку приношение. Друзья сидели рядком на краешке незанятой койки. Марик поглядывал в окно,

деревья уже покрылись зелёным дымом, серые облака плыли над городом, томительная свежесть сочилась из открытой фрамуги, из-за поворота на бульвар показался трамвай. Разговор не клеился.

Потух вечерний свет, улеглась суета, сделан укол, сестра собрала градусники, субфебрильная температура. В коридоре шорох, плеск воды; сейчас начнётся качка — которую ночь одно и то же. Мужик рядом тоже не спит. Вдруг оказалось — вовсе не «экзитировал», лежит носом кверху как ни в чём не бывало.

РЕМОНТ. ДЕВОЧКА НИЧЕГО СЕБЕ

«Тебя унесли, я сам видел», — сказал Иванов.

«Унесли, а потом принесли».

«Ты умер. Врезал дуба».

«Как и ты».

«Я жив».

«Значит, и я жив».

Иванов потёр лоб и сказал, что он всё понимает. «Что понимаешь?» — спросил сосед. Понимаю, сказал Иванов, что это бред, утром вкатили каталку и увезли труп. Потом приходили, сидели на пустой койке Ира и Пожарский. «А ты кто, вообще-то? — спросил Иванов. — Что-то я тебя не помню».

«Мореходку вместе кончали».

«Не было такого, не помню».

«Как это не помнишь. По случаю приближения немцев досрочно всем офицерские звёздочки, фуражки новенькие с крабом, пряником из училища — в Кронштадт, это ты хоть помнишь?»

«Конечно».

Ага, сказал человек, значит, не совсем память отшибло. Всю зиму на базе проторчали. «С-13» в сухом доке. Загляденье, а не лодка. Гордость отечественной техники.

«Какая там гордость, вся изуродована глубинными бомбами».

«Это что же — значит, уже после?..»

«Не после, а ещё до нас. Вот, думаем, и с нами, может, произойдёт то же самое».

Постой, сказал Иванов, это ты говоришь или это я сказал?

«А какая разница — я, ты... Маринеско говорит: ребята, ещё немного потерпеть».

«Капитан третьего ранга».

«Он самый. Известный бандюга. До Нового года, говорит. А там дадим фрицам прикурить».

«Хочу спать», сказал Иванов.

«Я тоже».

«Ты-то причём, тебя нет».

«Значит, и тебя нет».

«Мы не от старости умрём. От старых ран умрём»¹.

«Интересно. Кто это сказал?»

«Так, один».

«Ты их слушай, они тебе наговорят... А это кто такие были, на моей койке сидели? Девочка так себе. Лучше не мог подобрать?»

«Много ты понимаешь».

«Не, я шучу. Похожа на ту».

«На кого?»

«На ту... — так и непонятно было, на кого. Он спросил: — Ну, и как у тебя с ней?»

«Никак».

«Не даёт, что ли?»

«Пошёл ты к е... матери, я спать хочу». Юра Иванов прислушался, с кроватью раздавался храп; отвернулся к стене, уверенный, что никакого разговора не было, просто подскочила температура, но дело обстояло как раз наоборот, фантазией было явление Иры с Пожарским. Он стал думать об Ире, о том, что она войдёт снова, — почему бы и нет? — прокрадётся к нему в темноте и сядет на кровать, но мысли его отвлеклись.

Всю зиму ремонтировали, залатали корпус. Вертикальный руль пришлось менять... Иванов ждал, что скажет сосед. Мужик на койке молчал. Иванов снова лёг на спину, стараясь поудобней устроить забинтованную культю, и скосил глаза: так и есть, чья-то голова на подушке. Ремонт был закончен, лодка как новенькая, потом отработка боевых задач в Неве между мостами, в охтенском море. В эту минуту он понял, что это его голова лежала на подушке, и окончательно успокоился. Он пробирается между койками. Упругим шагом выходит в коридор, видит спящую за столом дежурную сестру, поднимается по лесенке на командный мостик.

¹ Семён Гудзенко (1922—1953).

АТАКА

Второй помощник капитана стоит на мостике рядом с антенной и трубой перископа, в шерстяном свитере, в меховом комбинезоне-канадке, завязки капюшона затянуты, над водой мороз градусов под двадцать с ветерком. Днём радиограмма из штаба флота: в связи с успешным наступлением наших войск возможное появление транспортных судов в районе Мемеля и Данцигской бухты. Хлопнул правый дизель, за ним левый. Зачавкали компрессоры. Лодка раскачивается в килевой качке, идём в район перехвата. Штормит, брызги замерзают на лету, колючие льдинки бьют в лицо. Несколько слабеньких точек, как светлячки, в снежной мгле. Исчезли. Он снова подносит к глазам тяжёлый морской бинокль с 22-кратным увеличением, докладывает: прямо по носу огни.

Голова в ушанке показалась из люка, командир вылезает на мостик. Капитан третьего ранга поднимает к глазам бинокль. Ага... вон он где, голубчик. В переговорную трубу: боевая тревога! Право руля, курс 240. Акустик докладывает из рубки: слышу гул двухвинтового судна на большом ходу. Лодка, накрываясь, катится вправо. Разворачиваемся носом к объекту. Командир приказывает принять балласт, лодка оседает, теперь она не так заметна, волны не сбивают её с курса. На мостике ледяной вал то и дело накрывает с головой и скатывается по гладкому корпусу. Проходит четверть часа, лодка идёт к цели.

Теперь уже хорошо видно. Большой, не меньше двухсот метров в длину, ярко освещённый, пяти— или шестипалубный лайнер идёт со скоростью, какую позволяет запрудившая все палубы человеческая масса, высоко на передней мачте бьётся крошечный флаг, и ещё два, один флотский со свастикой, другой с санитарным крестом, волочатся по ветру за кормой. Хлопнула крышка люка над головой, вслед за командиром вахтенный офицер спускается по лесенке. Срочное погружение.

Гулкое эхо в глубине моря, это лайнер, ударившись о скалистый грунт, подпрыгнул, как мяч, и грохнулся снова, подпрыгнул ещё раз, рассыпая обломки, и окончательно успокоился на дне. В шлемофонах нарастающий гул переходит в рёв, его сейчас можно слышать без приборов, миноносцы преследуют лодку. «С-13» то и дело меняет курс, набирает глубину. Слишком медленно — вот тебе и гордость отечественной техники.

Командир ведёт лодку туда, где наверху, на поверхности, плавают обломки, барахтаются пассажиры погибшего лайнера, там бомбить не будут; рёв винтов, стрекочущее эхо гидролокаторов всё сильнее, — у-ух-х, бух-х, — взрывы глубинных бомб то уходят раскатами, то приближаются. Все сжались, скрючились в тесном закутке, молчим, сидим, ждём удара, и в сумерках палата, где Юрий Иванов с замотанным в бинты обрубком ноги, сторбленный, открыв рот, вперясь в пустоту, сидит перед пустой свежезастланной койкой, на которой накануне умер кто-то, — палата, два светлых окна, — медленно наполняется водой.

ТРОЕ НА ЛЬДИНЕ

То, что Марик Пожарский равнодушно относился к поэтам-фронтовикам, к Межирову, к Гудзенко, ни в грош не ставил прославленных стихотворцев Суркова и Симонова (*Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...*), издевался над скромным полужрющим создателем «Одинокой гармонии» и «Слова к товарищу Сталину», всё это ещё куда ни шло. Но замахнуться на Поэта Революции! Марик утверждал, что Демьян Бедный писал ничуть не хуже.

«Семинар по Маяковскому! — И, сделав страшное лицо, уробным басом: — Другим странам — по сто! История — пастью гроба!.. Ба-альшой был юморист». Все трое стояли перед расписанием лекций в маленьком зале между двумя коридорами.

Брели по коридору, впереди Ира и Пожарский, сзади поскрипывал протезом Юра Иванов.

Он спросил вяло: «Слушай, а что ты вообще понимаешь?»

Марик, не оборачиваясь, надменно:

«Ну, уж в поэзии я немножко разбираюсь».

Ира: «А мне Маяковский нравится. И у Симонова есть хорошие строчки.

Над чёрным носом нашей субмарины
Взошла Венера, странная звезда...

Тебе нравится?»

«Мне?» — спросил Иванов и пожал плечами. Стихи, если уж начистоту, — чушь собачья, какие там звёзды над лодкой, идущей в разрез волны, в крошечной мгле под хлещущим ветром.

«Ей всё нравится, — парировал Марик. — И то, и это... А вот ты мне объясни...»

Вышли на лестничную площадку.

«Ты мне объясни, стихи о советском паспорте: что это значит — по длинному фронту купе и кают? Где происходит действие, в поезде или на пароходе? Я достану из широких штангин! — закричал он, прыгая по ступенькам. — Выходит, сразу из обоих карманов. А эти папаши, каждый хитр. Картонная поэма, знаешь, кто это сказал?» Иванов сходит, держась за перила, выставляет трость, опускает ногу. Ира прыгает рядом. Марик ждёт внизу.

Марик, сурово:

«Товарищ Подвойский сел в машину. Сказал устало: конечно. В Кремль».

Тоненьким, писклявым голоском:

«Товарищ Подвойский прыг в машину, весело крикнул: конечно, в Кремль!!!»

Гробовым шепотом:

«Вы слышали? Товарищ Подвойский сел в машину. Неужели? И что? Как что? Конечно! В Кремль...»

«Ну ты полегче, полегче».

И всё повторяется, все трое понимают, что не в этом дело. Не в Маяковском, пропади он пропадом.

Пред испанкой благородной
Двое рыцарей стоят.
Оба смело и свободно
В очи прямо ей глядят.

«Ну, хорошо. — Иванов говорит спокойно, рассудительно. — Тебе виднее. Но неужели ты не хочешь признать, что он сам совершил революцию, в поэзии, в литературе. Что, в конце концов...»

Они вышли во двор. Ира — медленно, влюбленно:

Уже второй.
Должно быть, ты легла,
а может быть, и у тебя такое.
Я не спешу, и молниями телеграмм
мне незачем тебя будить и беспокоить.

Ну и рифма. *Легла — телеграмм*. Что-то поднимается каждый раз, как пена в закипающей кастрюле. И это называется дружбой. Бесконечные препирательства. Пожарский что-то там лепечет о Маяковском (потеряв, между прочим, всякую осторожность!), это оттого, что он сопляк, жалкий стихоплёт, смешно думать, что Ира может увлечься этим недорослем. А когда Иванов возражает, то вовсе не потому, что он в таком восторге от «лучшего-талантливейшего», просто он завидует Марику. Смешно представить себе, что этот тупой ортодокс, этот увечный воин может завоевать Иру.

Вот он снимает свое новое пенсне, достаёт платок, дышит на стёклышки. Нацепляет на нос, этакий денди. Марик старается не глядеть на Иванова, он почти не в состоянии совладать с приливом ненависти. Может быть, лет через двадцать Марик Пожарский поймёт... но будут ли они жить через двадцать лет? Что поймёт? Что ненависть есть не что иное, как надевшее маску вождение. Что на самом деле оно рвётся к женщине, но, отброшенное щитом её равнодушия, переключается на другого; что гений пола не устремляется на добычу, но кружит над ней, как ослепший коршун. Разумеется, никто из них об этом не догадывается.

А вот пятьдесят лет тому назад они бы стрелялись. Где-нибудь на задворках, на заднем дворе, за полуразрушенной университетской церковью, а ещё лучше в безлюдном парке, где поют птицы на рассвете. Теперь сходитесь. Ира машет платком. Они идут навстречу друг другу, гремят выстрелы. Дым рассеивается, оба лежат неподвижно. И она стоит, дважды овдовевшая, между ними. И так ей и надо.

«А вот это, — говорит она, — разве это плохо?»

Я знаю,
каждый
за женщину
платит.
Ничего,
если пока
тебя
вместо шика
парижских платьев
одену
в дым табака.

Она не смотрит ни на того, ни на другого, её глаза обводят двор, чахлые кусты и ограду, удивительно нежен её подбородок, спокойно дышит её грудь. Может, Ире и нравится Маяковский, — Марик Пожарский вынужден признать, что Поэт революции, пожалуй, не так уж безнадежен, есть неплохие строчки, — но, конечно, куда больше ей нравится то, что они насканивают друг на друга. Ей это не надоедает!

Сколько коварства, женского вероломства, сколько тайного издевательства в её спокойствии, в её позе, в этой наигранной непринуждённости, ведь на самом деле она ждёт, ждёт с жадным любопытством, когда, наконец, Иванов швырнёт Марика на лопатки. И Марику Пожарскому становится ясной вся пошлая суетность ее поведения, все это притворство, вообще вся их бабья суть.

И в то же время ему становится легче, он понимает, что игра ведётся из-за них обоих, из-за него. Значит, он ей не совсем безразличен. Увы, это так: их троица держится на самом обыкновенном соперничестве. Через двадцать лет Марик мог бы сообразить, что у соперничества есть изнанка, хрупкая взаимная привязанность мужчин. И вот они топчутся во дворе перед дверью с вывеской факультета и не догадываются о том, как всё это шатко, хрупко, не хотят замечать трещину на льдине, где они стоят втроём, одни-одинёшеньки, и льдину несёт в океан.

«Дети мои, мы опаздываем», — говорит Ира.

Пора на лекцию в Новое здание.

За оградой по тротуару спешат горожане, равнодушные, мимолётные, рассеянно-раздражённые лица, кого в этой толпе интересуют стихи? У людей другие заботы. Вдалеке за широкой площадью сад, и зубчатая стена, и незаметный отсюда, безустали шагающий часовой. Люди не смотрят на стены и башни, их это не касается. Люди бегут навстречу друг другу, вправо к Библиотеке Ленина и налево к Охотному ряду и площади Дзержинского, к мраморно-гранитной крепости и новому, только что воздвигутому многооконному зданию с коридорами, камерами, подвалами, с кабинетами следователей, с прогулочными дворами на крышах, об этом никто не знает, никто ничего знает, а кто знает, помалкивает, и всё рядом, от университета каких-нибудь пятнадцать минут ходьбы, дико, странно подумать, как это может сосуществовать, как может уживаться одно с другим.

ИНТЕРМЕДИЯ В КОСТЮМАХ ЭПОХИ: ТРИСТАН И МЕЧ

В истории рыцаря Тристана, племянника короля Марка, истории сватовства короля к белокурой Изольде и тайной любви Тристана и Изольды был загадочный эпизод, которому не даётся никакого объяснения; о нём хранят молчание и Беруль, и Томá, и Готфрид из Страсбурга. О нём не рассказывал и профессор Данцигер на своем семинаре по старофранцузской литературе. Тристан, чьё имя, предрекавшее горестную судьбу, было дано ему, по одним преданиям, матерью, по другим — влюблённой в него королевой Бланшфлёр, получил наказ дяди беречь и охранять Изольду в долгом морском пути из Ирландии в Корнуэльс. Мать невесты вручила ей серебряный сосуд с волшебным напитком. Может быть, тебе и не надо знать, сказала она Изольде, что произойдёт после того, как вассалы и слуги приведут тебя к мужу в опочивальню, девушкам не полагается слушать о таких вещах, одно лишь прошу тебя исполнить. Кто такой благородный Марк, знают все, но каков он из себя, мне неизвестно, знаю только, что он стар, и не уверена, что он красив. Итак, попроси разрешения у короля, когда он войдёт к тебе, ненадолго отлучиться и выпей в одиночестве этот напиток: он свяжет вас навеки.

Путь корабля, разукрашенного флагами, под червлёными парусами, с искусно вырезанной из дерева фигурой святого Патрика на носу, пролёг мимо Дальних островов и Замка Слёз, в обход невидимых рифов, бури трепали путешественников, потом ветер стих, повисли паруса и вымпелы на мачтах, под палящим солнцем судно почти не двигалось. Кончились запасы пресной воды, и бедная невеста возжаждала так сильно, что захотела испить из сосуда. Тристан вошёл в каюту, где в изнеможении она сидела на ковре. Матушка велела мне отвезти этот напиток в ночь бракосочетания, сказала Изольда, но я не силах больше переносить жажду. А что это за питье, спросил рыцарь. Не знаю, возразила Изольда, но думаю, что не отравя; не хотите ли пригубить. И оба с наслаждением испили.

После этого прошло несколько времени, или, лучше сказать, время исчезло. Очнувшись от обморока, они поднялись на ноги, взглянули друг на друга, и с тех пор Изольда не могла

больше думать ни о ком, кроме как о Тристане, а Тристан ни о ком, кроме Изольды. И когда в каюту вошла Брангена, приближённая девушка принцессы Изольды, она увидела по их глазам, что случилось непоправимое.

В разных версиях легенды рассказывается о том, как король Марк со свитой встретил Изольду, благодарил племянника и пожаловал ему звание шамбеллана, то есть спальника; как устроен был свадебный пир и слуги готовили для молодых роскошную опочивальню. С гневом и горечью думал Тристан о том, что произойдёт; и новобрачная тайком утирала слёзы. Но успела шепнуть Тристану, что нашла выход. Когда король, возбуждённый и умашённый, возлёг, ожидая Изольду, спальник погасил свечи в опочивальне. Зачем ты это сделал, спросил король, я хочу видеть мою жену. Государь, отвечал племянник, таков обычай Ирландии: когда девица входит к мужчине, нужно тушить огни, в уважение её стыдливости. Тристан с поклоном удалился, а в тёмную спальню вошла Брангена. Так король Марк лишил девственности Брангену вместо Изольды, а когда он уснул, служанка неслышно выскользнула из брачного чертога, и на ложе рядом с ложем короля улеглась Изольда. Хитрость удалась; наутро король призвал к себе Тристана и сказал: я назначаю тебя моим наследником в Корнуэльсе в благодарность за то, что ты сберег для меня Изольду. А так как он был стар, то в последующие две недели не трогал королеву Изольду.

Супруг отправился на охоту, бальзам любви, выпитый на корабле, распалил влюблённых, ничто не мешало им соединиться. И настала глубокая ночь. Случилось, что король Марк неожиданно воротился в замок. Он вошёл в опочивальню и увидел, что там никого нет. Призвал служанку, но Брангена молчала, потупившись и не желая лгать. Наконец, она созналась. Так значит, это была ты, сказал король, потрясённый услышанным; знаешь ли ты, какое наказание тебя ожидает. Но я пощажу тебя, продолжал он, если ты откроешь мне, где скрывается моя жена Изольда.

В кромешной тьме он углубился в лесную чащу, слабый огонёк мерцал впереди. Обманутый муж подкрался к окошку и увидел, что на столе пылает свеча. В глубине комнаты темнело ложе. Он вошёл и увидел спящих. Оба лежали нагие, и между ними обоюдоострый меч.

И гнев старого короля Марка утих, ибо он догадался, что всё это значит. Может быть, рыцарь Тристан устыдился, вспомнив благодарность короля. Может быть, верность племянника и вассала превозмогла вождеделение к Изольде. Может быть, оба предпочли вечное томление минутной вспышке огня. Кто знает? И не воображает ли себя девушка, которая учится на романо-германском отделении, наперекор всему принцессой Изольдой?

ИОВ НА ЗАРПЛАТЕ

Диспут о поэзии выдохся; через узкие воротца вышли на тротуар. Снаружи перед университетской оградой, как всегда, сидит на тротуаре, отбывает дежурство пепельный человек в рубище. Седая щетина, серая вытертая на макушке голова, рядом собачий нос на вытянутых передних лапах.

Марик Пожарский приблизился к сидельцу. Нищий произнес свою формулу. Пес приоткрыл один глаз.

Подождав, нищий спросил:

«Тебе чего?»

Вместо ответа Марик протянул руку, сложил ладонь лодочкой, скорчил скорбную мину.

«Подайте Христа ради!»

«Чего?» — переспросил нищий, обратив к нему корявый лик.

«Больному-убогому, — пел Марик, — бедному студенту...
Подайте на пропитание».

Собиратель подаяний воззрился на него, как, должно быть, взирал на самонадеянного юнца Елиуя праведник, познавший смысл страдания.

«Сучий потрох», — проскрипел он.

Мимо прохожие бегут друг другу навстречу, стучат подковки кирзовых сапог, шаркают опорки, постукивают каблучки женщин.

«Это же надо... — сказал нищий. — А ну вали отсюда».

Он скосил глаза на пса:

«Гони его на́-хер».

Зверь повёл ухом, не понимал, в чём дело, моргал, ждал подачки.

«Гони! — скомандовал хозяин. — Кому сказал...»

«Вот видите, — заметил Марик. — Он понимает».

«Не он, а она, — поправил нищий, — чего она понимает?»

«А то, что я, может, еще бедней, чем вы».

«Ты-то?»

Вместо ответа Марик с торжеством вывернул карманы коротких брючек-дудочек. Стоя фертотом, держал концы карманов в обеих руках. Нищий молча, скучно глядел на него. Профессионал презрительно оглядывал дилетанта.

Идея просить у просящего — да ведь это всё равно что обворовать вора, всё равно что потребовать за свидание плату от публичной женщины. Подрывная идея.

К тому же нищий на работе. Надо было быть полным идиотом, ослом, лопухом, чтобы не знать, что побиралец здесь, у ограды университета — на работе. Напротив Кремль. В двух шагах американское посольство. Присматриваем за прохожими, отмечаем подозрительных, особенно всех, кто собирается кучкой.

Надо быть таким лопухом, как Марик..

«Чего ты мне карманы-то показываешь! Чего показываешь-та! Видали мы таких! Студент прохладной жизни... У кого просишь? У кого вымогаешь? А ну иди отседа, — гремел нищий, — работать надо, а не попрошайничать!..»

Он стал подниматься с места, встал, подтягивая штаны, и оказался детинной огромного роста; собака, вскочив на ноги, залилась лаем; в эту минуту, ни с того ни с сего, с другого берега Манежной площади сквозь шум и шорох машин донёсся торжественно-гнусавый звон кремлевских курантов.

Юрий Иванов, хромя, поспешно приблизился.

«Держи», — сунул нищему монету.

Марику:

«Хватит кривляться. Пошли».

Куранты: «Динь, динь-дилинь. Бом!»

Вдогонку неслось:

«Суки поганые, мандовошки. Много вас тут развелось!»

СВИДАНИЕ

И вот, это было недели две спустя, происходит нечто маловероятное. Нужно признать, что правдоподобие не является законом жизни. Мы живём в неправдоподобное время. Особа не-

определенных лет, явно посторонняя и, хуже того, в которой что-то неуловимо выдавало иностранку, вышла из деканата. Миновав холл с расписанием лекций и стенной газетой, направилась к выходу. Она шагала уверенно, не глядя по сторонам, словно не впервые находилась здесь. Дочь, ростом выше матери, спешила за ней. Двумя маршами ниже находился философский факультет, ещё этаж — и они вышли во двор. Было уже совсем тепло. Щурясь от солнца, гостя мельком оглядела парадный фасад, арку, двойную лестницу, колонны и двускатный верх со знамёнами и гербом. С двух сторон по углам выходившего покоем Старого здания стояли почерневшие статуи.

Вышли на тротуар из узких ворот, дама покопалась в сумочке, склонившись, бросила серебряную монетку собирателю подаяний. Подальше сидел еще один, она подала и ему. Широкая и пустынная, мощённая брусчаткой площадь, посредине мемориальный камень, редкие автомобили, а по ту сторону площади, за оградой и зеленью крепостная стена, зубцы, башни со звёздами, с железными флажками, — итак, вот она, эта новая Византия, город чудес и тайн, и где-то там в жёлтом дворце за стеной прячется деспот, которому дочь поклоняется, словно живому богу.

Подождали, пока трамвай, два старых вагона, верезжа колёсами, поворачивал из узкой улицы вправо. Теперь, когда план, казавшийся нереальным, почти безумным, по-видимому, близок к осуществлению, гостя, прибывшая издалека, охвачена сомнениями. Зудящее любопытство, какая-то болезненная потребность увидеть воочию этого человека, — чем они могут быть оправданы в его глазах, согласится ли он вообще с ней разговаривать? Но поздно отступать, они перешли улицу. Ещё один памятник кому-то перед аудиторным корпусом. Вошли внутрь. Мамаша и дочка поднимаются по широкой парадной лестнице. Аудитория номер 66, они нашли ее без труда, десять минут до конца занятий.

Напрасное ожидание. В деканате дали неправильные сведения. По-видимому, намеренно. Дали понять, что ей здесь делать нечего. Но откуда они знают, с какой целью иностранка хочет повидать Юрия Иванова? Или все-таки знают, предупреждены по тайным каналам? Прозвенел звонок, молодежь выходит из высоких дверей, почти сплошь девицы, человека, которого им описали, нет. Толпа разошлась. Аннелизе графиня фон

Ирш цу Зольдау, рыхловатая женщина за пятьдесят, с аккуратно уложенными короткими волосами серо-желтоватого цвета, с немного скуластым лицом и крупными выступающими зубами — фамильная черта, — в длинной вязаной кофте с вырезом, заколотым брошью, с перстнем-печаткой на безымянном пальце, в старушечьей юбке и неказистых туфлях, смотрит в тупой задумчивости вниз на лестницу, на спускающихся студентов. Что ж, тем лучше.

Конечно, *надо* было приехать, выполнить долг, который она сама себе навязала. Что теперь? Продолжать поиски, предпринимать новые усилия — *um Gottes willen*¹, зачем, какой смысл?.. Будем считать, что наше упрямство вознаграждено. В сущности, можно лишь радоваться, что встреча не состоялась. И в который раз она спрашивает себя, для чего, собственно, ей всё это понадобилось. Но где же дочь?

Стремительно повернувшись, Аннелизе фон Ирш видит, как из опустевшей аудитории вышли двое. Вышла Сузанна Антония и с нею бледный парень в пенсне, с палкой и студенческим портфелем, с веснушками, медноволосый, — точь-в-точь, как у Отто, подумала она.

Матери, по-немецки:

«Мама, это Юрий Иванов».

ДЕВУШКА НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ

Соня Вицорек — следовало бы сказать: фрейлейн Вицорек, но годы оккупации скомпрометировали это слово, — Соня Вицорек была непростая, даже в некотором смысле загадочная персона, из тех, о ком говорят: «со связями». Об этих связях не принято было распространяться, да и не так уж это интересно, достаточно будет, если мы скажем, что благодаря высокому покровительству удалось организовать поездку и встречу. Другой вопрос, было ли это в самом деле удачей. Что обещала, что могла принести такая встреча?

Для обитателей дома на Нижнекисловском (переведём назад стрелки скорбной эпохи) пакт о дружбе с Германией был подобен грому с ясного неба. Может быть, оттого, что среди эмигрантов не было достаточно проницательных, а главное,

¹ ради Бога (*нем.*).

диничных людей, они не верили своим глазам: фотография с Риббентропом и Молотовым на первой странице московских газет. Вождь международного пролетариата в Кремле произнёс тост за здоровье гнусного германского фюрера. С речью выступил нарком иностранных дел: некоторые близорукие люди, сказал он, увлеклись упрощённой антифашистской агитацией. В квартирах эмигрантов начались обыски, пошли аресты, в одну из этих ночей исчез Отто Вицорек. Соня осталась с подругой отца, теперь эта женщина занялась хлопотами о возвращении в рейх. Ловили новые слухи, ждали выселения. Прошло несколько месяцев, и вдруг он вернулся, единственный из всех соседей. О том, что происходило во Внутренней тюрьме, отец Сони не рассказывал и о самой этой тюрьме никогда не упоминал. Внешне он несколько изменился, лишился передних зубов, отчасти даже лишился рассудка. Вицорек выздоровел от невзгод, но не от убеждений. Последующие события восстановили его энтузиазм и веру в Вождя, который, как теперь стало ясно, вовремя вмешался, чтобы пресечь беззаконие. К этому времени невенчанная жена, не разделявшая этой веры, сменив её на поклонение Шикльгуберу, сумела-таки уехать, её судьба неизвестна и неинтересна. Вицорек остался с дочерью. Вскоре началась война, и всё окончательно стало на свои места. Отто был членом каких-то комитетов, редактировал брошюры, подписывал воззвания. Соня отправилась в эвакуацию вместе со школой имени Карла Либкнехта. Три года жизни на Урале превратили её в рослую, светлоглазую, длиннозубую и длинноногую, уверенную в себе девицу, хоть и не получившую в наследство от отца его былую красоту, но всё же похожую на него, а ещё больше, может быть, на старого звездочёта, чей портрет не сохранило потомство. Наступила весна сорок пятого года, достопамятного, занесённого илом, забытого и незабвенного, — так застревает в памяти мелодия, а текст давно забыт. В июне, в последних числах, Сузанна Антония прибыла во «дворец радио» в Шарлоттенбурге, бывшую казарму СС, где теперь было определено рабочее место Отто Вицорека.

Летели с пересадкой в Минске. Здесь впервые она увидела развалины. Увидела остатки укреплений по обе стороны Одера, воронки от снарядов, но дальше потянулись аккуратные поля, перелески, озёра, чистые, ухоженные городки, прямые авто-страды; казалось, войны здесь никогда не бывало. Страна была

похожа на чисто прибранную комнату у прилежной хозяйки. Низкие облака заволокли иллюминатор, самолёт, гудя, стоял в густом молоке. Началась болтанка; последние клочья тумана неслись мимо. Внизу проплывало что-то ужасное, развороченные танки, обугленные леса, чёрные дымящиеся поля с торчащими из земли обгорелыми стволами. Дорога, по которой двигалось что-то в облаках чёрного праха. Появился город, но что это был за город: пустые, без крыш, коробки домов до самого горизонта, обломки церквей. Горы щебня и кирпичей росли навстречу, самолёт снижался. Кое-где расчищенные улицы забиты колоннами крытых брезентом грузовиков, коробочками-джипами, тележками, крошечные люди толкают перед собой детские коляски с кладью. Самолёт сел в Темпельгофе. Аэродром окружали остатки некогда импозантных зданий, выгоревших дотла. Отец волновался, она осталась безучастной, это была чужая страна, чужие люди, так вам и надо, думала Соня.

Вечером приехал автобус, кружили по мёртвому городу, проехать можно было только по главным улицам. Непонятно было, как, когда всё это можно разгрести. Да и надо ли. Уж лучше построить новый город где-нибудь в другом месте. На Франкфуртской аллее кое-где уцелевшие дома. Им отвели квартиру в бывшей гостинице для офицеров. Всё казалось удивительным Соне Вицорек. Немецкие надписи, люди на улицах говорят по-немецки. Берлинский «платт», который не сразу поймёшь. И, само собой, везде красноармейцы, в обмотках, в кургузых шинелях. Тёмные загорелые лица, белозубая улыбка. «Эй, фройлин!» Она отвечает по-русски.

После тюрьмы Вицорек заикался; до поздней ночи тюкал на машинке; Соня должна была читать напечатанное перед микрофоном, и первое время рядом с ней сидел русский майор. Несколько времени спустя она уже сама сочиняла тексты радиопередач, видимо, преуспела в этом, была откомандирована в Москву, окончила международную школу молодых кадров в Вешняках, заведение за высоким забором; Конрад Вольф, товарищ детства, был братом Маркуса Вольфа, которого все по старой памяти звали Мишей; и этот Миша стал теперь большим человеком, чтобы не говорить о том, кем именно он стал; можно было запросто к нему обратиться, всё прекрасно устроилось, всё, что нас здесь уже не может интересовать.

БЕСЕДА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

«Он не помнит, я же говорила тебе».

«Спроси, где он потерял ногу».

«Мамочка...»

«Можно не переводить. Как-никак я филолог».

«Он говорит, что может обойтись без...»

«Только помедленней. Bitte sprechen Sie langsam».

«Поговори с ним сама. Скажи, что мне очень хотелось его повидать».

Иванов пробурчал что-то невразумительное.

«Он говорит, что счастлив с тобой познакомиться».

Аннелизе фон Ирш разгладила салфетку, по-видимому, не знала, с чего начать.

Вертела перстень. На перстне вырезан зубр.

«Вы изучаете немецкую литературу?»

«Изучаю», — мрачно сказал Иванов.

Соня, по-студенчески на «ты»:

«Почему ничего не ешь?»

«Боюсь испортить желудок».

«Он говорит, что не привык к такой роскошной еде».

Неслышно приблизился официант, подлил в чашки душистый кофе.

«Может быть, вы привыкли пить по утрам чай?» — осведомилась Аннелизе.

«Я? — сказал Иванов. — Ich...»

Он забыл слова. Да и пропало желание разговаривать. Он оглядел почти пустой зал, светлые окна с гардинами, пальмы в бочках, крахмальные скатерти, хрусталь. Нашего брата сюда не пускают.

Сейчас начнётся, думал он. Дружба народов, то да сё.

Аннелизе сложила салфетку вдвое, вчетверо.

«Не знаю, как вам объяснить... Мне хотелось вас увидеть... я вас разыскивала. То есть разыскивала кого-нибудь, кто... Мы оба... нас обоих... вы верите в предопределение? По-моему, он не понимает, переведи ему».

«Наш предок был знаменитый астроном. Переписывался с Тихо Браге. Мама считает, что спаслась благодаря звёздам».

«Какие там звёзды. Был шторм, снегопад».

«Да, но я не в том смысле...»

«Какой тут может быть смысл», — возразил он с досадой.

Аннелизе продолжила: «Мне кажется, мы могли бы найти общий язык. То, что мы оба остались в живых... Как, вы уже уходите?»

Иванов поднимался, опираясь на палку.

«Вот что... — проговорил он, сдерживая злость, не глядя на Соню. — Тебе такая вещь, как русский мат, известна?»

«Мат?»

«Да, обыкновенный русский мат».

«Немножко».

«Ну так вот, скажи твоей маме... — Он вздохнул. — Ну, в общем, скажи, что я благодарю за вкусный завтрак. Das Frühstück schmeckt gut».

«Ему надо идти на лекции».

Аннелизе фон Ирш опустила голову, через минуту Юра Иванов встретился с её взглядом.

«Мама хотела спросить, где тебя ранило».

«В море», — сказал Иванов.

«То есть... на Остзее?¹»

«Не помню. А почему это её интересует?»

«Я же тебе объяснила: моя мама в конце войны...»

«Знаю. Тот самый транспорт?»

«Ну да... пассажирский корабль».

Иванов пожал плечами.

«А кто мог знать?» — спросил он.

«Что знать?»

«Кто мог об этом знать — что пассажирский?»

«Он говорит, что они не знали, что корабль вёз пассажиров. — Иванову: — Мама почему-то считает... Может быть, ты все-таки сядешь».

«Хорошо, сяду, — сказал Иванов. — Мы получили приказ. В этом районе ожидалось появление немецких транспортов».

«Он говорит, что...»

«Вы что, позвали меня, чтобы допрашивать? Sie wollen...»

«Да, — вдруг сказала Аннелизе. — Я хотела бы с вами поговорить. Я, — сказала она упрямо и при каждом слове кивая, — должна — с вами — поговорить».

«Мамочка...»

¹ Немецкое наименование Балтийского моря.

«Я долго искала этой возможности. Спроси у него, достаточно ли хорошо он меня понимает или надо переводить».

«Моя мама говорит, что рада, что смогла тебя разыскать».

«Спасибо. Весьма польщён».

«Должна сразу же сказать: я вовсе не собираюсь вас... Наоборот!»

«Мама, подожди минутку. Юрий... Пожалуйста, не думай, что мы тебя в чём-нибудь упрекаем. Советский народ вёл войну с фашизмом. Мой отец старый коммунист...»

«Вот как».

«Да. Он был соратником Тельмана».

«Поздравляю; ну и что?»

«Как что? Мы на твоей стороне, а не на...»

«Кто это — мы?»

«Я и мама».

«Мама тоже? Не думаю, — сказал Иванов. — Я знаю, что она хочет сказать. Что там были женщины, старики, дети...»

«Там были, между прочим, и раненые солдаты», — сказала Соня.

«В общем, беженцы. Видимость была плохая, сначала думали, что это военный транспорт. Потом оказалось... в общем-то да, корабль был освещён. Мы подошли совсем близко. Огромный пароход, как десятиэтажный дом, не меньше. Конечно, с конвоем. Но мы его вначале не увидели».

«Пойми, моя мама вовсе не собирается... И в конце концов, ты же был там не один».

«Я первым увидел корабль».

«Но ты же не виноват, что...»

«Да, да. Война, враг есть враг, всё ясно. И что творили немцы в России, можешь мне не объяснять. И, между прочим, то, что одно преступление нельзя оправдывать другим преступлением, это для меня тоже ясно».

«Что он говорит?» — спросила Аннелизе фон Ирш.

«Он рассказывает... как все это было».

«Догнали, шли параллельно. В каких-нибудь шести-семи кабельтовых... И то, что палубы переполнены народом, тоже видели, нельзя было не увидеть. Кто эти люди? Ясное дело — немцы, враги. Ну, и...».

«Ужасно, конечно, — сказала Соня Вицорек. — Но это можно понять».

«Может, и можно понять, не знаю. Победителей не судят, так ведь? — сказал Иванов. — А теперь представь себе: у нас боевое задание, выследить и уничтожить. А мы пожалели их и ушли. Что это значит? Невыполнение приказа, капитана под трибунал, и расстрел. И всех офицеров под трибунал».

«Что он говорит? Переведи».

«Сейчас, мамочка, сейчас...»

«Брось, — зло сказал Иванов и махнул рукой, — нечего переводить».

«Не моё дело вас осуждать, — сказала Аннелизе. — Но если бы вы знали, что там происходило... Все проходы, лестницы, всё забито, люди топчут детей, стариков... Меня втащили в лодку, ночь, снег, огромные волны, кругом крики тонущих, шлюпка переполнена, если бы вы только знали...»

«Знаю без вас», — сказал он.

НЕ ВПОЛНЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Профессор Данцигер любил поговорить. (За что и пришлось поплатиться.) Не на подмостках большой Коммунистической аудитории, где, сидя в шубе и фетровых ботах, прихлёбывая холодный чай, он скучно вещал в пространство, всегда начинал с одной и той же фразы: «На прошлой лекции мы рассмотрели вопрос о...» и заканчивал: «Но к рассмотрению этого вопроса мы перейдём в следующий раз», — а здесь, в старом факультете, знакомом с далёких старорежимных времён, в комнате с грифельной доской, с облупленными столами, с подоконниками в глубоких проёмах, с видом на Манеж, перед избранным кружком учеников на знаменитом семинаре Данцигера по раннему немецкому романтизму.

Представьте себе это время, говорил Сергей Иванович Данцигер, и первые, вступительные фразы его рассказа напоминали речитатив перед оперной арией: представьте себе это короткое, неповторимое время. Разве только с Афинами пятого века можно сравнить скопление гениев на пяточке нескольких германских княжеств в первые десятилетия девятнадцатого века. Гёте выпускает первую часть «Фауста», «Избирательное сродство» и «Западно-восточный диван». Ещё живы Гердер и Шиллер. Гёльдерлину остаётся несколько светлых лет, он работает над «Эмпедоклом» и печатает последние сти-

хотворения. Новалис дописывает первую часть «Генриха фон Офтердингена», Клейст создаёт «Пентезилею» и «Принца Гомбургского», выходят в свет «Эликсир дьявола», «Крошка Цахес» и «Серапионовы братья» Гофмана. Юный Гейне делает первые шаги в литературе... Все живут одновременно! И это ещё не всё, в музыке — это Бетховен. Это «Волшебный стрелок» Вебера и первые песни Шуберта. Это юная пора романтизма, небесно-голубого, как Голубой цветок Новалиса, цвета, ещё не ставшего багровым...

Профессор Данцигер говорил о Гейдельберге, Иене и Берлине, он оживал, молодел, розовел, не слышал звонка на перебив, моргал, как филин, переводя от одного слушателя к другому загадочно-восторженный взгляд, и было ясно, что он видит не сидящих перед ним девиц, не Иру и не Марика Пожарского, а тех, давно ушедших, проживших короткую жизнь, писавших друг другу пространные письма на языке, который мы хоть и понимаем, но который кажется нам невозможным, как невозможен больше этот восторг и пафос. Но профессору Данцигеру этот язык не казался смешным. Он и сам чуть ли не пел голосами этих сирен. Обратите внимание, говорил профессор Данцигер, что история, реальная история меньше всего интересовала этих людей, они хотели жить во всех временах, другими словами, в свехистории: «Генрих фон Офтердинген» начинается с того, что часы бьют на стене в комнате, где лежит без сна юный Офтердинген, а между тем действие происходит в Средние века, когда никаких механических часов не существовало, — и это отнюдь не потому, что автор об этом не знает. Профессор Данцигер говорил о женщинах невозвратимой поры, без которых не было бы и этой поры, вокруг каждой вращалась вся эта компания поэтов и говорунов, словно хор планет вокруг солнца, он рассказывал о Доротее, скандально прославленной своим возлюбленным, Фридрихом Шлегелем, в «Люцинде» (кстати, кто читал этот роман? Поднимите руку) и о своенравной Беттине, сестре Клеменса Брентано, которая однажды сцепилась в доме Гёте с подругой тайного советника, толстой Кристианой, о Каролине Шлегель, которая писала Августу: «Друг мой, ничто настоящему не существует, кроме творений искусства», и о другой Каролине, рослой и мучительно-робкой, неприступной и страстной, безответно влюблённой в профессора Крейцера и мечтавшей, переодевшись мужчиной, последовать за ним в Рос-

сию, — о бедной, непонятой Каролине фон Гюндероде, истерзанной противоречиями своей души, противоречиями эпохи, так что в конце концов она не увидела другого решения, как всадить себе ниже левой груди кинжал с чьим-то вырезанным на костяной ручке именем. Вы догадываетесь, чьё это было имя... А знаете ли вы, что начертано на её надгробном камне? О Земля, моя мать, и ты, Эфир, мой отец, и ты, мой брат, горный ручей, прощайте, я ухожу в другой мир.

Послушайте, друзья мои, говорил профессор Данцигер, вперя взгляд то в одного, то в другого, послушайте, как описывает Беттина фон Арним свою подругу Каролину. По её словам, у Каро были тёмные волосы и серые глаза, она явилась на обед к епископу вместе с другими дамами приюта в чёрном орденском платье с белым воротничком и шлейфом и была похожа на призрачную красавицу баллад.

Он рассказывал о девочке Софи фон Кюн, в которую влюбился двадцатидвухлетний Фридрих Леопольд фон Гарденберг, тот, кто просил Августа Шлегеля опубликовать «Цветочную пыльцу» под псевдонимом Новалис. Но вправе ли мы поместить эту Зёфхен в один ряд с девушками и женщинами романтизма? — спросил профессор Данцигер и развёл руками. Мы знаем о ней слишком мало, вернее, мы знаем ту Софи, которую сотворил Новалис из двенадцатилетней, вероятно, ничем не замечательной барышни-подростка, круглолицей, толстенькой, с туповатым носиком, очень доброй, посылавшей ему записки с ужасными орфографическими ошибками. Нужно понять, воскликнул он, что означала встреча с Софи фон Кюн для человека, однажды написавшего: «Поцелуй — начало философии!» Но мы не знаем, чем стала бы эта Софи, если бы дожила хотя бы до совершеннолетия, что осталось бы от философской и мистической, истинно романтической любви, подарившей нам и «Гимны ночи», и «Офтердинггена» (вы, конечно, прочли этот роман?), если бы не кончина невесты, которой едва исполнилось пятнадцать лет. Отчего угасла Софи фон Кюн? — профессор Данцигер горестно покачал головой, развёл руками. Гнойник в брюшной полости, три операции. Палочка Коха, ещё неизвестный, коварный возбудитель туберкулеза, тот, который спустя немного унёс и Новалиса.

Дребезжит звонок в коридоре. Сергей Иванович, кудрявый, ароматный, в чёрной шапочке, в бородке клинышком, в седых

усах над могучим носом, чрезвычайно довольный собой, восседает на председательском стуле. Минута тишины, перламутровое небо осени за квадратными, врезанными в толщу стены окнами. Сейчас задвигаются стулья, сейчас девушки поднимутся, очнувшись от гипноза, оправляя платья.

ТАНГО. МАРИК ПОЖАРСКИЙ ЗНАКОМИТСЯ С РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Для некоторых обыденных вещей трудно подобрать название. Холл? В русском языке середины века этого слова ещё не было. Вестибюль — тоже не годится, каждый филолог знает, что по смыслу корня это должно означать переднюю, где снимают верхнюю одежду.

В клубе никто не раздевался: холодно. Кучка девиц болтала в сторонке. Преподаватель опаздывал. Явился единственный молодой человек. Полчаса прошло; Марик Пожарский негодовал на себя за то, что затесался в бабью компанию; топтался в одиночестве; никто с ним не заговаривал, и сам он не проявлял желания участвовать в разговоре. Наконец, вошёл, тяжело переставляя ноги между двумя палками, с замученным видом, ибо он вёл занятия во многих местах, руководитель, следом, в шубе, некогда котиковой, с папкой под мышкой плелась аккомпаниаторша. Все гурьбой поднялись по ступеням парадной лестницы мимо мраморного бюста со стихами в честь восшествия на престол государыни императрицы Елисаветы Петровны. В пустом зале блеснул паркет; стали в кружок.

Полы шубы свисали с круглого винтового стула, пожилая дама прошлась по клавишам, разминая пальцы. Нога из-под ветхой юбки коснулась педали. «И-и... начали!»

Пары неуклюже поворачивались. Дребезжал рояль. Преподаватель дирижировал, сидя в кресле. На предыдущих занятиях мы познакомились с бальными танцами. Теперь — танго. *Мне зима всё кажется маем. (Раз-два — три). И-и в снегу я вижу цветы!* Танго (только, ради Бога, не говорите: танго́), танго, сказал преподаватель, это танец одновременно и церемонный, и сугубо интимный. Танго заключает в себе мир человеческих отношений. Танго — южноамериканский танец и танцуется в очень строгом и остром ритме. Тáм! Татата-тáм. Та, т-та́! Шаг — и ко-

ротенькая пробежка. Длинный — и три коротких. И так далее, и так далее, и-и пробежка, и назад, и вперёд, и наклоняемся, и выпрямляемся! Смотреть на партнёршу, держать её, как держат вазу... Вокруг себя! Ба-альшой шаг. Три коротеньких. Стоп. Но так же не годится. Начинаем сначала — Розалия Юльевна, прошу. И-и!

Мне зима всё кажется маем.
И в снегу я вижу цветы.
Отчего, как в мае, сердце замирает?
Знаю я, и знаешь ты.

Держите даму как полагается! Всё напрасно. Танец — диалог душ, любовная дуэль, в танце мужчина демонстрирует свою власть над женщиной, женщина незаметно властвует над мужчиной, — а где тут женщины, где тут мужчины? Девы топчутся, не попадают в такт. Преподаватель в кресле хлопает в ладоши. Скучная, как старая заводная кукла, Розалия Юльевна без конца повторяет одно и то же. *Мне весна всё кажется маем.* Какие слова! Серенада Солнечной долины. Упоительный фильм. И какой откровенный. Например, там есть одно место, когда она сидит в бочке с водой, ведь все знают, что на ней ничего нет. Впрочем, это, кажется, другой фильм. Девушка моей мечты. Эх, живут же люди.

Учитель хлопает в ладоши, перерыв. Бабуся добыла из недр шубы портсигар с махоркой, сладко закуривает.

В перерыве Марик Пожарский думает о том, что он никогда не научится танцевать, а ведь танцы — это самый удобный способ знакомиться с девушками. Странно, что он так неуклюж и непонятлив, разве у него нет чувства ритма? Все опять построились в кружок, преподаватель снова показывает руками, как и что. Поразительно в этих танцах то, что можно так, запросто обнять и, обнявшись, двигаться и кружиться, и при этом делать вид, что тебя не волнует магия прикосновений. Марик стоит, ожидая команды, его партнёрша, довольно толстая девушка с неподвижной физиономией, как будто окоченела в самообороне: он старается держать её крепче, как требует преподаватель, — главное, не уронить даму (да, попробуй-ка уронить эту колоду), — а она упирается ему в грудь, словно её хотят изнасиловать. Приготовились; и-и... И вдруг рядом с ними девица небольшого роста, по плечо Марику, остроглазая и остроногая, не

поймёшь, красивая или уродливая. Бесцеремонно отодвинула его партнёршу, пристроила руку Марика себе на талию. Её рука у него на плече. И раз, два-два, три! Раз, два-два... И поехали. Со всем другое дело. И в снегу я вижу цветы!

«Ноги мне не отдави...» — пробормотала она. Зачем ей школа танцев, она, оказывается, всё прекрасно умеет.

Обоим жарко. Её пальто валяется на стульях вдоль стены, не пальто, а пальтецо. Следующее занятие, м-м... — говорит преподаватель и перелистывает толстую растрёпанную записную книжку. Листки падают на пол. Он придвигает их к себе палкой. Девочки прыгают по ступенькам. Выглянули на улицу; сумрачно, хотя время всего лишь начало четвёртого, моросит холодный, безнадежный дождь.

С какого она факультета?

«Чего?»

У неё острый чёрный взгляд, непонятно, смотрит ли она на тебя или мимо тебя, худая, притягивающе-некрасивая, какой там факультет, она вовсе не из университета.

«Бр-р. Что будем делать?»

«Подождем».

«Он и через час не перестанет. Тебя как звать?.. А меня Клава. Проводишь меня, или как?»

Разумеется, после танцев кавалер обязан проводить даму.

«Неохота, что ль?» Она снова смотрит на него или мимо него.

«Нет, почему», — возразил Марик. Оказывается, эта Клава живёт где-то за Абельмановской заставой, у чёрта на рогах. Спустя час, продрогшие, они добегают до входа в женское общежитие, внутри на голых стенах бумажки, записки, выставка объявлений, посторонним вход строго воспрещается, не курить, окурки на пол не бросать, после десяти вход закрыт. Сторож-инвалид в валенках восседает за столиком, здорово, дядя Фома, — и, не мешкая, не оглядываясь, вверх по лестнице.

Комната вроде больничной палаты, в широком окне белёсый свет угасающего ноябрьского дня, койки с тумбочками, сумрачно, тепло, на стене гитара с голубой лентой, полукругом приклеенные открытки, фотографии, плакаты вместо картин, хитро-весёлый солдат в пилотке набекрень, с вещмешком и автоматом, сворачивает самокрутку, за спиной дорожный

столб: «На Берлин». На другом плакате родные дали, трактора: все, как один, подпишемся на заём. У окна за столом три девы и пожилая тётка играли в подкидного.

Марик стоял на пороге, чувствуя себя в высшей степени не в своей тарелке. Клава словно забыла о нём, сбросив на ходу пальтишко, уселась на кровать, платье между коленками.

«Чайку бы...»

«Сама и ставь».

«Ты чего, тётъ Насть, со смены? Поесть чего-нибудь есть?»

«Ой, девоньки. Уж если везёт, так везёт».

«Зато в любви не везёт».

«С козырей пойти, что ли. С короля... А это кто ж будет?»

«Мой друг, ухажёр».

«Где эт-ты такого красивого подцепила».

«Красивого, да не про вас. — Подмигнув: — А, Маркуша?»

«Опять винни козыри. Ну что это такое».

«Коли везёт, так везёт».

«Зато в любви не везёт. Э-эх. — Потянувшись, Клаве: — Чего, уходить нам, что ли?»

«А мы занавеску повесим, да, Маркуш?.. Да сидите вы, так уж прямо... Ты, Марик, на них внимания не обращай».

«Может, с нами поделишься, хи-хи».

«Язык без костей. Что хочет, то лопочет. Он не из таких...»

«Да такой молоденький...»

«Он поэт. Ты ведь поэт? (Откуда она знает?) Чайку бы. Закоченела вся. А ты, тётъ Насть, со смены, что ль?».

«Да вы раздевайтесь. Тут и сесть негде».

«Я постою, — сказал Марик. — Мне вообще-то пора».

«Посидите». Пожилая отправилась за табуреткой. Клава вошла в комнату с чайником. «Ты отвернись, ишь уставился», — пробормотала она, отворила дверцу, стол поехал, поехало зеркало шифоньера. Клава оказалась в уютном халатике. Карты сгребли в сторону. Явилась на свет из тумбочки белая головка. Явился батон, — живут же люди, — невиданной красоты колбаса, банка со шпротами, лучок, посреди стола жестяной чайник и на большой тарелке нечто почти сказочное: лоснящееся, нарезанное ломтиками сало.

«Ну, девы, я вам скажу...»

«Чего, снова?..»

«Снова не снова, а в общем... Эх, жисть».

«Не горюй, обойдётся».

Разлили водку по чашкам.

«Уф-ф. Вот проклятая. Да ты чего сидишь, Маркуша! Сольцом закуси».

«Кушайте на здоровье, как вас по отчеству-то».

Сидели, вздыхали.

«Чего, девы, может, споём. Вот кто-то с горочки спустился. Наверно, милый мой идёт... Когда б имел золотые горы и реки полные вина!»

Все в отчаянии подхватили:

«Всё отдал бы за ласки, взоры!»

ОБЛИК ЖЕНЩИНЫ

Гость старался не отставать от всех; тётя Настя вышла и не возвращалась; он пересел с табуретки на её стул. Клавдия пересела поближе. На столе воздвиглась вторая бутылка. Марик уже не стеснялся, поглощал всё подряд, мутно поглядывал на соседку. Поистине Клава обладала искусством как-то так устроить, чтобы казалось, что всему так и положено быть: всё было само собой разумеющимся, и знакомство, и этот пир, не надо было ничего объяснять, словно они давно знали друг друга; стало уютно, весело, он испытывал симпатию к этим девушкам, не отличая одну от другой; и они отвечали ему дружеским снисхождением, грубоватым теплом простых женщин. Между тем что-то незаметно совершалось в оловянных сумерках, в сгустившемся воздухе, когда на улицах дрожат и вспыхивают дуговые фонари, блестят лужи и город зовёт и обещает головокружительное приключение. Если бы Марик Пожарский умел разбираться в самом себе, он осознал бы перемену; пока что он мог лишь её почувствовать. Марик научился видеть женщину — искусство не менее сложное, чем умение ходить. Чему он не научился, так это понимать женскую душу, но этот талант был просто ему не дан — и к лучшему: она осталась интригующей, чарующей загадкой.

Зато он прозрел. Близорукий надел очки: на месте облачного целого предстали подробности. Он видел причёску, одежду, поворот головы, тонкую, как у подростка шею, тонкие руки в широких завёрнутых рукавах домашнего халата, угадывал очертания бёдер и даже чувствовал их прикосновение к своему

бедру; угадывал и то, другое, что было прикрыто одеждой. Клава была (как уже упоминалось) небольшого росточка, бледная, щуплая, с ямкой между ключицами, с крошечной грудью, с блестящими, как антрацит, неуловимо косящими глазами, отчего казалось, что она смотрит и на тебя, и не на тебя, и то, что она не была хороша собой, не портило Клаву, а наоборот, звало и обещало, и оттого вдруг стало так весело! Марик развалился на стуле, рубил кулаком, читал, завывая, стихи. Девы сидели молча, пригорюнившись.

Сперва предгрозовое напряженье,
Листвы предчувственная дрожь.
От немоты, от головокруженья,
От белых молний невтерпёж.
Потом лозняк, заломленный жестоко,
Багровый свет то тут, то там,
И шелест трав, как медный шелест тока,
Летящего по проводам.

Марик читал стихи, где говорилось о дорогах и закатах, о лесах, о природе, которой не существовало в этом городе каменных дворов, подворотен, мусорных ящиков, трамвайных рельс, булыжника и брусчатки.

Ноябрь — и в эту пору года
Почти весенняя погода!
И пахнет тополиным цветом
В лесу — совсем как перед летом.
Но что-то общее с весной
Стряслось не с лесом, а со мной:
Ударило хмельным и талым,
Как веткой, по рукам усталым,
Дохнуло тайною в лицо...

Он остановился. Девы ждали. «Забыл», — сказал Марик. Он задумался. Комната — тёмный аквариум, мерцающий зеленоватыми огнями за окном. Бледное лицо Клавы... Давно остыл чай. Марик читал...

Загорается солнце над стыком дорог,
Никогда ты не ступишь на этот порог.
Плещет платье твоё на холодном ветру,

Плещет платьё твоё на весеннем ветру,
Обнажая изваянность ног.
Уходи поскорей и меня не жалея,
Мне не надо на память прощальных речей...¹

НЕЧТО НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ

К концу чтения оказалось, что они в комнате остались вдвоём. Пустые койки, плакаты, будильники на тумбочках — тусклый отблеск никеля и стекла. Клава вставала, садилась, не зажигала свет, поила крепким чаем.

«А они, — спросил Марик, — куда же они?..»

«Девчонки? Придут... Да, — проговорила она, кулачком подперев щеку, — здорово у тебя получается. Кто это, в платье? Небось, подружка твоя?»

Поэт подвигал бровями, глядел в пространство.

«Поссорились, что ль?.. А у тебя вообще-то кто-нибудь есть?»

Марик не то кивнул, не то помотал головой, и ничего не ответил. Она вздохнула, покосившись на будильник: «Мне скоро пора...»

«На фабрику?» — спросил он.

«Чего? Ну да, на фабрику».

Марик думал: никого нет, пора приступать. Обнять её, что ли. Оказалось, что и *это* как будто подразумевалось само собой; она сказала, усмехаясь:

«Посидели, выпили, время ещё есть. Пора в кроватку, а?»

Марик несколько растерялся.

Она окинула его взглядом, отвела глаза.

«Это я так, шучу... — И продолжала, задумчиво глядя перед собой: — А я — что такого... я, может, и не против. Думаешь, я бы к тебе подошла, если бы ты мне не нравился...»

Марик прочистил горло. Можно сказать, мысленно засучил рукава. «Может, зажжём свет», — сказала Клава, вставая. Подошла к двери и щёлкнула выключателем. Брызнул свет над столом. Рюмки, чашки, тарелки с объедками. Она села рядом, зябко запахнула ворот халата на шее. «Тут такое дело. Мне сегодня нельзя».

¹ Стихи Якова Серпина.

«Почему?»

«Ну... войдёт кто-нибудь».

«А мы закрём дверь!» — сказал Марик.

«Всё равно нельзя. У меня краски идут».

Марик воззрился на неё.

«Ну, какие бывают у баб. — Вздохнув, оглядела стол. — Может, допьём?»

Она разлила сомнительный напиток по чашкам, вдумчиво выпила, и Марик, преодолевая отвращение, последовал её примеру.

«На-ка вот, закуси...»

«А ты?»

«Я не закусываю. Я, вообще-то, особо так не выпиваю. У меня папаня пил по-чёрному, сгорел от водки... Я ведь дальняя. Пермьячка, слышал про таких?»

«Коми?» — спросил он.

«Во, сразу видно образованного. Коми-пермяцкий округ, я ведь тоже грамотная. Семилетку окончила, надо куда-то дальше подаваться. Наши девчонки все разъехались, кто в Молотов, кто куда. А я в Москву на производство завербовалась. Сперва в Мытищах, потом ещё в одном месте. Теперь вот здесь...»

«Ну, и как?» — спросил Марик, чтобы что-нибудь сказать.

«Да никак. Мотаюсь по общежитиям».

Она остро взглянула на него, непонятно, в глаза или мимо.

«Я тебе неправду сказала. Насчёт кровей...»

«Они, наверно, сейчас придут».

«Кто, девчонки? Они у меня порядок знают. — Она добавила: — Ты не горюй».

«А я не горюю», — сказал Марик уныло.

«Ну, я в том смысле, что... — Вздохнула. — Хочешь меня поиметь, да?»

Её ладони коснулись халата, нащупали и приподняли то, что не могло быть ничем другим, как грудью.

«Тогда... — сказал он, запинаясь, — в чём же дело?»

«В чём дело... Да ни в чём. Постой, я ещё не досказала. Я тебе что хочу сказать. Ты пьяный, забудешь. И хорошо что забудешь. Ну, в общем, ни на какой фабрике я не работаю. Спасибо, добрые люди нашлись, не выгоняют. Конечно, за деньги. В Москве без денег ни шагу, а где их взять. За станком много-то не заработаешь. А я молодая, мне и того хочет-

ся, и того, и чтобы надеть что-нибудь приличное, и покушать. Я пирожные страсть как люблю. Трубочки с кремом: когда-нибудь пробовал?»

«До войны, наверно».

«Ерунда всё это. Ты меня не очень-то слушай, могу и сбрехнуть. Ну, в общем, — проговорила она, вертя в руках пустую чашку, — не хотела тебе говорить, уж больно ты...»

«Что я?»

«Беззащитный. Потом думаю, нехорошо обманывать. А там уж как получится. Ха-ха! — Она вдруг рассмеялась, встала из-за стола. — Друг ты мой любезный. Али не догадался?»

Она встала. Она открыла дверцу шкафа, вынимала и разглядывала платья на плечиках.

«Не догадался, — бормотала она, словно пела тихонько про себя, — не догадался... Да они тебе всё равно скажут. Или не придёшь больше?»

Натянула на руку шёлковый чулок, нет ли дырки.

«Уеду. Брошу всё и уеду. У меня сестра двоюродная в Молодове... Авось там не пропаду... Надоели вы мне все!»

«Кто надоел?»

«Все. Погуляю ещё немного, и... Ну чего смотришь, — сказала она грубо, — баб не видал, что ли... Мне переодеться надо. А вообще-то можешь смотреть, чего там. Смотреть-то нечего...»

Она стояла перед зеркальной створкой, вышла на середину комнаты, в проход между койками, покачиваясь на высоких каблуках.

С торжеством: «Ну, как?».

На ней было короткое цветастое платье с широкими накладными плечами, в ушах клипсы, губы в кроваво-красной помаде, короткая стрижка заколота сверху нелепой яркой прищепкой.

Вытащила откуда-то шубку не шубку, накидку не накидку, из рыжего меха.

«Ты вот что. Ты меня не провожай».

ЗАБЫТЫЙ БРАТ, ИЛИ РАДОСТИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок, продекламировал Фёдор Владимирович Данцигер, озирая с крыль-

ца убогую окрестность. Однако на скуку он не жаловался и вообще не имел оснований быть недовольным своей жизнью. Философскую базу возвращения на родину он построил, сражаясь за истину в рядах евразийства еще в двадцатые, еще в тридцатые годы, что же касается материальной базы, то на деньги, какие удалось скопить и привезти с собой, он отремонтировал избу, переложили печь, покрыли крышу железом, повесили новые наличники. Завязались знакомства, начальство не тревожило — возможно, получило указания, а главным образом оттого, что было польщено: осуществив старинный, славный завет опрощения, завет дворянства и русской интеллигенции, облачившись в толстовку, а то и просто в длинную, до колен, подпоясанную рубаху, в замызганных сапогах, в народном картузе, с сивой развевающейся бородой, Фёдор Владимирович стал легендарной личностью в округе. Кто он и откуда, толком никто не знал, известно было — большой человек, а в то же время негордый, не зазнаётся, умеет уважить каждого. Разнёсся слух, что он здешнего корня, чуть ли не бывший помещик, но и это лишь прибавило славы Фёдору Владимировичу. Случалось, и районные чины заезжали к нему на поклон. И всё шло чинно, путём, не торопясь, как оно шло спокон веку в глубинной, невозмутимой, как морское дно, России.

По утрам Фёдор Владимирович, голый до пояса, делал гимнастику в огороде, затем, пофыркав в сених перед рукомошником со студёной водой, утёршись грубым серым полотенцем, напяливая рубаху, входил в избу, крестился на образа в красном углу, отрывал листок календаря, подтягивал гири часоводиков и, пыхтя, сопя, протискивался за чисто выскобленный стол к самовару. Кто-то тем временем деликатно стучал в окошко. Марья Кондратьевна отмахивалась: «Небось подождёшь... успеется». Это ходил по улице вдоль домов колхозный бригадир, сзывал на работу. Она была женщина крепкая, степенная; где-то в городе проживали её взрослые дети, сама же она как бы остановилась между сорока и шестьюдесятью годами — ни единого седого волоска, на щеках тёмный румянец. По субботам, в полутёмной, пахнущей сырым гнильём, мылом и берёзовым листом деревенской бане оба являли зрелище ветхозаветной супружеской пары: она невысокая, белокожая, крупнозаядая, с маленькой отвисшей грудью и крепкими плечами — и он, большой, пузатый, поросший седым волосом, с кре-

стиком между грудями, с остатками белых кудрей вокруг голого черепа, с фамильным мясистым носом и могучей шеей, всё ещё пышущий здоровьем и жизнелюбием. Баня в представлении Фёдора Владимировича была не просто гигиеническим мероприятием, баня — символ вечно обновляющегося бытия, залог здоровья мистического народного тела. В колхозе Фёдор Владимирович не числился, да и странно было бы гнать его на работу, Марья же Кондратьевна, убрав со стола, отправлялась часика на два, чтобы не придирались, зато усердно и долго копалась у себя в огороде, на четырёх сотках приусадебного участка.

Фёдор Владимирович из всей своей парижской библиотеки сохранил лишь горячо любимого им Пушкина, семейную Библию, «Pensées»¹ Паскаля, несколько разрозненных томов «Истории России» Сергея Соловьёва, «Das Antlitz Rußlands und das Gesicht der russischen Revolution»² с витиеватой дарственной надписью автора, Фёдора Августовича Степуна, старого друга и непримиримого оппонента, товарища по судьбам, по изгнанию... Да ещё томик возлюбленного Новалиса, да ещё Ницше, теперь совершенно ненужного. Везти книги с собой было небезопасно, — всё-таки, знаете ли, атеистическое государство, — он переправил их с помощью приятеля-дипломата, но для работы, в сущности, не требовалось ничего, необходимые цитаты он помнил наизусть.

Весь план книги был в голове. Фёдор Владимирович сидел за столом среди вороха листков, из которых немногие были исписаны сплошь его длинным наклонным почерком, а большей частью представляли собой короткие разрозненные заметки, иногда три-четыре строки: ключевые слова, догадки, озарения, ответы воображаемому оппоненту; были даже странные чертежи, кружки и символы, магический масонский треугольник и два треугольника один на другом — щит Давида. Наконец, были рисунки. Немало бы подивился биограф, поломал бы голову, увидев листок с искусно выполненной пером и цветными карандашами дородной обнажённой дамой; ко лбу, к локонам, глазам, соскам, к ямке пупка и широкому лону тянулись стрелки, поясняя значение этих ориентиров; то было символическое изображение праматери Евы — она же София, Вечная Женст-

¹ Мысли (*фр.*)

² Лик России и лицо русской революции (*нем.*)

венность и Четвёртая ипостась; она же и православная Русь; таково было прозрение таинственной связи христианского тела России с космогоническим эросом.

Всё это, выношенное и обдуманное, теперь предстояло связать и свести воедино. Фёдор Владимирович Данцигер не был, конечно, столь наивен, чтобы рассчитывать на прижизненную публикацию своего труда. Но мало ли мы знаем творений русского гения, дожидавшихся десятками лет своего часа и в конце концов дождавшихся. И кто знает, не накопит ли выдержанное вино полный букет, не окажется ли книга особенно созвучной подрастающему поколению, племени младому незнакомому. Но прежде следовало набросать предисловие. *Благосклонный читатель, — писал Фёдор Владимирович, — возможно, помнит то место в “Мёртвых Душах”, где помещик Тентетников раздумывает над сочинением, которое — дадим слово Гоголю — “долженствовало обнять Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить её будущее”.* Было бы самодеянным, в наш век специализации и неизбежно связанного с ней дробления знаний, предлагать нечто подобное, однако надеемся, что труд наш не обманет ожиданий читателя, который *взыскует единой универсальной истины, ищет обобщающего слова, жаждет синтеза...*

В эту минуту (поглядывая в окошко между горшками цветов на деревенскую улицу со следами протарахтевшего трактора, на полуобвалившийся плетень, за которым, на той стороне, стоял никому не принадлежавший сарай и простиралась пустошь, некогда бывшая овощным полем) он подумал, что нигде, ни в постылой Франции, ни в околевшей под бомбами Германии не сумел бы исполнить свой долг мыслителя, патриота и христианина, — ни даже в российских столицах. Только здесь, на дне и в сердцевине. Здесь, Бог даст, он и окончит свои дни. Он вспомнил слова Гарденберга-Новалиса: человек есть источник аналогий во Вселенной. Вспомнил фразу Гёте о том, что, если следовать путём аналогий, то всё окажется в конечном счёте тождественным. И снова Новалис: когда физическое нисхождение по ступеням чувственного влечения достигает оргазма — совершается восхождение духа до экстаза. «Смысл и символика чувственности» — так должен был называться один из разделов имеющего явиться на свет всеобъемлющего труда.

Однажды он умрёт от разрыва сердца здесь, среди снегов. В жарко натопленной бане, на груди у Марьи Кондратьевны, в мягких, цепких объятиях родины, в смертной судороге, на высоте неслыханного наслаждения.

НЕКТО ГЕННАДИЙ

Он писал дальше.

Эта страна всегда вызывала у иностранцев удивление, недоумение, восхищение, озабоченность, а подчас и ненависть, и вражду; никто, однако, не оставался равнодушным к этой стране; и постоянство этих эмоций, беспокойное внимание, которое она привлекала к себе на протяжении веков, сами по себе наводят на мысль, что в смене эпох, в череде невзгод и триумфов Россия хранила в себе нечто таинственное, незабываемое и непоколебимое, некое ядро, великую надысторическую идею. Настало время раскрыть эту идею.

Ближе к полудню Фёдор Владимирович покидал рабочий стол, запахивался в плащ, больше похожий на армяк, и во всякую погоду, в зной и дождь, с палкой в руке, в широкополой ветхой шляпе отправлялся бродить по некошеным лугам. Шаггал по меже одичавшего поля, по шаткому мостику перебирался через тихую, тенистую речку, усаживался на старый пенёк где-нибудь на лесной опушке, у непросыхающей колеи. Когда он возвращался, хозяйка уже хлопотала у плиты. По субботам в полукруглом чёрном зеве русской печи, в «печи огненной», как шутил Фёдор Владимирович, полыхали берёзовые поленья, Марья Кондратьевна, с раннего утра на ногах, в рукавицах, в оранжевом зареве, сгребала длинной кочергой алые угли, отставив кочергу, отвернув лицо от жара, вдвигала внутрь противни с бледно-желтыми лоснящимися пирогами. Уму непостижимо, откуда всё бралось в обезлюдевшей, Богом забытой деревне. В полдень, воротившись из бани, румяный и убогатворённый, философ восседал за столом.

Приходил Геша, Геннадий, кем-то приходившийся Марье Кондратьевне — брат не брат, седьмая вода на киселе; «повадился», как она говорила; но Фёдор Владимирович был ему рад, охотно беседовал, больше говорил сам. Хозяйка ставила на стол блюдо с оранжевыми глыбами пирога с капустой, с печёнкой, с грибами, являлся на Божий свет пузатый графинчик, зелёный

лучок, хлеб из селпо, так называемый серый, нарезанный крупными ломтями; наконец, несомая обеими руками в чугунной сковороде, шипящая и журчащая яичница с салом. Опять же загадка: ни разу в далеких своих прогулках, проходя мимо человеческого жилья, Фёдор Владимирович Данцигер не слышал ни бляенья, ни хрюканья; откуда этакое яства?

Как видно, любознательный Геннадий питал особенную симпатию к Фёдору Владимировичу, тут начинались расспросы о Париже (тема, никогда и ни с кем не обсуждавшаяся), о француженках и французах, которых Геннадий называл «сифилистиками» (философ пожимал плечами), разглядывание книжек, фотографий, следовали подробные объяснения, что и как. Тут подвыпивший Фёдор Владимирович ощущал себя в двойной роли неоплатного должника перед народом и наставника нищих духом. Полный вдохновения, цитировал Тютчева. *Эти бедные селенья. Край родной благословенья.* Сам Христос посетил эту землю. Так оно и шло; потом вдруг этот Геннадий пропал, больше не появлялся, а немного спустя, в одно тёплое осеннее утро, как раз когда Фёдор Владимирович в шляпе и армяке собрался на прогулку, послышалось стрекотанье мотоцикла. Человек в шлеме и крагах остановил свой экипаж, пригласил сесть в коляску. Фёдора Владимировича Данцигера вызывали в районное отделение милиции. Отделение милиции, зачем? «А насчёт прописки». — «Какая прописка? Меня в сельсовете заверили...» — «То сельсовет, а то район. Да вы не беспокойтесь, сегодня же и вернёмся». Он не вернулся ни сегодня, ни на другой день, книги его забрали, бумаги сожгли, Кондратьевне сообщили, что никто у неё не квартировал. Вообще никакого Фёдора Владимировича, как ей объяснили, никогда в природе не существовало.

ТОВАРИЩ ДАНЦИГЕР

Где причина, где следствие? Мы становимся жертвой дурной игры слов. Ибо следствие, если и происходило, то не было следствием, какое же это следствие, если всё решено заранее — задолго, может быть, до ареста. Причина же, если считать причиной негодяя Геннадия, тоже, если вдуматься, не была причиной; истинной причиной был сам философ, а из неё уже вытекал Геннадий, или вообще неважно кто. Приходится,

стало быть, пересмотреть правомерность этих понятий, — а лучше сказать, приходится отказаться от причинно-следственного образа мыслей.

Заблуждением, пережитком этого образа мыслей было бы думать, что крушение старшего брата стало причиной неприятностей для младшего, и таким же заблуждением будет обратный вывод — что гибель Фёдора Владимировича была следствием крушения Сергея Ивановича. Ибо на самом деле судьба Данцигера-младшего — или, как он теперь именовался, «товарища Данцигера» — невидимо и неслышно, как червь в яблоке, зрела в нем самом, дожидаясь своего часа, и никто этот час не мог предсказать.

Таинственна, причудлива судьба слов. Профессор Данцигер с удовольствием побеседовал бы на эту тему. Старинное слово, предположительно тюркского корня, завалывшееся на антресолях языка, зацвело новой жизнью после революции, *наше слово гордое — товарищ*; но как-то незаметно это цветение стало издавать недобрый запах; всё сильнее от него тянуло покойницей. И вот, наконец, оно съехало в разряд вокабул, которыми лучше не пользоваться. *Товарищ Данцигер, некоторые товарищи...* — тут слышалось нечто отнюдь не товарищеское, несло чем-то другим, и те, к кому с этим словом обращались, чуяли в нём недобрый знак. Заседание, на котором присутствовал только один беспартийный товарищ, увы, это был он сам, открылось кратким вступительным словом секретаря комитета. Слепой гипсовый лоб в углу на тумбе, вода в графине, портрет Вождя на стене — все как положено; и Сергей Иванович в качестве лица всё ещё уважаемого помещался тут же за председательским столом, с торжественно-насупленным видом, как на рыбалке или как за красным столом президиума, в предвкушении своей миссии, чтобы подняться и объявить о том, что в президиум поступило предложение избрать почётный президиум во главе с... — и шквал рукоплесканий. *Разрешите считать ваши аплодисменты знаком согласия.* И снова овации. Но сейчас никакого почётного президиума избирать не предполагалось, и неясно было, для чего понадобилось присутствие профессора Данцигера.

Секретарь партийного комитета выступил в свете недавних решений, указал на необходимость борьбы с проявлениями низкопоклонства перед Западом, попытками принизить все-

мирно-историческое значение великой русской литературы. Пока всё шло на верхних регистрах общих фраз, можно было предположить, что заседание созвано с формальной целью откликнуться на историческое постановление. Постепенно он подъехал к главному. Всё ещё не говорилось, в чём именно состоит это главное, речь напоминала игру в «холодно» и «горячо», и слушатели угадывали постепенное повышение температуры. Ага... вот в чём дело. Вопрос стоит, сказал секретарь, о ненормальной обстановке, сложившейся на кафедре западной литературы. Кто хочет высказаться?

De te fabula narratur¹, сказал себе профессор Данцигер, при этом он моргал, как филин, и поглядывал на сидящих. Можно ли было этот «вопрос», вообще *всё это* считать неожиданностью? Едва ли. Верный все той же, изжившей себя традиции каузального мышления, он и теперь подозревал за кулисами спектакля интриги завистников. Так оно и есть, — Сергей Иванович почувствовал странное удовлетворение, — парторг обратил выжидательный взор на сидевшего в первом в ряду стульев аспиранта N, тот поспешно поднялся, начал было говорить, но секретарь прервал его, мягко сказав: «Прошу лицом к товарищам», и повернул жестом к присутствующим. Аспирант, личность малоинтересная, не пользовался симпатиями заведующего кафедрой, так что налицо был личный момент. Присутствующие так и подумали. Аспирант был уже не молод, лысоват, изглодан жизнью; приехал из Тьмутаракани, проживал в общежитии с женой и ребёнком, мотался в поисках молока и выстаивал очереди в детской поликлинике, — а тут розовые щечки, холеная борода, дворянский прононс, тут подчеркнутая учтивость, на самом деле издевательская, хуже всякого хамства; чему же удивляться? Аспирант успел пробыть в аспирантуре положенный срок без результата, получил продление срока, сменил тему диссертации, снова ничего не сделано, и ведь не скажешь, что лентяй, просто ничего не получалось. Становилось ясно, что держать его на кафедре дальше невозможно, в неких инстанциях возникла заминка, невидимые руки, державшие его, разошлись как бы в недоумении, встал вопрос о направлении по путёвке партии в колхоз, председателем. Но тут представился последний шанс. Аспирант N прочистил горло, заглянул в заготовленную

¹ О тебе сказка сказывается (*лат.*).

бумажку. Заведующий кафедрой Сергей Иванович с тусклым любопытством, открыв рот и как-то особенно часто хлопая глазами, взирал на стоявшего к нему спиной аспиранта, который нёс околесицу, мямлил невразумительное, однако постепенно приободрился, хотя всё ещё обращался неизвестно к кому. Сергей Иванович слегка поднял брови, уловив, наконец, то, чего следовало ожидать, чего ждали и другие, а именно, что речь шла конкретно о нём; аспирант назвал его «товарищ Данцигер», а о себе говорил: «мы, молодые учёные», и этим, собственно, всё уже было сказано и доказано; всё, что последовало за этим, — о горячей благодарности парткому, который вовремя обратил внимание, о том, что старшие товарищи поправят выступающего, если он в чем-то неправ, но что совесть коммуниста требует от него сказать правду, — было ритуальным украшением, необходимым гарниром к товарищу Данцигеру. Великое достоинство ритуала состоит в том, что он освобождает участников от сомнений; так игра на сцене не возлагает на актёров ответственности за содержание пьесы.

Однако... однако хорошая пьеса всегда включает в себе элемент неожиданности. Покончив с аспирантом, секретарь парткома оглядел собравшихся, очевидно, рассчитывая на других добровольцев. Собственно, второй доброволец был предусмотрен. Предполагалось, по сценарию, что выступит с критикой своего шефа доцент Капустин. Но он вдруг заболел.

Поднял руку член бюро Юрий Иванов. Секретарь парткома был приятно удивлён, кивнул, показывая, что одобряет инициативу. Иванов неуклюже поднялся с места, снял пенсне, надел, оглядел присутствующих. И произнёс что-то несуразное. Секретарь не верил своим ушам. И никто не верил. Иванов сказал, что не понимает, в чём дело.

Что значит не понимает, сухо спросил секретарь.

Иванов сказал, что борьба с низкопоклонством нужна и необходима, всем известно значение великой русской литературы. Тут ожидалось, что он добавит: и самой передовой в мире советской литературы. Он не добавил, видимо, забыл. Мировое значение, повторил Иванов. Но ведь кафедра-то — не русской, а западной, романо-германской литературы, почему же профессор Сергей Иванович, «которого мы все знаем...» Он хотел продолжать, парторг смотрел на него длинным парализующим взглядом. «Конечно, знаем!» — веско сказал парторг. «Я как

коммунист...» — начал было снова Иванов, но секретарь комитета больше на него не смотрел. Увидев, что Иванов всё ещё стоит, он сказал: «Вы можете садиться». Иванов впился в него взглядом, видимо, сдерживая нахлынувшую ярость, секретарь вздохнул и оглядел стены комнаты поверх голов. Не хочет ли ещё кто-нибудь из товарищей высказаться? Никто высказаться не пожелал. После скучного выступления аспиранта N эпизод с Ивановым развлек присутствующих. Все молчали. Сам Сергей Иванович безмолвно глядел на своего студента, слегка подняв седые брови, моргал глазами филина, непонятно было (и сам не мог понять), одобрял он или осуждал неожиданный демарш. Потом опустил голову, чмокнул губами, как бы сказав: «Так!», сокрушённо кивнул и неслышно побарабанил пальцами по столу.

Предполагалось, что наступила его очередь. Секретарь повернётся к Сергею Ивановичу (тот всё ещё пребывал в задумчивости) и произнесёт: «Может быть, профессор Данцигер сам объяснит...» И все как будто уже услышали его покаянное слово. Вот он поднимается... то есть еще не встал, но сейчас поднимется и скажет, что с большим вниманием выслушал критику товарищей и коллег. Строго, с принципиальных позиций, наедине со своей совестью проанализировал свои ошибки. Сейчас... да, сейчас парторг предоставит слово для выступления товарищу Сергею Ивановичу Данцигеру, профессор Данцигер встанет и негромко, с достоинством прочистит голос. И, Бог даст, всё обойдётся. Профессор, однако, не встал и не просил слова. Вообще это был день сюрпризов. Секретарь, выдержав паузу, траурным голосом сказал, что обязан довести до сведения товарищей — в партком поступили сведения, проливающие новый свет.

Как теперь стало известно, профессор Данцигер долгие годы скрывал, что у него имеется брат белоэмигрант, окопавшийся в Париже, активный противник народной власти. Некоторое время тому назад он заявил о своём якобы раскаянии. Советское правительство разрешило ему вернуться на родину. Как теперь стало известно, этот человек, по происхождению немец, с которым профессор Данцигер все эти годы находился в постоянном контакте, разоблачён как агент одной из иностранных разведок. Профессор Данцигер скрыл и это. Думается, что необходимо — как минимум, добавил секретарь, — поставить вопрос об освобождении Данцигера от обязанностей заведующего кафедрой и его дальнейшем пребывании в университете.

О ЧЁМ ОН ДУМАЛ. О ЧЁМ ВООБЩЕ ДУМАЮТ ЛЮДИ

Для Софьи Яковлевны это будет страшный удар, ведь она ни о чём не подозревает. Надо было предупредить. Но о чём, разве я ждал чего-либо подобного? — думал профессор Данцигер.

Ждал, конечно. К этому шло... Вопрос в том, следствие ли это общей обстановки. Или просто махинации. По-видимому, и то, и другое. Интриги, зависть, закулисная возня — всё это было и будет всегда, а уж в академическом мире... — я-то этот мир хорошо знаю. Но обстановка поощряет. Обстановка вдохновляет вот таких ничтожеств, — он взглянул на аспиранта. Боже мой, разве я ему помеха? Наоборот, и в этом всё дело. Я для него спасательный круг. На мне он может выплыть, во всяком случае продержаться на плаву.

Профессор Данцигер прислушивался к тому, что говорили выступавшие, сначала секретарь, потом этот жалкий, внушающий сострадание, которого навязали ему в аспиранты, — прислушивался, почти не слушая, улавливая ключевые слова, как слепой идёт дорогой своих дум и забот, движениями посоха контролируя ситуацию. Профессору Данцигеру стало скучно: если уж на то пошло, он всё знал заранее. Хоть и надеялся до последней минуты, что «это» его минует. Что — «это»?

Классовая ненависть, ответил он сам себе, *c'est le mot*¹. Карлхен был прав. (Так он про себя называл некоего обобщённого Маркса.) Классовая ненависть, размышлял профессор Данцигер, есть необходимое следствие классовой солидарности, ведь в конце концов секретарь и этот аспирант — одного поля ягоды. Ненависть варваров к эллину, к касталийцу.

Нет, мы не зря (кто это — мы? Мы, старая профессура, те, кто остался. Кто хотел искренне сотрудничать с народной властью, да, народной, а вы как думали?), не зря признали правоту марксизма, ни в одной стране жизнь не давала столько доказательств этой правоты, как у нас. Спуститесь на землю! Жизнь проще, грубее, прямолинейней, чем вы думали. Пока вы там плавали в мистических облаках, как брат Фёдор. Когда же это я получил от Феди последний раз весточку, думал Сергей Иванович. Он прислал её с оказией...

¹ Вот именно (*фр.*).

Ах, какая неосторожность. Удивительно, но ему удалось поселиться недалеко от бывшего имения мамы. Мы оба молчаливо согласились, что нет необходимости поддерживать регулярную связь — по крайней мере, пока я заведу кафедру.

Монография почти готова, на русском языке ещё не было столь глубокой, столь обстоятельной работы об иенском кружке, — такое множество новых наблюдений, фактов, приведённых в связь и освещённых по-новому, такая точность и яркость портретов — поистине коронный труд его жизни. Да, уж это точно: не было и не предвидится, — он вздохнул, кивая своим мыслям. Разве что в Ленинграде Берковский. Но тоже, знаете ли. Новое поколение. Куда им, дай Бог, чтобы освоили азы. Так что придётся пока попридержаться. Пока вся эта муть осядет...

На докладе в Академии Сергею Ивановичу ставили в вину недостаток идеологического обоснования. И одновременно — как это ни комично — чрезмерную идеологизацию. Кто-то договорился до обвинений в вульгарном социологизме. Но, помилуйте. Развенчание шаблонов, пресловутой *poésie de la nuit et du tombeau*¹, а заодно и развенчание романтических представлений о самих романтиках — см., например, мой комментарий к Песне мёртвых у Новалиса — всё основано на серьёзном анализе, всё это, господа, наука, отнюдь не идеология. Во всяком случае, не та. От которой, кстати сказать (*Klammer auf, Klammer zu*²), вообще мало что осталось. Эта идеология попросту свелась к цитатам. Вам нужны цитаты? Ради Бога! Разве я не ссылаюсь в предисловии на... В сущности, война её добила. Да оно и понятно: старая легитимация обветшала, нужна новая. Да, подумал профессор Данцигер, надо было предупредить Соню, что этим пахнет, подготовить её... А может быть, надо было вообще уехать, тогда же, сразу после того, как выслали Федю. Тогда ещё было возможно. Нет, это смешно, да и что бы я стал там делать. То же, что другие. Нет, это смешно. Другое дело, нужна ли вообще какая бы то ни было идеология историку, в данном случае историку литературы. Не ведёт ли она к злоупотреблению историей. Скажем прямо, еретический вопрос; и тем не менее. Ага, снова о космополитизме. Намёк на мою фамилию? Господи, какой я немец? И что они знают о космополитизме — они извратили это слово. В устах Гёте оно звучало иначе.

¹ Поэзии ночи и могилы (*фр.*).

² Открыть и закрыть скобки (*нем.*).

Что и говорить, приятная неожиданность: ведь все думали, что этот фронтовик присоединится. Господи, неужели он не понимает. Бедный молодой человек. Теперь у него тоже будут неприятности. Ну-с, а теперь следующий номер нашей программы — покаянное слово г-на профессора. Между прочим, если вдуматься, то ведь они правы. На свой лад, конечно. Варвары правы по-своему. Прежняя легитимация себя изжила, нужна новая. И она может быть только национальной. Даже, если хотите, националистической. Пусть это делается топорно, но суть... Боже мой, разве я не доказал, что люблю Россию, когда отказался уйти в эмиграцию.

А-а, вот оно что. Только, ради Бога, сохранить спокойствие. Встать и сказать... что сказать? Он мне и слова-то не даёт. Всё равно как если бы сказали — у тебя неоперабельный рак. Даже ещё хуже. Бедная Соня. Они таки добрались до Фёдора. Чёрт его дёрнул вернуться. Что он, не понимал, какая это страна; что она провалилась, вслед за Германией, в какую-то другую историю — древнюю, среднюю или, может быть, ультрасовременную? Агент... нет, как вам это нравится? Это Федя-то, думал (или мог думать) профессор и без пяти минут академик Сергей Иванович Данцигер. Думал — или мог думать — и вечером, сидя перед молчащей Софьей Яковлевной, и на следующий, и через неделю, когда уже не оставалось сомнений, что ночью позвонят в дверь и скажут: «Проверка паспортов». Обычная формула. И предъявят ордер на арест.

И НАШИХ ПЕСЕН ЗВОНКИЕ СЛОВА

«Много чего было. Я, когда в Мытищах жила, совсем замаялась. Меня на шёлкопрядильную фабрику определили, в ночную смену, а туда ездить надо — полтора часа туда, полтора обратно. Ну, думаю, я тут помру, куда деваться? Представь, нашла одно место. Оформили мне увольнение, по болезни. Давай выпьем».

«Короче говоря, к людям пошла работать, к одному начальнику. Квартира, я тебе скажу, прямо дворец. Полы паркетные, полотёр приходит. Мебель вся из Германии. Три комнаты: в одной они двое, в другой парень ихний, а третья гостиная. Да ещё кладовка, я там и спала. Всё делала: и готовила, и убирала, и за бабушкой ухаживала. Наобещали мне три короба, прописку постоянную, то, сё. А зарплату не платят. Два месяца прошло, я

спрашиваю, как, мол, насчёт денег. Ах, ах, извиняемся, много расходов, вот муж получит, отдадим. Ладно, жду, ещё неделя проходит, другая, бабка мне говорит, а была как раз суббота: мы тебя отпускаем сегодня пораньше. С зарплатой задержались, ты уж прости, вот тебе за два месяца. Я говорю: спасибо. Приезжаю, мне девчонки говорят: а ты новость знаешь? Завтра реформа. Только это пока что секрет. Какая реформа? Денежная, один к десяти. И верно: наутро объявляют. А у меня получка на руках: что успеешь, покупай; а чего покупать, когда ничего нет. Или меняй, получишь с гулькин нос».

«В понедельник прихожу к ним, так, мол, и так, что же вы мне деньги выдали перед самой реформой. Ведь знали, что будет реформа. Нет, говорят, — нагло так, прямо в глаза, — ничего мы не знали. Ну хорошо, думаю, вы от меня так просто не отделаетесь. Говорю хозяйке: у меня к вам разговор. Какой разговор? Женский, говорю».

«Вышли в другую комнату, я говорю: так и так, давно собиралась вам сказать, я в положении. Поздравляю, говорит, а кто же счастливый отец? Я, конечно, мнусь, вроде бы стесняюсь сказать. Сынок ваш, говорю. Да как это, да не может быть, да ведь он несовершеннолетний. Какой, говорю, несовершеннолетний; он мне проходу не давал, а я девушка слабая. А ты уверена? Тебе надо сходить к врачу. Была, говорю, и справка есть, десять недель. Может, аборт сделать? Мы поможем. Нет уж, говорю, аборт делать не буду. У нас, говорю, за аборты сажают. И вообще: первую беременность прерывать нельзя, ещё бесплодной останусь. Да этого не может быть, да это не он! А вы, говорю, своєю сыночка ещё не знаете. Хотите, позовите его, только, говорю, он все будет отрицать. Кто же это станет признаваться. Ну, вот видишь, — она мне говорит, — нет у тебя никаких доказательств. Есть, говорю. Мне врач сказал, можно сделать анализ на отцовство. В общем, наговорила ей. Заплатили мне отступные, новыми деньгами, рады были от меня отделаться».

«Давай за именинницу. Я ведь именинница сегодня. Угадай, сколько мне лет, ни за что не угадаешь».

«А то раз чуть замуж не вышла. Это уж потом, когда сюда перебралась. Смех один, глупая была. Подкатился ко мне однажды такой из себя видный, в шляпе, сразу видно иностранец. По-русски говорит нормально. Я давно вас заметил, только не решался подойти. А чего, говорю, ко мне все подходят. И так на-

гло ему: хотите, дескать, получить удовольствие? Он на меня смотрит и говорит: не надо. Не надо так говорить. Я по вас вижу, вы не такая. А какая же? — спрашиваю Я, говорит, давно за вами наблюдаю. Спасибочки, говорю, вы что, из милиции? Да нет, как вы могли подумать. Я вообще-то приезжий, из-за границы. А по-русски так хорошо болтаете. А у меня, говорит, бабушка была русская, она меня вырастила».

«В общем, разговорились. Он мне так понравился. Даже не потому, что он такой красивый. Уж очень со мной хорошо разговаривает, уважительно. Глупая была. В общем, такая история, хочешь, расскажу. Ну давай, Маркуша, выпьем. Вон салцом заешь».

«Он мне и говорит: хочу продолжить с вами знакомство. Только мне не хочется, чтобы вы тут ходили. Ну, думаю, ёлки-палки, послал Бог ухажёра. А я, говорю, девушка свободная, хочу, гуляю, никто мне не запретит. Но ведь запрещено, говорит. Ага, так ты всё-таки мильтон, так бы и сказал. Нагло так говорю ему. Он молчит. И голову опустил. Потом говорит: перестаньте паясничать. У вас, наверно, есть покровитель. Есть или нет, говорю, это не твоё дело. Хочешь со мной идти, так пошли. За раз, говорю, столько-то, а если подольше, то столько. А нет, так и нечего лясы точить, вали откуда пришёл».

«Прямо так ему и говорю. Он посмотрел на меня, ничего не ответил. Повернулся и пошёл. И так мне вдруг стыдно стало, он-то ведь со мной по-хорошему. Сама не знаю, что делать, догнать, что ли. Вижу, он свернул к этому, ну, который там стоит. К памятнику. Догнала; говорю ему, вы меня простите, я необразованная, жизнь, говорю, такая грубая, кругом одно хамло. Это верно, говорит, жизнь у вас нелёгкая. А вы откуда, вообще-то?»

«Ну, я ему рассказала, так, мол, и так, приехала с Урала. А как вас зовут? Клава, говорю, Клавдия; а вас? Знаете, говорит, здесь холодно, — а мы сидим на скамейке, — вы легко одеты. Может, зайдём ко мне, я тут рядом живу. Я смеюсь, ну вот, говорю, чего ж вы сразу не сказали».

«Тебе не скучно? Хочешь, потанцуем, как тогда. Ты у меня сегодня единственный гость. Я девам так и сказала: мы лучше с вами другой раз отпразднуем, а сегодня вечером я хочу быть вдвоём с Маркушей».

«Короче говоря, он меня тащит прямо в “Метропóль”. Нет, говорю, вы уж не обижайтесь, нам туда ходить не положено. Я говорю, меня туда всё равно не пустят. По мне видно, говорю,

кто я такая. Нет, ты не такая. Давай, если не возражаешь, будем на ты. Вошли мы, а там внутри так шикарно. Швейцар стоит, прямо генерал. Мой Гарри — его Гарри звали, а фамилию я так и не узнала — этому швейцару что-то сказал, тот на меня глазом зырк и ни с места, стоит, весь в позолоте, в фуражке, штаны с лампасами. В общем, поехали на лифте, зеркала, сама себя не узнаю. Он, оказывается, живёт там в номере».

«Я спрашиваю, мне сразу раздеваться или как. Так нет, он на меня серьёзно так посмотрел и говорит: я хочу, чтобы ты поняла. У меня к тебе совсем другое отношение. Мы поужинаем, говорит, а потом я тебя отвезу домой, ты где живёшь? В общежитии. Ну вот, отвезу тебя в общежитие».

«Вижу, он что-то мнётся. А тут вдруг стучат в дверь. Я перепугалась. Не беспокойся, говорит, лучше вот пододвинь стол сюда к дивану. Сам подходит к двери, а там официант с подносом. Гарри ему чаевые в зубы, то есть я хочу сказать — в карман, такой кармашек на груди, специально для этого, взял у него поднос, спасибо, говорит, мы сами управимся. Мне говорит: накрывай на стол, будь хозяйкой. Да, — я что хотела сказать. Я там что-то делаю, расставляю тарелки, а он ходит взад-вперёд. А у него там вторая комната, спальня. И дверь открыта. Кровать, ну просто огромная, не то что вдвоём — впятером можно спать. Он всё ходит. Потом подошёл ко мне и говорит: нож надо положить справа, а вилку слева. И салфетку не просто так, а свернуть, и стоймя на тарелку».

«Вон там, говорит, цветы, поставь вазу на стол, посередине. Я, говорит, Клавдия, понимаю, ты сегодня осталась без заработка. Так вот я тебя прошу, не в службу, а в дружбу, возьми у меня, и суёт мне деньги. А вот — я ему говорю — заработаю, ты мне и дашь; сама смеюсь. И на кровать глазами показываю. Да, говорит, заработаю. И головой кивает. Нет уж, не будем. Не хочу, чтобы ты меня своим клиентом считала».

«Ну, в общем, что тебе сказать. Поужинали мы, пили, уж не знаю какие вина. Я даже захмелела. Он ни в одном глазу. И всё время серьёзный. А я, как дура, всю дорогу хохочу. Так мне стало с ним вдруг хорошо. Вот как с тобой. Только я так и не поняла, кем он работает. Вообще — кто он такой. Вроде бы и русский, и не русский. Может, шпион. Говорю ему: ты что, шпион? А сама думаю: да какое мне дело. Сидим мы так, время полночь, нет, думаю, нехорошо будет так просто смотреться. В общем,

снимаю с себя тряпки потихонечку. И, представь, мне даже самой интересно. Уж очень он мне понравился. Совсем почти осталась без ничего. Он на меня смотрит, руки сложил. Я к нему подхожу, галстук развязала, галстук на нём шикарный, сорочку растёгиваю, он всё сидит. Ну что, говорю, милый, так уж, говорю, положено. Целую его. Только, говорю, не думай, что это за деньги».

«Он говорит, я так не думаю. Только знаешь, Клава, лучше мы не будем. Я вижу, какая ты красивая, всё у тебя замечательно, так и сказал: замечательно. Но лучше мы сегодня не будем. Ты, говорит, не обижайся, прими душ, придёшь в себя, я тебя отвезу».

«Я ещё подумала, у него, наверно, что-нибудь не того; так ты не стесняйся, говорю, милый, я тебе помогу. Он усмехнулся и говорит: ты меня неправильно поняла. Не знаю, конечно, но женщины на меня не обижаются. Давай, Клава, — и повёл меня в ванную, — прими душ, а хочешь, полежи в воде, вот тут полотенце, простыня. Лежу я, как королева».

«Он позвонил, — там у него в номере и телефон, — вызвали такси, мы с ним сели и поехали. Он всю дорогу молчал. Я говорю: пусть остановится тут на углу, не хочу, чтобы ты видел, где я живу. В общем, стали мы встречаться. Я, конечно, с ним сошлась. Гулять перестала. Он мне подарков разных подарил. Думаю: а что же дальше? Бросит меня, наверно. И точно, однажды он мне говорит, у меня к тебе разговор».

«Я должен уехать. У меня были дела, теперь срок вышел, пора домой. А я ведь такая была дура, ничего не знала, никогда не спрашивала. Раз он сам не рассказывает. А тут не выдержала и спрашиваю, где же ты живёшь. Как где, говорит, в советской зоне. Что это за зона такая? А это, говорит, наша социалистическая Германия, неужели не слыхала. Я говорю, откуда мне знать, я тёмная. Он смеётся. Потом говорит: у меня к тебе, Клава, есть предложение. Поедем со мной. Как это, с тобой; да кто ж меня пустит. А ты, говорит, не беспокойся. Я всё обдумал, у меня большие связи, поедешь в гости как моя родственница, в общем, наговорил мне. Я говорю: у тебя там небось семья. Семья, да, — мать, сёстры. С женой я в разводе. Поживёшь у нас, понравится, мы с тобой поженимся. А не понравится, вернёшься».

«Я целую ночь не спала. Шутка сказать. Утром встала, перед зеркалом стою и думаю: куда ты такая мымра поедешь, что он в

тебе нашёл? Собрала кой-что, девчонкам говорю, я, может, не вернусь. А он меня предупредил, чтобы я никому ни слова. И я им ничего не рассказывала, говорю только — мне надо отлучиться. Может, на время, может, вернусь; а может, и насовсем; будущее, мол, покажет. Приезжаю на вокзал».

«А там на эти перроны, откуда поезда за границу уходят, туда не пускают, всё загорожено. Мы так с Гарри договорились: я буду в зале, возле Сталина. Стою, жду».

«Знаешь что. Не хочу я больше рассказывать. Что я всё болтаю. Соловья баснями не кормят. Лучше с тобой потанцуем, как тогда, ты ведь научился, да? А чего там учиться-то. Я вот и патефон принесла. Сейчас поставлю».

Люблю, друзья, я Ленинские горы. Там хорошо встречать рассвет вдвоём!

«Ну чего рассказывать. Жду; целый час прождала. Потом думаю, дай-ка я всё-таки расписание погляжу. Нашла расписание. Вижу: Берлин. Отправление девять сорок пять. А сейчас уже одиннадцать. Ну, и пошла себе назад в общежитие. Вот так, друг любезный. Пошла назад не солоно хлебавши. Иду, слёзы утираю. Эх, думаю... Да я его не виню. Сама виновата. И чего это я размечталась?»

Мы вспомним наши годы молодые и наших песен звонкие слова.

«Да что это за песня, ни фокстрот, ни танго! Постой, я другую пластинку найду. Маркуша... Дай-ка я сама. Сама всё... Посмотрю на тебя, какой ты есть. Чего это ты стесняешься, как девочка. А ты что думал, даром я тебя, что ль, позвала... Х-ха, ха! Я выпивши, ты не обращай внимания. Я тебе сейчас всё покажу, что и как... Давай, давай. Никто не войдёт, не беспокойся, дай-ка я... У них свои дела. Ну, хочешь, мы свет потушим. Я только сейчас на минутку; ты не смотри. Ну вот, а теперь можно».

ЗАГАДОЧНЫЙ РАЗГОВОР В НОМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ «МЕТРОПОЛЬ»

Человек со светлым невыразительным лицом, в серой шляпе, в роскошном плаще из габардина, прошагал мимо кинотеатра «Востоккино», пересёк площадь перед стеной Китай-города и оказался перед другим кинотеатром и входом в отель.

Дом мог напомнить ему здания эпохи грюндерства. Два фасада с затейливыми балкончиками выходят на площадь и на Охотный ряд, высоко наверху, под крышей — потемневшие плиточные панно, это уже югенд-стиль: ангелы, демоны, оливковые небеса. Человек вошёл в гостиницу.

Зеркальный лифт вознёс его на шестой этаж. Он направился было к своему номеру. Но передумал, повернул в другой коридор, там нашёл дверь и постучал костяшками пальцев. Ему открыли. Он расстегнул плащ, отшвырнул шляпу и плюхнулся на диван-канapé. *Na wie geht's*¹, спросил он.

«Завтра уезжаем», — был ответ.

Он рассеянно кивнул.

«Ужасно, — сказала Сузанна Антония. — Мама его разыскала».

«Also?»

«Also nichts². Это молодой парень, студент. Инвалид без ноги. Мама очень разочарована».

«Разочарована, чем?»

«Разговора не получилось».

«Этого надо было ожидать. — Он пожал плечами. — Не понимаю, зачем ей это понадобилось».

«Я тоже не понимаю».

«Надо было её отговорить».

«Это невозможно. Ты же знаешь мою маму».

«Тебе придётся написать отчёт».

«Я знаю».

«Подробный: как и что. Где встретились, и так далее».

«Можешь мне не объяснять. А ему это не повредит?»

«Это отчасти зависит от того, что ты напишешь».

«Он мне понравился», — сказала Сузанна Антония.

«So?»³

Человек сбросил плащ, подошёл сзади и обнял её; оба стояли перед зеркалом: элегантный господин в дорогом костюме, превосходно выбритый, с волнистыми русыми волосами, правильными чертами лица, ни дать ни взять — ариец, и высокая длинноногая девушка.

¹ Что новенького (*нем.*).

² Ну и как? — Да никак (*нем.*).

³ Вот как? (*нем.*)

«О! это уже что-то новое», — глядя в зеркало, сказала она.

«Ты так думаешь?»

«Может, не надо?» — спросила она, с любопытством глядя, как пальцы мужчины в зеркале возились с пуговками, расстегнули и спустили с плеч блузку.

Дальнейшее оказалось затруднительным, и она сама быстро и ловко отколупнула пуговку бюстгальтера на спине.

Теперь юбка. Оба сидели на диване. Игра продолжалась некоторое время, он привстал и перенёс её ноги в чулках на диван. Соня полулежала. Её куда-то несло, она смотрела и не смотрела, как мужчина медленно провёл ладонями по её ногам от коленок и выше. Но тут что-то случилось.

Упало напряжение тока в сети. И, чтобы сохранить видимость того, что её всё ещё домогаются и она сама решает, быть тому или не быть, — хотя на самом деле от неё уже мало что зависело, — она сбросила ноги с дивана.

«Das reicht!»¹

Он ничего не ответил; наступила пауза.

«Ты же сам не хочешь».

Прозвучало ли это примирительно или осуждающе?

Человек стоял у окна. Сузанна Антония подумала, что между ними никогда ничего не было и, очевидно, не будет. Она подумала о том, что видеть в женщине исключительно сексуальный объект — типично буржуазный взгляд. Хотя... когда тобой пренебрегают как женщиной, это тоже обидно. Это даже оскорбительно. Сузанна Антония не считала, что коммунистическое отношение к женщине как к товарищу несовместимо с постелью, но её собственный опыт в этой области был невелик и случаен. Она была слишком занята ответственной работой, чтобы уделять много внимания так называемой личной жизни. Следствием была несвойственная ей робость. Она — придётся это признать — мало занималась своей внешностью. Может быть, подумала она, всё дело в том, что она слишком высокого роста. Долговязые девушки не пользуются успехом. В моде полнотелые славянские девахи или субтильные красотки с длинными локонами и высоченным коком, как у Дины Дарбин. Она поспешно убрала с глаз подальше свой крошечный бюстгальтер, сунула в шкаф скомканную блузку — белый флаг сдачи на ми-

¹ Всё, хватит! (нем.)

лость победителя, который, однако, не пожелал воспользоваться капитуляцией. Плотно запахнулась в домашний халатик и завязала пояс.

Она спросила себя, — конечно, в шутку, ибо стеснялась недостойных мыслей, — а если бы дело дошло до логического конца, если бы она побежала, как бы спасаясь, в спальню. В конце концов, мы взрослые люди — какую позу предпочёл бы этот Гарри в постели? Между ними никогда ничего не было. А могло бы быть.

Человек по имени Гарри, — хотя, возможно, его звали иначе, — не уходил, габардиновый плащ, одежда дипломатов и ответственных работников, свесился со стула на пол.

«Я тоже отправляюсь, — сказал он. — На той неделе».

«Дела?» Он вздохнул, провёл рукой по волосам. Кивнул, но не ей в ответ, а своим мыслям.

«Они там намерены провозгласить своё государство. Все три зоны вместе».

«Когда?»

«Месяца через три. Теперь наш ход».

«Ты думаешь, восточная зона тоже будет...?»

«Это дело, собственно, давно решённое».

«А ты?»

«Что — я?»

«Я хочу сказать, твоё положение как-нибудь изменится?»

«Не слишком. Буду заниматься тем же самым».

«Оперативной работой», — заметила она полувопросительно, взглянув на него мельком, и почувствовала, что вялый разговор упёрся во что-то другое.

ГОСТИНИЦА, ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Должен тебе сказать, — проговорил он, глядя в окно, — о меня совсем не этим голова занята».

Вот как; а чем же, спросила она, несколько сбитая с толку. Он снова сел на диван, поднял с пола шляпу и стал рассеянно чистить её рукавом.

«Не хочется уезжать?»

«Если начистоту, — человек усмехнулся, — нет, не хочется».

«Ну, это понятно, — возразила она. — Я и сама...»

«Да, конечно... Но, видишь ли, дело в том, что у меня...»

Прежде чем он договорил, инстинкт мгновенно подсказал Соне Вицорек его ответ. «Это, конечно, сугубо между нами. У меня тут появилось одно знакомство». Так и есть: женщина, как же иначе. Сузанна Антония испытала смесь стыда, лёгкого презрения и обиды. Ach was¹, равнодушно возразила она, чтобы что-нибудь сказать.

«...довольно странное».

«Деловое?»

«О, нет. — Снова летучая усмешка. — Совсем даже не деловое».

«Eine russische Liebschaft?»

«В этом роде. Ein Flittchen»².

«Вот как!» — подняв брови, сказала Соня Вицорек.

«Боюсь, буду по ней скучать».

«И давно?»

«Давно ли я с ней знаком? Да уже месяца два».

«Если не секрет, — спросила Соня, — где ты её подцепил?»

«Да нигде. Здесь, недалеко от отеля».

«Кто она такая?»

Он пожал плечами. «Я тебе уже сказал. Живёт в рабочем общежитии. Что-то есть в ней такое. Жалкое, что ли».

«Это тебя и привлекло?»

«Может быть. — Подумал и сказал: — Не только. Пожалуй, ещё что-то. Я увидел её как-то раз. Потом снова увидел. Ты будешь смеяться, но мне показалось, что это та самая женщина...»

«Frau meiner Träume»³.

«Meinetwegen»⁴.

«Которой тебе не хватает?»

«Можно сказать и так».

«Это всегда так кажется, — сказала Сузанна Антония. — Сколько же ей лет?»

«Не знаю. Лет двадцать — может, чуть больше. Может быть, двадцать пять».

«Наверное, все тридцать».

¹ Да неужто. (нем.)

² Интрижка с русской? — С уличной девочкой. (нем.)

³ Девушка моей мечты (фильм с Марикой Рёкк).

⁴ Если угодно, да. (нем.)

«О, нет».

«Красивая?»

Он поджал губы, покачал головой.

«Ты, конечно, не сказал ей, что уезжаешь?» — заметила она, уже не испытывая ничего, кроме досады. Своего будущего мужа она представляла себе товарищем по общему делу, по партии, преданным, чуждым всякой сентиментальности, высоким — примерно такого роста, как Гарри. Но не исключено, что её избранник будет русским. Конечно, он будет русским. Это совсем другой народ, не то что немцы. Будут ли они жить в Москве? Или в демократическом Берлине?

«Ты ей сказал?»

«Ещё нет», — сказал человек у окна.

«И не надо говорить».

«Это будет unfair»¹.

«С твоей работой... Не хватает только, чтобы её ты потащил с собой».

«Да. Не хватает».

«Это всё равно невозможно».

«Doch², — сказал он, — всё возможно».

«Что ты там с ней будешь делать? Извини меня, — пробормотала Соня, — раз уж ты сам рассказал. Я хочу тебя спросить...»

То, что произошло здесь в номере между ними полчаса тому назад, — вернее, то, что *не* произошло, — даёт ей право задать вопрос. Она испытывала жгучее любопытство. «Извини, — сказала она снова. — Вы, конечно, уже?...»

Человек слегка развёл руками.

«Ну и как она... на твой взгляд?»

Он возразил:

«Я понимаю, это может тебя задеть».

«Меня? Нисколько!»

«Ты спрашиваешь, какова она... im Einsatz sozusagen³. — Он светло взглянул на Соню. — Großartig. Besser kann's nicht sein»⁴.

«Понятно», — закусив губу, промолвила Соня Вицорек.

Человек закрыл глаза.

¹ Некрасиво (*нем.*).

² Отчего же (*нем.*).

³ Так сказать, в деле (*нем.*).

⁴ Изумительно. Лучше не бывает (*нем.*).

«Видишь ли... — проговорил он, глядя в окно, и можно было подумать, что если бы она сейчас вышла из комнаты, он продолжал бы говорить, он бы не заметил. — Я человек, не склонный к мистике... В ней что-то есть. Я понимаю, что каждый в таких случаях говорит о женщине: в ней что-то есть... Если бы дело происходило лет триста или четыреста тому назад, я бы сказал, что это ведьма!»

Он рассмеялся, бросил взгляд на Соню, но смотрел сквозь неё.

«Очаровательная ведьма. Нет, конечно. Она очень простая, добрая и искренняя девочка».

Соне хотелось задавать всё новые вопросы, только о чём?

«Она хорошенькая?»

«Ты уже спрашивала, — он смеялся, он, по-видимому, был счастлив. — Нет, хорошенькой её не назовёшь. В том-то и дело. Я ещё не встречал женщину, которая обладала бы такой магией. Что ты на это скажешь?»

«Скажу, что рехнулся».

«Я думаю, — проговорил он, — я на ней женюсь».

«Ого».

«Вот тебе и ого. — Он добавил: — Отчёт напишешь сразу по приезде».

ВРАГИ

Юрий Иванов, в трусах и майке, расставив ногу и протез, обеими руками сжимая рукоятку меча, стоял посреди комнаты с окном, выходящим во двор, в высоком старом доме на улице Веснина возле Смоленской площади, куда ещё до войны они переехали из другого дома. Тот, прежний дом был больше, монументальней, вообще был особенный дом, хоть и не такой знаменитый, как дом на набережной за Большим Каменным мостом, но тоже населённый непростыми жильцами: со своим детским садом, прачечными, распределителем дефицитных продуктов, с комендатурой и вооружёнными вахтёрами; само собой, и жили там не в коммуналках, а в отдельных многокомнатных квартирах. К числу новинок и достопримечательностей принадлежал грузовой лифт для спуска мусора. Лифт открывался прямо на кухню. Это было чрезвычайно удобно. Семье в форме, в ремнях, в сопровождении коменданта, стараясь не

скрипеть сапогами, не вызывая обычного пассажирского лифта, дабы не тревожить соседей, — многие, впрочем, и так не спали, это была эпоха бессонниц, — выскочили из грузового лифта, выставив перед собой пистолеты и карманные фонари. Отец Юры вышел навстречу, заслоняя рукой от спящего света, он тоже не спал. Они торопились, обыск был произведён кое-как. Дом с вахтёрами в скором времени пришлось покинуть, и этим, как ни странно, всё ограничилось. Об отце — он получил десять лет без права переписки — было известно, что он работает на секретной стройке оборонного значения, в Сибири или на Дальнем Востоке, и так продолжалось всю войну. До окончания срока оставалось два года, после чего полагалась ссылка, но ещё раньше ходили слухи о том, что после войны будут выпускать, и мать Юры Иванова очень надеялась, кто-то «там» ей будто бы даже пообещал. Пока некая более высокая инстанция не сообщила, устно и сугубо конфиденциально, — разговор происходил в кабинете, но о главном было сказано в коридоре. Отец не работал на Дальнем Востоке, он вообще нигде не работал и не уезжал. Он был расстрелян на другой день после приговора, через шесть недель после ареста. А как же все извещения, справки, которые она получала? Высокая инстанция пожала плечами. Юра демобилизовался, как уже говорилось, весной 1945 года. К этому времени они давно уже проживали на улице Веснина.

Осталась мать (втайне гордая своим дворянским происхождением), осталась библиотека, никому не нужные книжки в выцветших картонных обложках. Удивительным образом не был изъят и этот грозный сувенир, меч умершего воителя, привезённый отцом из Синцзяна. И это при том, что первый вопрос, заданный отцу, когда они выскочили из лифта, был: есть ли в квартире оружие? Сдать! Он вынул из письменного стола свой браунинг. Меч украшал настенный ковёр в кабинете. Может быть, оттого, что меч висел на виду, он не привлек внимания. Отец махал мечом по утрам. Меч был тяжёлый, слегка изогнутый, с длинной костяной ручкой, и хранился в кожаных ножнах. Юрий Иванов поднял меч над головой, слегка потряс им, проверяя устойчивость позы, и сделал несколько резких движений по определённой системе, вправо, влево, вперёд и вверх. Крутя меч над головой, повернулся, что было труднее всего; размахнулся, примерился, издал, как делал отец, пронзительный гортанный

звук, и р-раз, ударил, разрубив врага от плеча до паха; после чего, хромая, подошёл к письменному столу и положил меч на стол. Там лежали ножны и оставленное матерью письмо.

Он взглянул на конверт, письмо было без обратного адреса, обыкновенная марка. Он вышел в коридор и оттуда на кухню. В квартире проживало четыре семьи, после смерти бабушки у него и у матери было по комнате в разных концах коридора. Мать была на работе. Иванов вернулся в комнату, где, кроме обыкновенных вещей, кушетки, стола, этажерки, помещался стеллаж с литературой о революционном движении в Китае. Иванов расчистил место на столе для чайника. Он уселся и надорвал конверт.

Он вертел в руках письмо, двойной листок необыкновенно белой, плотной бумаги с именем корреспондентки, короной и гербом: бык, низко склонивший вилообразные рога. Аккуратный и чёткий почерк. Восточный Берлин, такое-то число. *Sehr geehrter...* Потянувшись, снял с полки словарь, но словарь был Юре в общем-то не нужен. Да и письмо, к чему оно? Что ещё она собиралась ему объяснить?

*Sehr geehrter, lieber Herr Iwanow!*¹

Довольно-таки церемонное обращение.

Nach langem Zögern... Я долгое время колебалась, прежде чем решилась снова напомнить Вам о себе. Разрешите мне ещё раз поблагодарить Вас за...

Опять эта дипломатия. Вместо того, чтобы прямо сказать, чего она от него хочет.

Но она ничего не хотела.

Думаю, что Вы не удивитесь, если я скажу, что наша встреча произвела на меня большое впечатление. Наш разговор не выходит у меня из головы.

Кажется, я рассказывала Вам о том, как мне удалось Вас разыскать, несмотря на то, что, по сведениям, которые мой бывший муж получил из архива бывшего Министерства обороны, судно, на котором Вы находились, было уничтожено. Но, вопреки этому сообщению, оказалось, что кто-то из экипажа остался жив. Не могу Вам описать, как я была рада, когда узнала об этом!

Нашла чему радоваться.

¹ Дорогой, многоуважаемый г-н Иванов (нем.).

Все эти подробности сейчас уже не имеют значения. Скажу только одно: вся история моих поисков кажется мне чудесным, почти неправдоподобным сцеплением обстоятельств, и то, что они увенчались успехом...

Какой успех, с растущим раздражением думал Юра Иванов, что она несёт?

...и то, что они увенчались успехом, что мне удалось с Вами встретиться и убедиться, что Вы существуете на самом деле, то, что я Вас нашла, а Вы, если можно так выразиться, нашли меня, — представляется мне знаком судьбы. И вот теперь Вы спросите: что я ещё хочу узнать или услышать от Вас, так ли уж необходимо продолжать это знакомство, тем более, что мы живём в разных государствах и новая встреча сопряжена с известными трудностями.

Вот именно, сказал вслух Иванов. Так ли уж необходимо. Он разговаривал сам с собой, сидя на кушетке, отстёгнул ремень и снял протез, чтобы дать отдохнуть культе. Запрыгал по комнате, — в углу стояли костыли, — снова с брезгливой миной взял со стола листок. Из окна был виден колодец двора, верёвки с бельём, арка подворотни. Эта женщина явилась из прошлого, и о чём ещё говорить — спаслась и пусть будет довольна.

Было и былём поросло. Так нет же, ей понадобилось напоминать, как будто он и так не помнит. Прошло уже сколько времени после этой нелепой встречи, а она всё не может угомониться. Тягостный и никчемный разговор в ресторане, в роскошной гостинице для иностранцев, куда нашего брата на порог не пустят; вообще не надо было соглашаться. О чем она там бубнила? Ведь он же объяснил этим двум дурам: знали или не знали, что это за пароход, допустим, что знали, ну и что? Подошли ближе и увидели чёрную массу на палубах. Санитарный крест на трубе, несмотря на плохую видимость, тоже заметили. Знали, что из портов, которые немцам ещё удавалось удерживать, из Эльбинга, из Пиллау, из Розенбурга идёт эвакуация? Знали, ну и что?! А что они делали с нами. Война! Враг есть враг. И приказ есть приказ. Топить всех подряд, и никаких разговоров.

Мне кажется, что я не сказала Вам и десятой части того, что хотела, что должна была сказать. По крайней мере, теперь это для меня стало ясно. Как ни странно, — но, может быть, это и Вам знакомо, — первые месяцы я совершенно не думала о случившемся. Я вернулась в родные места, где всё было сожжено и разрушено. Каждый день приходили новости одна другой ужас-

ней. Рушились города. Мы узнали о гибели Дрездена. Там жили мои друзья, это был изумительной красоты город. То, что там произошло, никто и никогда не сможет описать, человеческое сознание неспособно вместить это... О том, что произошло со мной, с каждым из нас, мы уже и не вспоминали, думали только о том, как бы выжить. Не было ни будущего, ни прошлого, жили одним днём. Сузи вызвала меня к себе...

ВЗМАХНУТЬ, И...

В дверь постучались, мать заглянула в комнату.

«Ты?» — сказал он удивлённо.

«Я забежала на минутку. Ты завтракал?»

«Ещё нет».

«Ну, и хорошо. Я тут кое-что принесла».

«Не беспокойся», — сказал Юра. Она спросила: не опоздает ли он на лекции? Юра Иванов ответил, что времени ещё много. Мать присела на край кушетки. «Мне кажется, ты последнее время какой-то не такой».

«Обыкновенный», — сказал он.

«Что-нибудь случилось?»

Он пожал плечами.

«Что это за письмо?»

«Да так... от одной».

«От этой девушки? Ты совсем ничего не рассказываешь... Она тебе нравится? Почему ты не пригласишь её к нам?»

«Мать, — сказал Иванов. — Тебе пора на работу».

Он читал дальше.

Мы давно уже понимали, что война проиграна, но этот изверг хотел, чтобы вся страна, все немцы погибли вместе с ним. Наконец, мы услышали по радио, что он пал в Берлине. Ходили разные слухи, говорили, что он принял яд вместе с Евой или что он бежал. Я знаю людей, которые до сих пор считают, что он скрывается в Южной Америке, меня это совершенно не интересует. Как Вы знаете, я оказалась, благодаря Сузи, в восточной зоне. Жизнь более или менее наладилась. Но я не хочу отвлекаться, хочу сказать вот что. Первое время я ни о чём не думала. Но однажды ночью проснулась, и вдруг всё снова встало перед глазами. Там были ужасные сцены. Когда мы сидели в баркасе, рядом, в темноте из воды высовывались головы людей,

они были ещё живы, но лодка была переполнена. Мать с ребёнком подняла над водой свою девочку, цеплялась за борт, умоляла взять ребёнка, её оттолкнули. Я всё это видела. Я знаю, Вы думаете, что я считаю Вас виновником, Вас, и Вашего командира, и вообще вас всех. Нет, поверьте, такой мысли у меня нет. И к тому же я знаю, как много страданий мы, немцы, причинили Вашей стране. Я только хочу сказать, что хотя такие, как я, смогли уцелеть, каким-то чудом остались в живых, мы на самом деле умерли вместе с погибшими, утонувшими, сгоревшими, с теми, у кого раздавило обломками полтуловища, у кого не осталось ни рук, ни ног, ни глаз, с убитыми на фронтах, задохнувшимися в дыму, — только сперва мы не заметили, что на самом деле умерли вместе с ними. Мы пережили войну, а когда всё кончилось, то оказалось, что мы не в состоянии жить. Поверьте мне, дорогой господин Иванов, я каждую ночь просыпаюсь, не могу понять, где я, война давно кончилась, а мне всё кажется, что я слышу свист и грохот, слышу крики людей, вой пожарных сирен или плеск воды, но я спокойна, я лежу глубоко на самом дне, и со мной уже ничего не будет, меня уже нельзя ни утопить, ни искалечить.

И вот теперь Вы. Зачем я это пишу. Мне нужно Вас видеть снова. Мне почему-то кажется — я уверена, — что Вы, кому пришлось пережить ещё больше, чем мне, Вы, сын народа, который в конце концов не сам начал войну, а на которого напали, — Вы сможете мне помочь, может быть, даже поможете мне воскреснуть. Я почувствовала это сразу. Мне ничего не нужно от Вас, мы даже не будем вообще говорить о прошлом, мы просто посидим вместе, Вы расскажете мне что-нибудь о себе или о Вашей стране. Умоляю Вас, скажите, что Вы не отвергаете моей просьбы, откликнитесь...

Иванов надел ногу, нацепил на нос пенсне, попробовал пальцем лезвие китайского меча и со свирепым выражением, закусив губу и прищурившись, изо всех сил рубанул мечом воздух.

НОЧЬ. УНИВЕРСИТЕТ

Иванов сказал, что звонит по важному делу. Он сказал: «У меня к тебе одно дело».

«Что случилось?»

«Ничего не случилось. Надо поговорить».

«А в чём дело?»

«Немедленно», — сказал он.

«В чём дело?»

«Ни в чём. Нам надо...»

Пауза.

«Когда?» — спросила Ира.

«Сейчас».

«Да, но...»

«Срочно. Одевайся и приезжай».

«Может, ты всё-таки скажешь по телефону».

«По телефону не могу».

«А ты знаешь, сколько сейчас времени?..»

Он упрямо повторил: «Мне надо. С тобой... Ясно?»

«Ясно. Спокойной ночи».

«За невыполнение приказа...»

«Слушай, я устала. Хочу спать».

«Кто это ложится спать в десять часов».

Она молчала.

«Приезжай, — сказал Иванов. — Ну... пожалуйста».

Видимо, поддал.

Полчаса спустя она вошла в вестибюль, поднялась по ступенькам под арку.

«Ты куда это?» — спросила баба сторожика.

Ира пробормотала: «Я на минутку... забыла книжку».

«Завтра приходи. Угомону на вас нет».

«Я сейчас». Она не стала подниматься по главной лестнице, выскользнув из-под арки, свернула по коридору направо и взбежала на второй этаж по двум маршам полутёмной боковой лестницы. Вышла к баясинам и гипсовым божествам. Жёлтые шары померкли, под сводами галереи пусто, полутемно. Она стоит в недоумении перед балюстрадой.

Ире двадцать два года. Она всё в том же коротком, суженом в талии, теперь уже изрядно поношенном пальто, в шапочке, перешитой из чего-то, в руках безобразная сумка-ридикюль, совершенно ненужная, просто для того, чтобы что-нибудь держать в руках, она вертит её так и сяк. Поглядывает вниз на циферблат над входной аркой и, опершись локтём на выступ колонны, примеряется, чтобы швырнуть сумочку вниз. Ира повзрослела и давно уже не была влюблена в собственное тело.

Она думала, что скоро начнёт стареть, а между тем всё ещё ничего не случилось. Когда она услышала голос в трубке, ей показалось, что она давно этого ждала.

Было ясно, что она совершила глупость, приехав. Она побрела к выходу, к короткому маршу, который спускается к площадке перед главной лестницей под статуями. Но остановилась. Стрелки на циферблате внизу застыли. Она двинулась было вниз, снова остановилась, теребя сумочку. Вернулась, медленно зашагала по коридору в другую часть здания; не доходя до исторического факультета, там его и увидела: Юра Иванов не сидел и не стоял, а как-то полулежал, опираясь о подоконник. Она приблизилась, помахивая сумочкой.

Вид был самый безобразный: Иванов разложился. Ноги вот-вот поедут по полу, палка валяется рядом. Иванов моргнул, шлёпнул губами: «Привет!»

«Привет», — возразила она.

Наступило молчание, женщина смотрела на него, как смотрят на неубранное жильё.

«Ну чего, — сказал Иванов, наконец. — Ну, пришла. Ну, и молодец. А в общем-то, — он махнул рукой, — иди спать...»

Снова молчание.

«Как же ты теперь доберёшься домой?» — спросила она.

«Доберусь. Говорю, иди спать. Тут маленьким девочкам делать нечего».

«Где это — тут?»

«Ну...» — он повёл рукой широким неопределённым жестом. Ира наклонилась и подняла палку. Иванов опёрся на палку, привстал, другой рукой держась за подоконник. На всякий случай она спросила:

«У тебя снова... с ногой?»

«С ногой? — сказал он. — С которой?...» Он покачал головой.

«Слушай, зачем ты меня позвал?»

«Кто тебя звал? Никто тебя не звал».

«Ты хотел о чём-то поговорить?»

«Поговорить — о, да. Поговорить надо».

«О чём?»

«Вот именно, — сказал Иванов, подняв палец. — Надо решить: о чём?»

Добрались до балюстрады, спустились по лестнице, она держала ветерана под руку.

«Посиди тут, я сейчас».

«Куда?» — грозно спросил Иванов.

Ира — сторожихе:

«Мы сейчас уйдём».

Старухе казалось, что она сидит, в валенках и тулупе, спустив ноги с лежанки, в избе, в родной деревне. Ира побежала по коридору, в углу за поворотом на стене висел телефон-автомат.

Никогда в жизни она не пользовалась этим роскошным методом передвижения, ей понадобилось довольно много времени, она стучала кулаком по стальной коробке, перевела кучу пятнадцатикопеечных монет.

«Сейчас приедет», — сказала она, возвращаясь.

«Кто? Никуда не поеду».

Она спросила, где он живёт.

«В Москве».

«Адрес!»

Он подумал и спросил:

«А деньги у тебя есть?»

Когда подъехали к дому на улице Веснина, оказалось, что Юра не может вылезти.

«Нализался, земляк, — сказал таксист. — Где воевал?»

Ира пересчитывала бумажки.

«Да ты что. Чтоб я с солдата деньги брал! Давай, тащи его».

ЗАГОВОР ЖЕНЩИН

Судьба выбирает особых людей. Вы замечали, что судьба всегда выбирает особых людей? Это своего рода судебные исполнители.

Они кажутся случайными, первыми попавшимися — на самом деле это отобранные люди. Девушка остановилась поправить чулок. Она не знает, что уполномочена судьбой. Прохожий... вы даже не успели разглядеть его физиономию. Продавец воздушных шаров перед обелиском революционеров, в Александровском саду. Нищий, занявший свой пост на тротуаре перед оградой Старого здания. Они тоже орудие судьбы. Следователь государственной безопасности в мундире цвета крапивы, с рыбьим лицом, с жёлтыми плавниками погон, с эмблемой на рукаве и девизом «Оставь надежду навсегда», в ночном кабинете, где, кстати, как раз в эту минуту сидит в углу наш старый

знакомый, профессор Сергей Иванович Данцигер, вернее, бывший профессор, сильно потерявший в весе и без кудрей. Судьба выбирает особых людей, участников заговора, не спросив у них; они лишь исполнители некоего веления, но родилось оно, представьте себе, не где-нибудь, а в лабиринтах нашей собственной души. Потому что судьба не то чтобы решает за нас, но подталкивает нас осуществить решение, которое мы приняли, ещё не зная об этом. Ира Игумнова нашла среди беспорядочно наклепленных кнопок на дверном косяке две пуговицы с одной фамилией, нажала один раз, другой; подождав, поднесла снова палец к звонку, послышались шаги. Звякнула цепочка. Высокая белая фигура с тёмными кругами глаз воздвиглась во тьме за полуотворённой половинкой входа. Вдвоём отвели ветерана в его комнату. Помогите мне, сказала мать. Ира, стесняясь, принялась расстёгивать пуговицы, стягивать со спящего одежду, отстегнула жёлтую кожаную ногу в чёрном ботинке. Они осторожно притворили за собой дверь.

«Куда ж вы теперь. Милая. Нет, нет; оставайтесь. Я позвоню. Скажу, что вы ночуете у меня...»

Ира вошла в полутёмную комнату, зелёный матерчатый абжур над столом, шкаф с книгами, разобранная кровать. Сейчас сменю бельё, суежилась мать Юры, вот тут ночная сорочка, полотенце. А вы, спросила Ира. Я на раскладушке, в кухне, у нас соседи хорошие. Было слышно, как она крутит диск телефона в коридоре. Ира осталась одна и, вздохнув, улеглась. Ей снилось, что она летит. Она должна была приземлиться, может быть, врезаться в землю, и открыла глаза. В длинной ночной рубашке она вышла из уборной на кухню, где не было никакой раскладушки, не было никого, пятна слепящего утреннего света лежали на полу, на плите, блестяли крышки кастрюль на полках. На табуретке сидела кошка. В квартире стояла мёртвая тишина.

«Кис, кис», — прошептала Ира. Кошка уставилась на неё. Ира сделала шаг навстречу, кошка вскочила на подоконник, оглянулась, «ну, что же ты», — промолвила Ира, кошка прыгнула в открытую форточку, пристроилась на раме и оттуда снова смотрела на Иру.

Упадёшь, сказала Ира, вышла в коридор и подкралась к двери. Юра Иванов лежал на спине, подложив руки под голову. На столе у окна сверкало стальное лезвие. Что это, спросила она.

«Меч».

Ира удивилась: «Настоящий?»

Он пожал плечами, опустил руки.

«Слушай, — сказал он, — ты меня извини».

«А где твоя мама?»

«На работе».

«Ну, мне пора, — сказала Ира. — Пойду оденусь».

В эту минуту она почувствовала, что стоит нагая под рубашкой. Было холодно босым ногам. Ира сложила руки под грудью, обхватила локти ладонями.

«Мне пора», — что-то в этом роде произнесли её губы.

Иванов сказал:

«Постой. Успеешь... — мрачным голосом, как ей показалось. — Мне надо тебе кое-что объяснить».

«Опять?»

«Что — опять?»

«Ты ведь уже собирался со мной поговорить».

«А... ну да. Нет, я серьёзно».

«А вчера было несерьёзно?»

«Вчера тоже было серьёзно».

«Ты, наверное, сегодня никуда не пойдёшь. Я скажу, что ты болен. Тебе надо отлежаться. Завтра поговорим».

«Нет. Сейчас».

«Что за спешка. Ну, говори».

«Это меч, — сказал он. — Ты помнишь у Бедье? Или у кого там».

Она не поняла.

«Роман о Тристане и Изольде. Вообще всю эту историю».

«Ну и что?» — сказала она со страхом.

«Между ними лежал меч».

Оба молчали. Ира улыбнулась.

«Могли порезаться», — сказала она.

«Могли. Дай-ка мне его».

«Слушай, Иванóв...» — сказала она, называя его, неизвестно почему, по фамилии.

«Ива́нов. Дай, говорю».

«Зачем?»

Она взяла со стола меч и поднесла ему.

«Вот, — сказал Иванов. — Лезвием ко мне. Можешь не бояться. А теперь иди сюда... ложись. Ложись, говорю!» — крикнул он.

МАРИК ПОЖАРСКИЙ ПОСТИГАЕТ ТО, ЧЕГО ОН НЕ МОГ ПОСТИЧЬ: ИСТИНУ

Кончено, *Schluß, finis*, сказал себе Марик Пожарский; оглядываясь на «прошлое», иначе говоря, на эти несколько лет, он находил его смешным, нелепым, стыдным. Марик стоял накануне важного решения. Собственно, решающий момент был уже позади. Ибо самое важное — принять решение; какое именно, вопрос второстепенный. Но, если угодно, то вот вам и ответ: Марик решил переменить свою жизнь. Ближайший смысл этого намерения был «порвать» с Ирой. Покончить раз навсегда с бесплодной, безвыходной, унижительной и смехотворной любовью, с этими метаниями между надеждой (на что?) и разочарованием (в чём?), с вечным ожиданием, бесполезной мукой, внезапным счастливым замиранием сердца от какого-нибудь мнимо-многозначительного взгляда и новой неопределённостью, новым отчуждением. Спросить, наконец, впрямую: да — или нет?

Однажды, представьте себе, он проямлил что-то такое. И получил обескураживающий ответ: «Был бы ты лет на пять старше...» Означало ли это, что она всё-таки находит его достойным внимания, в принципе достойным своей любви, единственное препятствие — проклятые пять лет?.. Проснувшись однажды утром, Марик испытал небывалое чувство лёгкости, пустоты — оказалось, что он освободился. Он так и сказал себе: освободился. И пусть теперь сама жалеет.

Он попытался рассмотреть её подробней, так сказать, критическим взором. Оказалось, что у неё коротковатые ноги, желеловатые бёдра. Однажды, когда она встала и забыла одёрнуть юбку, образовалась складка между ягодицами — это было ужасно. Он больше не смотрел в её сторону, не пытался с ней заговорить, с удовлетворением отметил её удивлённый взгляд; и даже под вечер, по привычке слоняясь по коридорам Нового здания, — домой идти, как всегда, не хотелось, — при-

тулившись где-нибудь на подоконнике, пытаясь читать и тут же бросая книжку, и снова расхаживая вдоль темнеющих окон, и возвращаясь на галерею, где уже теплились жёлтые шары, и бормоча стихи, — даже в это не лучшее время дня, когда некуда себя деть, некуда податься, Марик Пожарский вкушал эту опустошённость, для которой существовало другое название — независимость, ощущал себя свободным — мы чуть было не сказали: осиротевшим. Тут он увидел Иру, она поднималась по лестнице. «А, это ты», — сказала она, выходя на галерею, и остановилась.

Марик почувствовал привычное сердцебиение, но тотчас овладел собой; не выдавил из себя ни слова; Ира, как всегда, шла в читалку; и вдруг она остановилась, взглянула себе под ноги, закусила губу. Марик догадался, вернее, почуял инстинктом бывшего влюблённого: случилось нечто; она подняла глаза с таким видом, словно что-то обронила по дороге и спохватилась; знаешь, проговорила она неуверенно, хорошо, что я тебя встретила, я как раз хотела тебе сказать.

«Сказать?.. Что сказать?» — пролепетал Марик, мгновенно забыв о своём решении. Да, кивнула она, сказать тебе кое-что. И какой-то ветер овеял Марика. Счастливое предчувствие! Ира, вместо того, чтобы исчезнуть за дверью библиотеки (куда он, по установившемуся этикету, не посмел бы последовать за ней), медлила, рылась в портфеле.

Она подняла голову и осмотрелась. «Надо бы где-нибудь присесть. Я даже не знаю... — и было неясно, ищет ли она местечко или то, что потеряла по дороге. Подошли к скамейке перед Русским кабинетом. — Нет, — пробормотала она. — Куда-нибудь подальше».

Обошли кругом галерею и свернули в коридор. Шли мимо высоких темноватых окон, потом налево. Там (как уже говорилось) был расположен исторический факультет, знаменитый тем, что на нем училась дочь Вождя. Легенда казалась странной, естественней было предположить, что факультет сам, со всеми профессорами ездил к этой дочери в Кремль или где она обреталась. Легенда казалась тем более неправдоподобной, что никто никогда не слышал о том, что у Вождя есть собственные дети, ведь это значило бы, что у него

есть — или были — женщины. Вождь, в монументальных брюках с красными лампасами, в широких, как доски, погонах генералиссимуса, с литыми усами, с мужественным, гневно-радостным взглядом, бесспорно, не был бесполом существом; Вождь был *надполом* существом.

Это был тот самый подоконник, где Ира нашла пьяного Иванова.

«Не знаю...» — сказала Ира. Что она имела в виду? Они вернулись в «свой» коридор и устроились на подоконнике. Её портфель был прислонён к холодной трубе отопления.

«Я думаю... — проговорила она. — Мы ведь всё-таки друзья?»

«Ну да», — сказал Марик упавшим голосом, поняв, что её мысли *совсем не о том*. «Я подумала, что должна тебе сказать... это касается нас троих».

«Троих?»

«Ну да. Мы все как закупоренные. Ничего не можем друг другу сказать. Ты мне не можешь сказать, он мне не может сказать».

Ира взглянула искоса на него, словно хотела удостовериться, стоит ли продолжать. Или как будто запаматовала, что собиралась сказать. Её глаза проšliсь по стенам, взгляд остановился ни на чём. Ира смотрела внутрь себя, и что же она видела? Всё то же: комнату и китайский меч рядом с лежащим на спине.

«Короче говоря, — сказала она, — у нас это было».

«У нас... у кого?»

«У меня с Юркой». Она опустила голову, тотчас подняла и остро взглянула на Марика.

На всякий случай он переспросил:

«Было?»

«Да».

Марик понял, о чём идёт речь, но продолжал спрашивать: что, что было?

«Ну что ты, маленький, что ли, — сказала она холодно. — Чтó бывает?»

Она прибавила:

«Он взрослый мужчина».

Видимо, это означало: в отличие от тебя. Марик сощурился, глядя в одну точку, напряжённо думал, только непонятно, о чём. Дикая мысль пришла ему в голову. «А ты? — спросил он. — У тебя уже был кто-нибудь?»

Ира покачала головой, еле заметно. Женским усталым жестом коснулась волос, сошла с подоконника, одёрнула платье, застегнула пальто.

«Ну чего ты, — сказала она. — Огорчился? — Они остановились на крыльце университета. За оградой, мимо Манежа, шурша, неслись машины, их было немного, совсем не так, как тридцать лет спустя, было темно, и малиновые, как леденцы, звёзды с невидимых башен всё ещё, как ни в чём не бывало, вещали баснословное будущее. Они двинулись к воротам, надо было ещё что-то произнести. — Ну, хочешь, прочти стихи».

«Чего? — спросил Марик, очнувшись. — Какие стихи», — с горечью сказал он.

Она возразила, пожав плечами:

«На это надо смотреть проще. Это у всех бывает. Рано или поздно... И у тебя будет. — Она улыбнулась. — Будешь потом вспоминать».

Как будто доподлинно знала, не сомневалась, что с ним это ещё не произошло. Ему захотелось сказать, огорошить её: а вот, если хочешь знать — у меня тоже была одна.

«А я и смотрю проще. Мне-то что», — буркнул он.

«Ну что ж. — Они молча стояли перед воротами. — Если ты не очень сердишься... проводи меня».

И больше, кажется, не было сказано ни слова, Ира шагала, глядя прямо перед собой, помахивая портфелем, Марик о чём-то раздумывал и в конце концов понял, что в его жизни совершился поворот. Никто не мог предполагать — и меньше всего сам Марик Пожарский, — что внешним знаком этого поворота станет его нелепый поступок, необъяснимая хулиганская выходка; он только почувствовал, что надо что-то сделать, совершить что-нибудь такое, из ряда вон. Марик возненавидел всю жизнь, испытав при этом дикую радость.

На другой день, едва только он проснулся, его осенила идея. Всё стало на свои места, и теперь он лишь с трудом

сдерживал нетерпение. Утром, как всегда, была лекция для всего курса, он сидел на балконе Коммунистической аудитории, у стены в углу, Ира где-то неподалёку — и прилежно записывала; Юра Иванов не явился; Марик явно не слушал, был чем-то занят. Прозвенел звонок; когда Ира вернулась на балкон, оказалось, что Марик просидел весь перерыв на своём месте.

Всё было готово, он поглядывал на большие часы внизу. Кто-то уже бубнил, сидя на эстраде за профессорским столом, перед профессорским чаем в стакане с подстаканником, это был доцент Капустин. Прошёл, кажется, уже целый час, но стрелка за это время передвинулась всего на каких-нибудь двадцать минут. Наконец, она достигла последней четверти. Пять минут до звонка. Марик расстегнул свой портфель. Марик никогда не ходил на занятия с портфелем. Он не имел привычки записывать лекции, у него были только тетрадки для занятий языками. Марик ничего не знал, ничему не учился, читал что хотел, а не то, что полагалось, учебники раскрывал только во время экзаменационной сессии, кое-как тащился с курса на курс, числился посредственным, но одновременно и продвинутым студентом, языки были единственным, в чём он успевал, далеко обгоняя других. Марик явился с портфелем, и внимательный взгляд Иры Игумновой отметил эту новость.

Наконец, звонок прорвался, зазвенел в барабанных перепонках, народ внизу зашевелился, захлопали крышки пюпитров, доцент Капустин собирал свои листки на столике. Марик расстегнул набитый битком портфель. Он перевернул портфель, и оттуда посыпались аккуратно нарезанные четвертушки бумаги, десятки, может быть, сотни листовок. Всё это разлетелось над амфитеатром, порхая, опускалось на скамьи, на головы, несколько бумажек упали на сцену, кто-то свистнул в два пальца, началась весёлая паника, девушки и ребята протягивали руки к белым порхающим листкам, на всех бумажках стоял один и тот же подрывной, подстрекательский лозунг, была начертана единственная фраза: *Ну и х... с вами!*

ЭПИКРИЗ. СУБМАРИНА УХОДИТ В ПУЧИНУ МОРЕЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ РАССКАЗЧИКА

Per me si va nella città dolente,
Per me si va nell'eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente¹.

Inf., III, 1—3

Некогда я бродил по улицам, где из десяти встречных девять были старше меня. Сейчас из десяти едва нашелся бы один, достигший моего возраста. Приняв предложение литературного журнала участвовать в конференции «Искусство в поисках новой идеологии», я уступил соблазну, которому успешно сопротивлялся добрых десять лет — с тех пор, как открылись границы. Начать с того, что меня удерживал самый обыкновенный страх. Совершенно согласен с каждым, кто назовет это суеверием. Я знал, что моё дело с грифом *Хранить вечно* ждёт своего часа в катакомбах гигантского архивохранилища, потому что дела эти не только хранятся, но и никогда не закрываются, и живо представлял себе, как где-нибудь в самом оживлённом месте, на улице Горького, которая снова стала Тверской, автомобиль с тёмными стёклами остановится у тротуара, вежливый голос окликнет меня, цепкие руки втащат в машину, и через десять минут мы окажемся там, где мне пришлось побывать когда-то. Я даже допускаю, что за истекшие двадцать лет — с тех пор, как я бежал из России, — пухлая папка стала ещё толще. Такие коллекции обладают способностью к самостоятельному росту и обогащению. И никто не знает, какими новыми инструкциями оснастилась канцелярия, пережившая всё и всех. Словом, говорил я себе, лучше туда не соваться. И всё же приехал.

Я стоял в зале с низким потолком, с диковинными рекламами на стенах, в одной из трёх или четырёх очередей, правильной будет сказать — в одной из трёх толп. Люди перебежали из одной толпы в другую, экономя время с ловкостью и чутьем завсегдатаев очередей, так что в конце концов я оказался последним. Люди переговаривались на языке, в котором мне было внятно каждое слово и где я не понимал ни слова. То было

¹ Я увожу к отверженным селеньям, /Я увожу сквозь вековечный стон,
/Я увожу к погибшим поколениям. (*Данте*, «Ад», III, 1—3. Перевод М.Лозинского.)

чувство нереальности, которая вот-вот должна была стать зловещей и необратимой действительностью; состояние, о котором говорит тюрингский романтик: если во сне мы видим сон, это значит, что ещё немного и мы проснёмся.

То было переживание языка — давно умолкнувшего, ставшего сакральным, подобно мёртвому языку священных книг, но который заговорил вокруг десятками уст и оказался жаргоном черни. Замечу, что таким же или почти таким, разве только с обратным знаком, было переживание живого английского языка, много лет тому назад, когда я приземлился в Соединённых Штатах. Вот так же я понимал его, ничего не понимая. Поистине, чтобы ощутить нечто подобное, надо было прожить безвылазно жизнь в стране, похожей на дом с закрытыми ставнями, за глухим забором.

Люди о чём-то совещались, смеялись, бранились, не стесняясь соседей, мешая обыкновенные слова с грязной руганью, которая, однако, выговаривалась, как обычные слова: матерная брань, лишённая эмоций — всё равно что кофе без кофеина. Затеплились матовые кубы над кабинами паспортного контроля, толпа заколыхалась. Каждый миг в самолёте над океаном поглощал огромные расстояния; здесь уходило десять минут на то, чтобы переместить чемодан на полметра, шаг за шагом, навстречу решающему мгновению, когда женщина-офицер в форменном галстуке, за стеклом кабины, поднесет к уху телефонную трубку и, глядя в мой паспорт, вполголоса произнесёт несколько слов. Появятся двое и попросят «пройти».

Вместо этого, пристально поглядев на меня, поразмыслив, она хлопнула штемпелем; несколько времени спустя путешественник вышел в город, над которым сеялся дождь, и, усевшись в такси, назвал адрес по-русски, чего делать не следовало. Мне казалось, если я дам понять, что я здешний, меня не станут беззастенчиво обирать, как принято поступать с иностранцами; получилось хуже: меня, похоже, приняли за одного из этих нуворишей, *New Russians*¹. Сомнительное сословие, вымахнувшее из-под земли, как красавцы-мухоморы после тёплого дождя. Город летел навстречу, и я все еще не мог избавиться от чувства, которое должен испытывать человек, стоящий на разводном мосту: одна нога здесь, другая там, а внизу — вода. Но хватит об

¹ Новых русских (*англ.*).

этом. Я прослушал положенное число докладов на нелепую тему, конференция была для меня, как легко догадаться, не более чем предлогом. Должен, однако, добавить к сказанному выше: мое намерение совершить паломничество на бывшую родину не было свободно от некоторой задней мысли. Каждый писатель ощущает себя более или менее лазучником. Если уж начистоту — ради этого я и отправился в путешествие. Я собирался написать роман.

Здесь, возможно, не будет лишним вкратце сказать о моих литературных амбициях. Я сознательно употребляю слово «амбиции» вместо того, чтобы говорить о достижениях. Никакими особыми достижениями мы, увы, похвастаться не можем. Два десятка повестей и рассказов из времён, которые нынешней молодёжи кажутся эпохой Среднего Царства, несколько статей, назвём их для пущей важности модным словом «эссе», — что ещё удалось опубликовать там, где, как говорили в старину, обретается «наш читатель»? В том-то и дело, что читателей раз-два и обчёлся. Можно указать причины, по которым мои творения не пользуются и, очевидно, не будут пользоваться успехом. Во-первых, они делят общую судьбу литературы. (Я имею в виду литературу, которая заслуживает этого названия). Публика, готовая тратить время и деньги на чтение серьёзных книг (а кто из нас согласится признать свои писания несерьёзными?), тает, как весенний снег. Во-вторых, — это уже мое личное дело, — я ненавижу так называемую актуальность. Оставим её газетчикам.

Сформулируем так: известность NN — лучшая, какую можно вообразить. Известность в весьма тесном кругу не щедрых на похвалы ценителей. В тот счастливый для него день, когда он покинет мир, журналисты, может быть, спохватятся, почуяв потерю. Но будет уже поздно. Невозможно будет брать у него интервью, чтобы наскоро тиснуть в воскресном приложении, невозможно будет строчить чепуху в газетах, чтобы завтра забыть его имя, теперь уже навсегда, невозможно будет перемолоть его на жерновах прессы и телевидения, чтобы ссыпать затем в мусорное ведро.

Итак, я воспользовался возможностью, сбежав с конференции, побродить по городу, который некогда — отчего не сказать об этом? — так любил. Который не променял бы — так мне казалось — ни на какой другой город в мире. Не берусь судить, хороши или плохи новейшие архитектурные преобразования,

скажу только, что мне жаль пустоты и простора Манежной площади, расстилавшейся перед глазами, когда, бывало, выходишь из университетских ворот. Говорю, разумеется, о старом университете в зданиях по обе стороны от бывшей — теперь уже бывшей — улицы Герцена. Циклопический дворец на Ленинских горах, воздвигнутый заключёнными, моему сердцу ничего не говорит.

Я поднялся на филологический факультет, но никакого факультета не оказалось. В коридорах, в холле, где когда-то висела — может быть, я последний, кто её помнит! — стенная газета с фотографией славного Былинкина (*и куда ты ни пойдёшь...*), расположился новый хозяин, какая-то фирма, и уже нельзя было войти просто так: на площадке перед входом стоял охранник из отряда приматов. Он спросил, кто я такой. Я не мог ничего ответить. Откуда я знаю, кто я такой?

Не было больше и трамвая, который ходил в былые времена от Никитских ворот, звенел, сыпал искрами, поворачивал направо, шёл мимо университетской ограды и Горьковской библиотеки, мимо приёмной дедушки Калинина, — спросите сейчас кого-нибудь: кто такой был этот дедушка? И дальше, мимо Библиотеки Ленина, устья улицы Фрунзе и по Большому Каменному мосту в Замоскворечье. Липы вдоль тротуара перед Новым зданием исчезли, зато разрослись деревья за оградой и скрывают нового Ломоносова. Теперь отец русской науки сидит. Прежде стоял, положив руку на глобус, другой рукой сжимая упёртую в бедро подзорную трубу, которую издали можно было принять за детородный член. Бывший студенческий клуб, с которым так много связано, более не существует, над полукруглым фронтоном сияет восьмиконечный крест, ниже надпись золотом: *Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ*. Что она означает?

Я позвонил старой даме и договорился о встрече.

Перехожу к главной теме моего рассказа. Ветхий дом на Арбате, визг и скрежет канатов, потащивших наверх шаткую кабину лифта. Увядшая женщина с крашеными волосами, в туго подпоясанном дождевике и всё ещё модных здесь сапогах с копытообразными каблуками отворила дверь гостю, чтобы тотчас попрощаться; это была дочь. Неся букет, как посол — верительные грамоты, я прошествовал по коридору коммунальной квартиры и вступил в комнату, разделённую пополам занавесом на деревянных кольцах.

Голос из-за портьеры: «Одну секундочку!»

«Простите, что заставила вас ждать, — сказала хозяйка, выходя, хотя ждать пришлось недолго. — О! — воскликнула она кислым голосом, — какие чудные розы!..» Старость начинается не тогда, когда седеют волосы и опускаются углы рта, тускнеет блеск глаз и угасает вожделение; старость начинается, когда постигаешь, и не умом, а всем телом, что ты не бессмертен. Полагаю, нет необходимости описывать внешность той, что предстала передо мною в это позднее утро, в предпоследний год страшного дотлевающего столетия; да я и не сумел бы нарисовать её портрет, хоть и числюсь писателем, — разве только по свежим следам, воротившись в гостиницу; но я и этого не сделал, лишь наскоро, стараясь не упустить главное, занёс на бумагу наш разговор. Мы уселись друг против друга, и она спросила, надолго ли я приехал. Что за конференция?

Я объяснил, что обсуждается новая идеология.

«Новая?»

«Ну да. Взамен старой».

«И какая же это новая идеология?»

«Идеология разбитого корыта». Таковы были первые, совершенно ненужные реплики, которыми мы обменялись.

Я не могу её описать хотя бы потому, что и в первый, и в последующие два визита (срок моей визы истекал, я должен был торопиться), чем дальше, тем всё настойчивей, за чертами изжѳванной жизнью женщины проступал образ той, прежней, которую знал я когда-то. Как если бы он возник в темном трюмо в углу комнаты и постепенно светлел, и рос, и, наконец, выступил из рамы; как будто привидение неслышно вошло и мягко отстранило реальную Иру. Ибо память — кто это сказал? — память ревнива и не терпит соперничества. Звук голоса, тень улыбки, манера встряхивать головой, даже то, что она время от времени поглядывала в зеркало в углу, чтобы поправить воротничок или седую прядь, — во всем этом было так много тогдашнего, несомненного, что постепенно меня перестало смущать то, что ошеломило в первую минуту, и расщелина времени уже не казалась такой бездонной.

Мы и не старались в нее заглядывать. Не было никакого желания рассказывать о себе, да и она не проявляла интереса к моей жизни; мы могли говорить только о том, что было общим для нас, было нашей жизнью, остальное не существовало; но,

хотя она знала о том, чем я занимаюсь, — лучше сказать, про-
бавляюсь, — и, может быть, даже читала кое-что, ей, по-
видимому, не приходило в голову, что гость явился из небытия
с небескорыстной целью, и уж тем более она не могла догадаться,
что предназначена стать героиней моего будущего шедевра.

«Да... — пробормотала она, — сколько времени протекло».

«Тысяча лет, а?»

«Тысяча лет».

Мы сидели и кивали друг другу, и было выдавлено ещё
две-три фразы в этом же духе, словно мы не знали, с чего на-
чать, и тут, сам не знаю почему, я нарушил конвенцию; но разве
то, о чем я заговорил, не было трещиной века, разве не было оно
частью нашей жизни? Или, по крайней мере, её эпилогом. Я
спросил Ирину Самсоновну: как она отнеслась к смерти Вождя?

Она пожала плечами, вопрос был в самом деле ни к селу ни
к городу. Тем более неуместно было начинать с него беседу. Во-
прос заставил ее задуматься. Мы сидели за чаем. Украшением
стола был замечательный румяный пирог, который она испекла
к моему приходу.

«Это сейчас можно смеяться, — сказала она, — а мы тогда
плакали. Я в это время уже преподавала в школе, у нас был ми-
тинг... Все плакали, и девочки, и учителя. У всех было такое чув-
ство, как будто обрушился потолок. Или как будто произошло
затмение солнца»

«Затмение?»

«Да; только не на время, а навсегда. Мало того, что мы все
осиротели. Я могу сказать о себе — это было не только ужасное
горе, — меня охватил страх. Я ещё была совсем молодая, только
успела выскочить замуж».

«Замуж... а, ну да. Конечно».

«Люди старше меня, все были в ужасе, думали, что всё по-
валится, генералы начнут драться между собой за власть, напа-
дут американцы, Бог знает что. Ждали всего».

«Но ведь...» — сказал гость и осёкся. Чуть было не забыл,
что мы как бы условились, что не станем говорить обо мне, во-
обще не будем касаться всего, что было «после». Я не мог себе
представить, что все беды будут мгновенно забыты. Мне хоте-
лось сказать о злобной радости, которая воцарилась в лагере,
когда гробовой голос Левитана провещал эти слова: *потерял
сознание*. И все поняли, что он вот-вот околеет. Может быть, уже

успел отдать концы, раз они там решились хоть что-то сообщить. И эту радость не могла унять даже боязнь стукачей. Мне хотелось рассказать, как я не верил своим ушам, узнав (гораздо позже) о том, что всенародная скорбь не была выдумкой пропаганды, что даже сотни задавленных в толпе, которая рвалась отдать последний долг каннибалу, не помешали горевать о нём. Я взялся за уголок пирога, который распался в руке. Хозяйка серебряной лопаточкой помогла переложить пирог мне на тарелку. Я рассыпался в похвалах её искусству.

«А почему это вас так интересует?» — спросила она, и это «вас» вновь развело нас в разные стороны.

В самом деле, что за тема для разговора.

Мы заговорили о старых знакомых. А что стало с таким-то, с такой-то.

Она спохватилась:

«Господи, что же я. Вы же принесли...»

Странным образом поиски штопора внесли какую-то нервозность в нашу грустно-умиротворённую встречу.

«Слушай-ка... — пробормотал я. (Мы все-таки перешли на «ты».) — Что произошло с Пожарским?»

Она молчала. Я разлил вино по стаканам. Ира сделала глоток и поставила рюмку на стол.

«Марик исчез, — сказала она. — Я думаю, его давно уже нет в живых».

Хотя я довольно точно представлял себе его судьбу, мне хотелось узнать подробности; я приготовился слушать.

«Тогда многие исчезали, исчез Москаленко, если ты его помнишь: он читал лекции по марксизму-ленинизму. Кокиев — Древний Египет... Ну, и, конечно, Сергей Иванович, это ведь было при тебе?»

«Нет, — сказал приезжий. — После».

«Потом была ещё какая-то история на философском, целая группа студентов. Разные слухи ходили. Я уже не помню. Меня тогда всё это не очень-то интересовало, у меня были другие заботы...»

А сейчас? — хотел я ее перебить, — интересны ли ей сейчас эти воспоминания? И тотчас понял по ее взгляду, что она угадала мои мысли, и уже незачем было объяснять, что заботы или что там она имела в виду — роман с будущим мужем, что-нибудь в этом роде, — что все это было и сплыло. А универси-

тет, лестница, гипсовые великаны, балюстрада, и сидение на подоконниках в коридоре, и Александровский сад, и юность — остались, и не было ничего важнее в нашей жизни.

Странные мысли приходят в голову. Я смотрел на нее и думал: дважды вдова. Конечно, я не думал об ее муже, о котором вообще ничего не знаю.

Можно ли быть вдовой мужчин, за которыми ты не была замужем?

Она продолжала:

«Марик... как тебе сказать. Я думаю, он был предназначен для этого. Иногда просто лез на рожон... Не эта история, так другая, рано или поздно. И даже если бы ничего такого не случилось. Я думаю, у него была такая судьба. Ты веришь в судьбу? Это был последний день, когда я его видела. Накануне у нас был один разговор... В общем, я ни о чём не подозревала. Я сидела на балконе, на нашем любимом месте, он тоже сидел на балконе.

Я спросил, что там было написано.

«Какая-то чепуха, не знаю. Я только видела, как всё это разлетелось, многие задирали головы, а он стоял наверху и смотрел. Все его, конечно, видели».

«Это были стихи?»

Она помотала головой.

«И что же?»

«Ничего, на этом всё кончилось».

То есть как, спросил гость.

«А вот так: кончилось, и все. Из Комаудитории всех выгнали. И сам он — я даже не заметила, куда он делся. Просто ушёл. Всё это быстренько убрали. Перерыв, правда, немного затянулся, но потом все снова уселись, лекция продолжалась. Все делали вид, что ничего не произошло. И вообще об этой истории больше никто не упоминал ни единым словом. Все понимали, чем это пахнет... Потом уже, когда меня вызывали, я узнала, куда пропал Пожарский. А так о нём тоже никто не вспоминал, как будто его и не было».

Вызывали, зачем.

«Не только меня одну, хотя все, конечно, скрывали... Давали подписку о неразглашении. Я ужасно боялась. Спрашивали, знаю ли я такого-то, — конечно, знаю, — какие высказывания

слышала от него. Даже спросили, вроде бы в шутку, не собирался ли он убить кого-нибудь из руководителей партии. Я прикинулась дурочкой».

Она посмотрела в трюмо. «А в общем... — пробормотала она. — В общем-то какое это имело значение. Кто туда попадал, тот не возвращался».

Гость сказал: а стихи, куда они делись?

«Какие стихи? А, ну да. Не знаю...»

В следующий мой приход я спросил Ирину Самсоновну: зачем он это сделал? «Зачем... Я тоже задаю себе этот вопрос. Что-то кому-то хотел доказать. Мне даже казалось вначале, что я была причиной... в какой-то мере. Мне так казалось».

Я снова спросил, и она ответила:

«Это был не то чтобы юношеский роман, а что-то вроде *amitié amoureuse*¹. То есть с его стороны, конечно, что-то большее, а я? Сама не пойму, как я к нему относилась. Скорее всего не принимала его всерьёз. Но с другой стороны... Мы все жили в каком-то тумане...»

Она снова отвела взгляд, но не себя, а их увидела в тёмном стекле.

«Что я могу сказать? Вечером накануне того дня, да, это было как раз накануне, я пришла заниматься в библиотеку, даже раньше обычного. Я была уверена, что встречу его... Университет был как родной дом, мы там целыми днями околачивались, хотя у меня были и другие обязанности... И вот, — она вздохнула, — когда я его увидела, я решила ему всё рассказать. Меня всегда забавляло, что они оба вечно пикировались в моём присутствии. Марик — ещё понятно, но Иванов... Вообще мы все трое были неразлучны. И я подумала, что у меня от Пожарского не должно быть тайн. Тем более такой тайны. Это было бы нечестно.

Но тут было ещё кое-что, и, конечно, так, как я всё это изобразила, мне не надо было делать. Не надо было ему так говорить. А с другой стороны, рассказать всю правду тоже было невозможно. Короче говоря, была у меня потом такая мысль: что это я виновата в его гибели. Он же всё-таки понимал, чем грозит ему эта выходка». Не обязательно, заметил гость.

¹ Влюблённой дружбы (*фр.*).

«Нет, я думаю, понимал. Все мы были наивны, и он тоже, даже ещё больше, но не настолько же. По-моему, это было сделано сознательно. Дескать, раз так, то я вам всем и отомщу. Я вам всем покажу».

Помолчав, она добавила:

«Я вообще не понимаю, как это он раньше не попал. Университет кишел осведомителями. Это же был комсомольский долг — докладывавать; не правда ли?»

Считает ли она и сейчас себя виноватой?

Она пожала плечами, покачала головой.

«Нет, это была последняя капля. Это как-то копилось. — Сделав короткую паузу: — Это была судьба. Ему на роду было написано плохо кончить».

«В этом государстве?»

«Не знаю. Может, и не только в этом. Ты думаешь, — спросила она, — всё дело в этом государстве?»

По крайней мере, отчасти, ответил я.

«Вот именно, что отчасти. Это был такой характер. Я думаю, — прибавила Ира, — его добило то, что я сказала ему...»

На этот раз не было пирога, лежали на тарелке какие-то печенья, дочь приходила и снова уходила, нужно было преодолеть ещё один барьер, не выпить ли нам чего-нибудь покрепче? Она поставила. Мы чокнулись. «За что?» — спросила она. Выпьем, сказал я, за... и не решился договорить; она кивнула; я спросил: знает ли она, где воевал Иванов?

«Он никогда об этом не рассказывал. Он вообще не любил говорить о войне. Как-то раз Марик заявил, — это я хорошо помню, — что мы будто бы принесли новое рабство вместо прежнего. Кто это — мы? Марик сказал: Советская Армия. Представляешь себе, это он говорит фронтовику. Кому же это мы принесли рабство? — Восточноевропейским народам. — Юра взбеленился и сказал, что он таких разговоров не потерпит. По-моему, это был единственный раз, когда зашёл разговор о войне. Но ведь все фронтовики не любят военных воспоминаний. Особенно, когда...»

«Когда что?»

«Когда ты вернулся калекой».

Я спросил Ирину Самсонову, известно ли ей, что к Иванову приезжали две немки.

«Нет... то есть да. Я их видела».

Рассказывал ли Иванов, спросил я, что-нибудь о них, об этом разговоре.

Она покачала головой.

«Эта девица хотела, чтобы Юра на ней женился. Хотела его увезти».

Я удивился:

«Откуда ты это взяла?»

«Ниоткуда. Знаю».

«Он сам тебе об этом говорил?»

«Никто не говорил».

Я возразил, что мне об этом ничего не известно, но браки с иностранцами, кажется, ещё в сорок шестом году были запрещены.

«Были, ну и что. У этой бабы были связи».

«Слушай-ка, — проговорил я и налил снова. — Раз уж зашёл разговор... Я хочу тебя спросить. Ты его любила?»

«Юру?»

Я кивнул. Она ответила:

«Я его жалела».

«Почему он это сделал?»

Она опрокинула рюмку в рот. Взяла что-то с тарелки, но, не откусив, положила обратно.

«Почему», — кивнула своим мыслям.

После некоторого молчания:

«Не знаю».

Гость ждал продолжения, наконец, она сказала:

«Я и на похоронах не была. Потом как-то позвонила его матери, мы встретились. Она мне рассказывала... Когда она пришла с работы, он лежал весь в крови. Перерезал себе горло этой штукой».

«Оставил что-нибудь, какую-нибудь записку?»

«Вроде бы нет».

Давно уже стемнело, мы сидели и не обратили внимания на то, что беззвучно открылась дверь.

Я хотел сказать Ирине, что приехал «собирать материал», но теперь мне ничего не нужно, никаких романов я писать не буду. Тем не менее отворилась дверь. Мы даже не слышали, как она открылась.

В сумерках, в чёрном фраке вошёл скрипач. Он был в тёмных очках, с плоским лицом и прилизанными волосами. Музыкант поднял смычок, мы услышали шлягер сороковых годов. Вошёл двоюродный брат Марика Пожарского Владислав, с бритыми лиловыми щеками, в лазоревом пиджаке и с розой в петлице. Вошёл призрак Иванова, с палкой, в морском кителе.

Я взглянул на Иру, она пожала плечами, как бы говоря: ну и что? Ничего.

«Извини, я хочу тебя ещё спросить, — начал я. У меня мелькнула догадка. И, кажется, она понимала это. — Ты можешь не отвечать, если тебе неприятно...»

«Спрашивай».

«Ты сказала, всю правду рассказать было невозможно... Значит, ты что-то скрыла от Пожарского? Что ты имела в виду?»

Она молчала, разглаживала рукой скатерть.

«Может, зажечь свет?» — сказала она.

Увидев на губах у меня застывший вопрос, она снова пожала плечами, как будто хотела возразить: нет, отчего же; могу сказать.

«У малышки была высокая температура, мы повезли её в Филатовскую больницу. Там признали корь...»

«Твоя племянница?»

«Да. Только я успела вернуться, он позвонил. Спрашиваю, в чём дело. Надо поговорить. Завтра? — говорю. Нет, сейчас, немедленно. Приезжаю в университет. Так и есть: мой Юра вдребезги пьян. По телефону ещё туда-сюда, а теперь совсем лыка не вяжет. Что делать, я вызвала такси. В те времена это была для нас немыслимая роскошь, но таксист выключил счётчик, не хотел брать денег с фронтовика. Кое-как мы его втащили, он жил с матерью, в двух разных комнатах. Ты у него бывал?»

«Мы вообще не были знакомы».

«Я тоже в квартире никогда не была. Комнаты были в разных концах коридора. Его мама уговорила меня остаться ночевать в своей комнате, а сама легла на кухне. Утром я не слышала, как она ушла, просыпаюсь — никого нет».

«Он позвонил тебе вечером, хотел поговорить. О чём?»

«Не знаю. Я же говорю, он был пьян. В общем, я решила взглянуть, как он там. Соседей не слышно, то ли спят, то ли ушли все на работу. Открываю потихоньку дверь и вижу, что он не

спит, лежит, заложив руки под голову, и смотрит так, как будто никогда меня не видел. А я и в самом деле. Стою в чужой рубашке, босиком, мать Юры высокая, я поменьше, рубашка чуть не пола. Словом, я увидела, что он проспался, хотела уйти. Что-то меня удержало — на одну, может быть, лишнюю минутку, и, мне кажется, он это заметил. Он спросил, читала ли я Бедье, историю Тристана и Изольды. Мне стало страшно».

«Минутку, — сказал гость, — о чём речь?»

Опять-таки можно было догадаться. *И меч лежал между ними.* Только у Бедье, сказал я, этого нет, это исландская сага.

«Ну, значит, он спутал».

«И что же?»

«Мне потом его мама рассказывала... отец привёз из Китая».

«Well, — сказал гость. — Что дальше?»

«Ничего: я подошла к столу, взяла меч двумя руками, за рукоятку и лезвие, он был довольно-таки тяжёлый. В углу у окна стоял протез. Я положила меч на постель, Юра подвинулся. Ложись, сказал он. Ложись рядом, ничего не будет. Там говорится ещё о любовном напитке. Любовный или не любовный, но я тоже была как будто опоена. Ничего не соображала. Я только знала, что если я уйду, это будет для него таким ударом, что...»

«А ты сама — хотела?»

«Да. Я этого хотела. Я, может быть, даже знала, что это произойдёт. Ещё когда шла по коридору. Нет, ещё до этого. Мы в то время... ну, что говорить. Ты меня спрашивал, был ли у меня кто-нибудь до этого».

Я изобразил удивлённую мину.

«Ну, хотел спросить. Никого, конечно, не было. Но теперь я знала, что это произойдет. Я поняла, что это сама судьба так устроила, чтобы мы остались вдвоём. Что мать Юры нарочно оставила меня ночевать и ушла пораньше. И я почувствовала, как бы это объяснить... почувствовала, что должна сбросить с себя это бремя девичества, вот и всё. Всё моё тело взбунтовалось, я хотела стать женщиной. И ещё... — Она опустила глаза, её ладони разглаживали скатерть. — Мне было так жаль его. Эта бабья жалость... сама по себе была уже чувством женщины, а не девочки, когда просыпается жалость, это значит, что ты ста-

новишься женщиной... Даже не жалость, а сострадание. Оно было для меня оправданием, что ли, перед самой собой. Но мне и не надо было оправдываться. Я просто взяла и сбросила эту штуку на пол, этот дурацкий меч, легла и почувствовала его руку на себе. Холодную, как лёд. И весь он был холодный. Мы оба замёрзли. Я повернулась к нему, стала его целовать. Но он почему-то медлил. И я шепнула ему...»

Приезжий хотел спросить: что шепнула?

«Не знаю. Что-то такое я ему сказала на ухо. Дескать, всё будет хорошо, давай... И он как будто очнулся, повернулся ко мне и положил свою культю мне на бедро. Я ужасно обрадовалась. Меня охватило нетерпение... Я, конечно, была совершенно неопытна, а он взрослый мужчина, хоть и старше всего на несколько лет; я думала, он возьмёт на себя инициативу. Даже крикнула на него. Ну и, в общем... что говорить?»

«Ничего не получилось?»

Она покачала головой. На другой день рано утром я улетел в Соединённые Штаты.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Если правда, что история есть не столько совершившееся на самом деле, сколько написанное о нём — на восковых табличках, на папирусе, на бумаге, — то история человеческой жизни начинается после того, как некто вознамерился о ней рассказать. Кладбища — это библиотеки ненаписанных романов.

Среди многочисленных функций романа мы должны выделить одну, может быть, главную: роман реабилитирует человека. Роман убеждает — в век неслыханного умаления человека, — что нет ничего более ценного, чем личность, и ничего более интересного. То, чему не научила гуманистическая философия, чего не сумела внушить религия, выполняет роман, последнее прибежище человечности.

Сочинитель сидит в номере гостиницы перед молочно-светящимся экраном, отводит взгляд — за окном узкий, глубокий колодец двора. В коридоре тишина. Кажется, ты один на всём этаже, во всём доме. Два чувства: первое — обыкновенное, привычное ощущение тупика; как будто готовишься, поплевав

на ладони, долбить ломом каменную стену. Второе... о нём говорить труднее. Россия, которая настигает везде, как наваждение. И так, о чём, собственно, мы собирались поведать? Иногда кажется бесполезной попытка восстановить историю книги. (Такие вещи уже делались). Два обстоятельства, или два образа, послужили первым толчком. Во-первых, это был парень, бывший фронтовик, которого я увидел на первом курсе, через несколько дней после начала занятий, в первую послевоенную осень, в прекрасном сентябре. Он был рыжеволос, строен, тщательно, даже шикарно для того времени одет в новый, тёмный в полоску костюм. Он был в галстуке и в пенсне, — кто тогда носил пенсне? Трость с набалдашником в правой руке. Ходил прихрамывая, по-видимому, на протезе.

Вероятно, он был не намного старше меня — мне исполнилось семнадцать, ему могло быть 22, от силы 24 года, но между нами было огромное расстояние, была война, мы принадлежали к разным поколениям. Только теперь, когда будущее, манящее нас, давно стало прошедшим, я могу понять, какого душевного мужества, какой выдержки стоила ему поза денди, цедившего слова, менторски-снисходительный тон и эти стёклышки, сквозь которые он взирал на нас, юнцов, — меня и моего товарища. Почему-то он достаивал нас вниманием, издалека спешил навстречу, припадая на ногу; мы тяготились его дружбой.

Этого человека (надеюсь, он ещё жив) я позднее уже никогда не видел, летучее знакомство растворилось в обилии новых впечатлений и дружб, вдобавок мы учились на разных отделениях. Я придумал ему военно-морское прошлое — и это была история, которая стала вторым отправным пунктом.

Автор узнал о ней из случайно увиденного немецкого документального фильма, в котором участвовали бывшие моряки, члены экипажа советской подводной лодки «С-13». Командир лодки, тридцатидвухлетний капитан 3 ранга Александр Иванович Маринеско, отец которого был румыном, после окончания Одесского высшего мореходного училища стал штурманом и капитаном торгового флота, а затем военным моряком-подводником. Он был хорошо известен на флоте, прославился как герой, был любимцем женщин, много пил, дебоширил, не ладил с начальством. После войны окончательно впал в немилость и умер в нищете и безвестности. История, о которой

идёт речь, произошла вблизи Данцигской бухты, в ста километрах от побережья Померании: лодка «С-13», получившая приказ занять боевую позицию в южной части Балтийского моря, где ожидалось появление немецких транспортов, выследила и потопила большой шестипалубный пассажирский корабль «Вильгельм Густлофф» с беженцами из отрезанной Восточной Пруссии.

Описывать войну, никогда не быв на войне (автора должны были призвать осенью 45-го, если бы война продолжалась), — дело по меньшей мере рискованное. В своё оправдание могу сказать, что я ограничился поначалу одним абзацем. Юрий перекочевал в роман, сохранив своё имя и внешность. Он стал у меня моряком подлодки «С-13», вахтенным офицером, который первым увидел огни вражеского корабля и был выловлен из ледяной воды после того, как лодку настигли глубинные бомбы немецкого эскадренного миноносца «Лев».

Ради этого пролога — и воспоминаний, которые преследуют Иванова, — мне пришлось проштудировать довольно обширную литературу. Я снабдился справочниками и атласами военно-морского флота разных стран в годы Второй мировой войны, собрал сведения о моторном лайнере «Густлофф», прочёл воспоминания рулевого-сигнальщика Г.Зеленцова, участника подводной атаки (умершего через полвека, в 1998 г.), разглядывал карты и фотографии. Мне помог также документальный роман Л.-Г. Бухгейма «Das Boot» («Лодка»), по которому сделан известный фильм. Познакомился я и с другим романом, правда, вышедшим уже после того, как моё сочинение было готово, — «Im Krebsgang» нобелевского лауреата и довольно вульгарного писателя Гюнтера Грасса, где описана вся история корабля «Густлофф» от схождения с гамбургских стапелей в 1936 г. до гибели в Балтийском море. (Русский перевод, под искажающим смысл оригинала названием «Траектория краба», появился в журнале «Иностранная литература».)

Мне нужно было получить реальное, до мелочей, представление о том, что происходило в открытом море в снежную январскую ночь 1945 года.

Утром в каютах и рубках, в помещениях для раненых и родильниц, на всех палубах, где теснились полузамёрзшие пассажиры (в день катастрофы температура воздуха была минус 18

градусов, ветер до семи баллов), радио транслировало речь Гитлера: «Сегодня, двенадцать лет тому назад, в исторический день 30 января 1933 года, провидение вручило мне судьбу германского народа».

Посадка происходила накануне, толпы беженцев запрудили гавань Пиллау, последнего портового города, который ещё удерживали немецкие части. Два буксирных судна вывели перегруженный корабль из порта. С маршрутом не все ясно, по одним сведениям, «Густлофф» направлялся в Свинемюнде, по другим — пунктами назначения были Киль или Фленсбург. В открытом море корабль сопровождали три сторожевых судна. С наступлением темноты капитан корабля Петерсен (он был спасён) распорядился не тушить задние бортовые огни и огни правого борта. С этой стороны «Густлофф» и был замечен. По некоторым сообщениям, капитан Маринеско, прежде чем атаковать, совершил обходный манёвр и зашёл с левой, береговой стороны; в воспоминаниях Зеленцова (и в моём романе) об этом не говорится. Последний из трёх выпущенных снарядов разрушил машинное отделение корабля, электричество погасло, и всё остальное происходило впотьмах.

Я почувствовал, что война с Германией вновь преследует меня, хотя кажется — что мне в этом прошлом, которое пронеслось стороной, совпало со временем отрочества, погружённого в собственный сон? Уехав (сорок лет спустя) из России, поселившись в той самой стране, которая тогда, на рассвете самого длинного дня 1941 года, двинулась всей громадой трёхмиллионного войска на Советский Союз, я научился читать летопись этой войны не одним, а двумя глазами, видеть войну не совсем так, как её видят в России. Моё понимание войны было пониманием человека, живущего полвека спустя, человека, который вступает на пепелище, успевшее зарости травой. Я всегда думал, что никто так плохо не разбирается в эпохе, как тот, кто в ней живёт; мы, конечно, не умней и не проницательней наших отцов, но у нас есть то преимущество, что мы пришли позже. Как бы то ни было, оглядка на военное прошлое, с какой приступил я к сочинению своего романа, по необходимости отличалась от стереотипа, которое пропаганда усвоила трём поколениям советских граждан; стереотип этот, по-видимому, незыблем по сей день.

Нелишне вспомнить о том, что, не будь нашествие остановлено, я и мне подобные были бы сожжены в печах. Страшно подумать, что стало бы со всей страной, если бы не удалось победить, — а ведь дважды, в ноябре сорок первого и в августе сорок второго, всё висело на волоске. Тот, кто пережил 9 мая 1945 года в Москве, кто помнит эти счастливые толпы, танцы на улицах, объятия, слёзы, это небывалое и никогда больше не повторившееся чувство, что всё страшное позади, всё прекрасное впереди, тот, у кого этот день, как у меня, всё ещё стоит перед глазами, — будет, наверное, возмущён или по меньшей мере удивлён, если я осмелюсь заявить, что победа обернулась поражением, досталась, как ни странно это звучит, ценой поражения, самого страшного, может быть, за всю одиннадцативекую историю нашей страны. Разгромлены оба противника; проиграла оба. Таков был слабо звучащий лейтмотив романа или, лучше сказать, его подспудная тема.

Я понял, что мой герой, мальчик-офицер, вернувшийся инвалидом, преследуемый, как кошмаром, воспоминанием о гибели женщин, детей, стариков и калек в бушующем снежном море, гибели, к которой он как-никак приложил руку, хотя никто не посмел бы его упрекнуть, — в конце концов он и сам едва не погиб, — что этот изобретённый моей фантазией Юра Ив́анов, так и не сумевший справиться с новой, мирной жизнью, есть в некотором смысле персонаж исторический. Мне стало ясно, что человек, которого война преследует не только буквально (сны, кошмары, напоминания, остеомиелит кульги, наконец, визит спасшейся немки; сюда же — возможно — импотенция), но и в каком-то более общем смысле — война как отсроченная смерть, от которой он случайно ускользнул и которая в конце концов его настигает, — что человек этот олицетворяет катастрофу, которую называли победой.

С этого момента стало понятно, о чём мне нужно писать: о наследстве войны, о первых послевоенных годах, о юности этих лет на пороге ослепительного будущего, которое стало прошлым, так и не сбывшись. О холодном, словно из подземелья, северном, как сама Россия, дыхании, которым веяло от этого будущего.

Обозначилась и точка зрения повествовательной прозы, в данном случае — точка зрения невидимого рассказчика-хрониста, жившего вместе с героями и живущего сейчас: его на-

блюдательный пункт расположен «к северу от будущего». Я использовал для названия моего романа строчку Пауля Целана (самоубийство Целана, постигнутость прошлым перекликались с сюжетом, который мало-помалу стал проясняться) и у него же заимствовал эпиграф — короткое стихотворение из сборника «Atemwende» («Перемена дыхания»).

Прозаический перевод, сделанный мною, конечно, не мог передать всю многозначность и прелесть маленького шедевра.

«На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты нагружаешь её тенями, что написали камни».

Тебя нет, ты живёшь в памяти, на дне рек, уносящих к полярному океану наше мёртвое, несбывшееся будущее. Туда, на холодный север, я отправляюсь, чтобы встретиться с прошлым, встретиться с тобой; туда забрасываю невод, мою поэзию. И вытягиваю — даже не камни, а тени, которые отбрасывают камни, тени окаменевшего будущего, бывшего будущего.

«Тень», Schatten, одно из ключевых слов Целана, ассоциируется с зыбкостью и темнотой, с царством мёртвых, но, как сказано в другом стихотворении: Wahr spricht, wer Schatten spricht. Кто говорит тенями, глаголет истину. Можно перевести иначе (памятуя о том, что Wahrspruch — это вердикт): кто говорит тенями, выносит приговор.

И всё же война в этом сочинении есть лишь некое quo ante. Осенью Юрий Иванов собирается поступить в университет. Выяснилось, что он всё же не главный герой предстоящего повествования, вернее, не единственный. Есть ли там вообще «главный герой»? Придётся повторить фразу, ставшую банальной: главный герой — время. Но с тем же правом можно сказать: любовь — вот истинный герой рассказа.

Рассказ... я произношу это полузапрещённое слово. Сколько раз нам твердили, и твердили мы сами, что традиционный повествовательный принцип исчерпал себя. Реалистическое повествование скомпрометировано, ибо скомпрометирована сама концепция реальности. Мы живём в послероманную эпоху. И, однако, я возвращаюсь к рассказыванию историй; у меня было чувство, что иначе мне не справиться с задачей.

Рассказ движется сюжетностью (или порождён ею), а сюжет, по Лотману, есть «революционный элемент» по от-

ношению к картине мира. Рассказ в моём понимании подразумевает бедность фабулы, возмещённую богатством сюжета, переплетением мотивов, этих несущих конструкций повествования.

Другое дело — отказ от той непосредственности, которую Эрих Ауэрбах («Мимесис») считал отличительной чертой русской литературы, — непосредственности, порождающей особую запретительную поэтику: никаких комментариев «от автора», покажите нам людей и обстоятельства, а не рассуждайте о них; философствовать — не дело художника.

Я понимаю, что рефлексия повествователя, замечания о войне, о времени, о неумении молодых людей найти себя и проч., как и сугубо литературный, старомодно-иронический стиль этих размышлений, — всё это подвергает испытанию терпение читателя. И всё же мне кажется, что метаповествование как *pendant* к рассказу в собственном смысле, введение дополнительных точек зрения, присутствие рефлектирующей инстанции внутри самого рассказа в наше время так же естественны, как описания природы в романах XIX века. Фразе Камю «Хочешь быть философом, пиши романы» нужно перевернуть: «Хочешь писать роман — будь философом». Мне хотелось подвести некоторый итог; всякий роман есть итог; я вернулся к юности, самому важному (после детства) времени жизни, с тем чтобы в эпилоге приземлиться вместе с рассказчиком в машине времени на Шереметьевском аэродроме — в сегодняшней Москве. Подвести итог, что это значит? В XIX веке говорили об отчуждении человека-производителя от производства. Болезнью только что минувшего века я назвал бы отчуждение человека от Истории. Историческое сознание изнашивалось. Оно перестало быть путеводной звездой. Идея великой цели скомпрометировала себя, надломилась иудейская стрела, указующая вперёд, к Царству Божию на земле. Стала очевидной абсолютная несовместимость Истории, Политики, Нации, государственных приоритетов, национальных амбиций, всех этих зловещих фантомов, обесценивших личность, обесмысливших культуру и мораль, — с заботами и надеждами человека, с реальной жизнью людей, над которой демоны обрели неограниченную власть.

С исторической точки зрения жизнь людей стала чем-то не заслуживающим внимания. С человеческой точки зрения только она и является подлинной жизнью. Жить в Истории невыносимо, вне Истории — невозможно.

Но в романе констатация несовместимости двух времён, человеческого и надчеловеческого, меня больше не удовлетворяла. Я по-прежнему представлял себе Историю как нечто бесчеловечное, абсолютно лишённое того, что некогда называли историческим разумом. Требовалось, однако, соединить несоединимое — увидеть, проследить, каким образом человек реагирует на всеобъемлющее насилие. Материалом для этого представлялось мне время юности.

В те времена у нас устраивались балы. (О них бегло говорится во второй главе.) Внизу и на втором этаже, куда вела парадная лестница, вдоль колонн и балясин знаменитой балюстрады аудиторного корпуса на Моховой, под гром духовых оркестров, топтались, качались, крутились пары, и автор был усердным посетителем этих празднеств. Если в качестве исходного образца для Юры Иванова, — правда, только исходного, — передо мной сквозь дымку воспоминаний маячил настоящий Ю.И. (никогда на эти балы не ходивший), то второй персонаж, Марик Пожарский, восходит к нескольким прототипам; один из них — мой закадычный друг студенческих лет, арестованный, как и я, на последнем курсе, но получивший срок поменьше, а впоследствии ставший известным поэтом-переводчиком. Его оригинальные стихи приписаны Марику Пожарскому. И, наконец, третье лицо треугольника: девушка 18 лет, чем-то напоминающая одну реально существовавшую студентку. В главе «Танец» она учит инвалида фигурам танго.

И раз уж зашла речь о прототипах, можно добавить, что профессор Данцигер имеет некоторые черты сходства с покойным Сергеем Ивановичем Радцигом, заведующим кафедрой классической филологии. Я сделал Данцигера германистом, молодых людей — студентами западного, или романо-германского, отделения. Биография и отчасти внешность его брата могут напомнить о Фёдоре Августовиче Степуне, русском философе, предки которого были выходцами из Восточной Пруссии. Правда, Степун, изгнанный из Советской России в 1922 г., никогда не возвращался.

История, похожая на разоблачение Игоря Былинкина, произошла с известным всему курсу активистом-общественником Б.: он тоже считался бывшим партизаном. Кажется, ему разрешили после крушения заочно окончить университет, он стал доктором наук; его уже нет в живых. Но любовная история в эвакуации, прибытие в университет родственников соблазненной девицы и т.д., а также возвращение Былинкина в Агрыз придуманы.

Дела давно минувших дней, прошлогодний снег... Воспоминания — сырьё, которое должно быть переработано. Отсюда следует, что если автор обращается к тому, что «было», получается не совсем то, что было. Живое, интимное чувство ушедшей жизни, то, что всегда и везде питало литературу, может ли оно быть всеобщим достоянием? Химический процесс, торжественно именуемый творчеством, денатурирует действительность; самое понятие действительности становится для романиста сомнительным. Реальными, однако, остались «декорации». Два старых здания, разделённых бывшей улицей Герцена, они и для меня когда-то были родным домом.

Гораздо больше, чем «нормальные» члены общества, романиста занимают маргиналы, те, кого не расплющил штамповочный пресс. Существенно важный мотив романа связан всё с тем же насилием Истории, точнее, с репрессивным обществом, куда вступили эти юнцы. То, что составляет реальное содержание их жизни, любовь, этот островок индивидуальной свободы, на котором юноша и девушка всецело располагают собой, чувствуют себя самими собой, — внутреннее изгнание, куда, сами того не сознавая, они уходят, чтобы отстоять себя, — оказывается западней, которую готовит им общество, изначально враждебное и карающее всякую независимость.

Каждый из них заново и на свой лад постигает роковую для подростка, переступающего порог юности, истину связи любви с сексом.

Между тем есть нечто закономерное в том, что секс оказывается под подозрением в фашистском обществе: секс есть вторая крамола. В этом обществе нравственность носит полицейские черты. И подобно тому, как политическая несвобода усваивается с раннего детства, становится воздухом, которым

дышат, входит в плоть и кровь, — так воспитываются стыд и скованность, становятся нормой поведения трусость и ханжество, какого не знало буржуазное общество. Идиотический этикет, казалось бы, дикий и невозможный на фоне бедности и плебейства. Пуританские нравы, оборотная сторона подпольного разврата. Какие-то невидимые вериги, целая система недомолвок и недоговорённостей, целая область неупотребляемых слов, табуированных тем, неназываемых предметов. Всё это уже не навязанная свыше, но ставшая второй натурой несвобода. Носителями этой свободы-несвободы становятся персонажи: это роман о невозможности любви.

Я пытался передать то особое чувство, знакомое каждому молодому человеку, каждой девушке: почти физическое ощущение, что вокруг тебя и в тебе дрожит магнитное поле эротики и любви. Этот факт нужно скрывать. Он представляет собой нечто недозволенное, нечто постыдное. Нужно делать вид, что ничего подобного не существует — совершенно так же, как не существует тайной полиции, доноительства, всеобщего страха и всенародной нищеты. В этой ситуации находится Марик Пожарский, робкий бунтарь. Скованный и немой, что он придумывает? То, что придумывали влюблённые всех веков: объяснить заочно — написать письмо. Бумаге можно доверить то, что не может быть сказано вслух. В письме можно стать отважным, дерзким, письмо освобождает из плена трусости, неуверенности, стыда, другими словами, отчуждает пишущего от его собственной природы. И в то же время артикулирует его подлинные, его тайные надежды, мысли и чувства.

Но так как письмо есть не что иное как высказанное *вожделение*, оно (как говорит Ролан Барт) имплицитно обязывает к ответу. К какому ответу? Не к письменному, разумеется. Она должна будет дать понять, что письмо получено, сигнал принят. Как она это сделает? Прямо (навряд ли) или намёком? Проявит ли благосклонность? Может быть, посмеётся. Как бы то ни было, любовное письмо — это целое приключение. Увы, Марик не решается и на этот шаг. Вместе с тем он совершает важное открытие. Это открытие нового измерения мира — эротизма. Первичная физиологическая сексуальность преобразуется в безбрежную эротику. Мир оказывается для Марика, начинаю-

щего поэта, несравненно богаче, нежели для какого-нибудь Владислава, который (по-видимому) уже усвоил навыки секса, технику обладания женщиной как сексуальной партнёршей. Марик погружён в неутолённое желание — это ситуация художника. Его «объект» всегда прикрыт, прикровенен (он не может представить себе Иру раздетой), это «неразгаданная тайна» Тютчева. Но Марик сам, не сознавая этого, противится разгадке: она уничтожила бы любовь, низвела бы её на уровень секса. Безвыходность усугубляется ложным сообщением о том, что Ира принадлежала другому, — разочарование, сопоставимое с разочарованием в коммунизме и, далее, с метафизическим разочарованием, «болезнью расколотого зеркала», — и заканчивается бунтом, поступком, который Ира (и, очевидно, все окружающие) воспринимают как бессмысленный. На самом деле это не что иное, как мальчишеский вызов абсурдному миру.

Юношеская любовь не просто безвыходна; она движется к катастрофе. Рано или поздно эротическое поле должно было вступить в противоречие с другим электромагнитным полем — мистическим вездесущим присутствием Вождя. Если бы объявился кто-то пожелавший создать единую теорию поля (наподобие физической, поисками которой занимался Эйнштейн), он пришёл бы к выводу, что женщина и диктатор суть два полюса искомого универсального поля. Но единого поля не было. Психологическое «поле» Вождя исключало присутствие каких-либо конкурирующих воздействий. Поле, которое вот-вот прорвётся искровым разрядом в душном зале кинотеатра на Арбатской площади, где идёт демонстрация эпохального фильма «Клятва», истерическое поклонение Вождю-Вседержителю, — этот психологический климат, это поле не было метафорой, заимствованной из области, о которой автор в общем-то имеет смутное представление. Надо было жить в то время, чтобы почувствовать его реальность. И надо было сызнова вспомнить, как жестоко насмеялась жизнь над всеми нами. Вот отчего и эта тема вплелась в роман.

И вот теперь, когда я сидел в комнате на четвёртом этаже маленькой гостиницы на Монмартре и вперялся в молочный экран, всё как-то схватилось — так схватывается майонез после долгого перемешиванья, и составные части больше не расслаи-

ваются. Образы и музыкальные мотивы сцепились в некое целое — девушка и два парня, томление и неразрешимость, незванная гостя из-за рубежа, выжившая назло всему, и оставшийся в живых юноша-инвалид, один из тех, кто пустил ко дну корабль с беженцами, профессор-конформист и его брат — мистический патриот, которого в конце концов пожрало любезное отечество, и разодетый в пух и прах, фат и трус Владислав, и Вождь за зубцами Кремля, и разрушенный жизнью, всё ещё воспевающий великую эпоху поэт в доме творчества государственных литераторов под Москвой, и какой-то там аспирант N, и стукач Геннадий. И гениальный романтик Новалис, и девочка Софи фон Кюн, и стихи Марика Пожарского, и его танец в студенческом клубе с двадцатилетней камелией, и меч, лежащий, как меч легендарных любовников, как роковая преграда, между Ирой и Юрой, «лезвием ко мне». И весь огромный мир, который встал перед автором за этими людьми-знаками, домами-знаками, башнями-знаками, и юность, и Германия, и Москва. И вот этот морок рассеялся, сочинение — перед вами.

2003

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Весь фокус был в том, чтобы найти равновесие между реальностью ситуации, будничной и логичной, и нагромождением неожиданных препятствий, которые, однако, не должны были производить впечатление фантастических. На помощь пришёл сон — и даже сон во сне.

Луис Бунюэль

Вы согласитесь со мной, что с каждым могут случаться странности. То, что со мной случилось, покажется неправдоподобным. Я слышал, как голос вещает по радио, различал отчетливо каждое слово и не понимал ни слова. Наконец, до меня дошло: авария в туннеле. Пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом. Народ уже ехал вверх по эскалатору. Чёрные клочья небес висели над крышами зданий, мимо неслись машины с включёнными фарами, сеялся мелкий дождь, от которого всё вокруг — окна домов, тротуар, лица прохожих — приняло неживой, оловянный оттенок. Жизнь суетилась вокруг меня, это была механическая, мёртвая жизнь без цели и смысла, напоминающая старую поцарапанную киноплёнку. Я стал в очередь, но никакой очереди не соблюдалось. Люди втискивались как попало в подошедший, старый и забрызганный грязью автобус. Я ехал в молчаливой колыхающейся толпе, в испарениях пота и влаги, автобус кружил по извилистым улочкам, сквозь мутные стёкла ничего не разобрать.

Стемнело, зажглись фонари; смутные отсветы дрожали на лицах, никто не выходил, на остановках новые толпы штурмовали автобус, руки висящих искали за что уцепиться, экипаж, как корабль от пристани, грузно отвалил от тротуара, проплыл ярко освещённый циферблат. Следовало перевести стрелки; в эту минуту я уже вполне отдавал себе отчёт в том, что моя затея безумна; возвращаться было поздно, и что значило возвращаться, куда? Ведь я и так возвращался.

Оказалось, что в дом невозможно войти. Это было что-то новое, подражание за границе; других новшеств я не заметил, в общем-то ничего не изменилось за эти годы. Это угнетало и утешало в то же время, и даже придавало мне отваги. Наружная дверь снабжена устройством с кнопками и микрофоном. Здесь боялись бандитов. Сообразив, что надо набрать номер квартиры, я надавил на кнопку с надписью «входите», — безрезультатно. Тут каким-то образом возник некто в плаще с поднятым

воротником, в низко надвинутой шляпе, что-то нажал, произнёс что-то, может быть, пароль, и открыл дверь. «Подождите», — сказал я (или хотел сказать), схватился за ручку, но человек как будто не слышал и с силой захлопнул за собой дверь. Я сошёл с тротуара: это был наш дом, мертвенно отсвечивали высоко под крышей наши тёмные окна. Незачем было тащиться — её нет и не может быть. Ноги подтащили меня к дверям, я надавил, сколько было силы, на кнопки, услышал шорох в микрофоне и рванул ручку. Я был доволен, что человек не пустил меня в дом, никто не будет знать, что я здесь. Лифт, как всегда, не работал. По тёмной лестнице, этаж за этажом, я крался наверх, пока не увидел над головой потолок. Позвонил, и мне открыли.

Она была в домашнем халатике. Вероятно, она уже легла, я заметил неприбранную постель. В комнате ничего не изменилось. Моя жена тоже не изменилась. Всё тот же болезненный вид, блестящие волосы и круги под глазами. «Выпьешь чаю? — беззвучно спросила она. — Когда ты приехал?» Очевидно, предположила, видя меня без багажа, что я уже несколько дней в городе.

Я ответил: «Какой-то жилец захлопнул дверь прямо перед моим носом. Разве я похож на преступника?»

Она улыbnулась.

«Тебя не удивляет, — продолжал я, — что я пришёл без предупреждения?»

Она покачала головой, её взор блуждал, избегая моих глаз, она запахла на шее халат.

«Тебя не интересует, как я живу?»

Ответа не было. Мы стояли друг перед другом, я уловил лёгкий вздох, её губы прошелестели: «Я знала».

«Да, но...»

«Я знала, что ты вернёшься», — сказала она.

Эти слова меня удивили и обрадовали, я не нашёлся, что ответить. Речь, которую я приготовил, застряла у меня в горле. «Но ты же понимаешь, Катя...» — пробормотал я.

«...вернёшься, — сказала она, словно не расслышав моих слов, — и мы будем жить по-старому».

Вот это мне уже не нравилось, это напоминало наши бесконечные ночные пререкания. Я чуть было не возразил: по-

старому? Что значит по-старому? Опять всё сначала: обыски, допросы, машина под окнами? Я ничего не сказал, она прочла мои мысли. Усталым жестом провела рукой по волосам.

«Теперь всё переменялось. Если бы не переменялось, тебя бы здесь не было...»

О, нет, Катя, хотел я сказать, ничего не переменялось.

«Я знала, — продолжала она. — Знала, что ты приедешь. Я тебя ждала. Каждый день ждала. Вчера ждала. Сегодня ждала.»

«Я тебя разбудил...»

«Да. Я успела задремать и увидела во сне, будто ты приехал и стоишь внизу. В дверь звонят, а я лежу и ничего не слышу. — Она засмеялась. — Может, ты и сейчас мне снишься?».

«Катя. Сейчас не время. Мы можем всё спокойно обсудить позже».

Неполадки, конечно, бывают, продолжал я, но их быстро устраняют, это не Россия. Она усмехнулась, смотрите-ка, сказала она, каким ты там сделался патриотом. Я объяснил: нам бы только добраться до метро.

«До метро?»

«Да. Спустимся вниз, и никто нас уже не сцапает».

Она ничего не понимала: кто нас должен сцапать? Какие неполадки?

«Сам не знаю; авария или что там. — Я хотел рассказать, как я ждал поезда, не мог догадаться, о чём вещал громкоговоритель; но сейчас это не имело значения. — Важно, что это способ, понимаешь? Способ уехать».

«Уехать?»

«Ну, конечно».

«А я думала...» — пробормотала она.

Я хотел было сказать, что приехал не совсем легально, но сообразил, что сейчас об этом лучше помалкивать, это может её отпугнуть. Я вдруг растерял все мысли. Всё начало путаться в голове. А главное, я забыл, что нельзя задавать некоторые вопросы. Нарушил правила игры, которые мы, не сговариваясь, молча установили для себя.

Ни с того ни с сего я брякнул:

«Катерина... неужели это правда?»

Я имел в виду, что она, как бы это выразиться. Что она жива.

«Как видишь», — сказала она просто. Поёжилась, поплотней запахла халатик.

Выходило, что она как будто даже знала о том, что до меня дошло это известие. И так, я по крайней мере удостоверился, что известие было ошибочным. Теперь я даже не помнил, когда я его получил, три года назад или ещё раньше, да и не всё ли равно. Это была ложь. Без сомнения, дело рук всё той же организации. На них это похоже. У них есть специальный отдел для распространения ложных слухов.

Смешно! А я-то, дурак, поверил, не знал, куда деться от тоски и горя.

Она сказала:

«Ты мне не писал. Я поняла, что ты занят... готовишься к возвращению».

Опять она об одном и том же.

«Катя, пойми. Там была авария, — сказал я, забыв, что уже говорил об этом. — Теперь всё поправили. Собирайся».

«Куда?»

«У нас мало времени. Собери самое необходимое».

Я встал и начал ходить по комнате. Моя жена дрожала, я видел, что у неё поднялась температура, обычная история, но мне не хотелось думать сейчас об этом, я сказал, у тебя окошко открыто, ты не одета, здесь другой климат. Здесь гораздо холодней, чем у нас там... и подошёл к окну, лёгкий ветер отдувал занавеску. И было такое впечатление, будто город исчез. Не было переулка и дома напротив, и даже не видно было горизонта, чёрная пустота, ночь, похожая на небытие. Но, приглядевшись, я кое-что заметил.

«Послушай... — проговорил я. — Там стоит машина».

«Какая машина?»

«Перед домом! — закричал я. — Ты что, успела сообщить этим крысам?»

Она только испуганно мотала головой, закрыла рот рукой.

«Прекрасно, — бормотал я, озираясь, — ты не обращай внимания, я сейчас... Скажешь, что у тебя никого не было. Скажешь, ты спала и ничего не слышала...» Я выскочил на лестничную площадку и стоял, схватившись за перила, была мёртвая тишина. Очевидно, они ждали, когда я выйду из подъезда. Я рассчитывал спуститься в подвал и оттуда как-нибудь выбраться через окно; впрочем, стук разбитого стекла мог привлечь внимание. Тут я заметил — было ли это через несколько секунд или минут? — заметил, что считаю этажи: в это время я сходил

по лестнице. Никакого хода в подвал не оказалось. В этой тишине таилась такая угроза, что лучше бы уж снаружи слышались шаги или рокот мотора. Подкравшись на цыпочках, я открыл парадную дверь. Но машины не было, никого не было, и я двинулся, инстинктивно приглушая шаги, наугад по тёмному переулку.

II

Не помню, чтобы я просыпался, радуясь предстоящему дню. Утро для меня время трезвой безнадёжности. Обстоятельства тут ни при чём; причины скорее внутренние. Утро заглядывает в моё жильё, слёзы дождя стекают по стёклам, диктор читает последние известия, не отличимые от вчерашних. Я не стал бриться, что было бы совершенно излишним. Позавтракал чем Бог послал.

Вероятно, мне надо представиться. Надо ли? *Nomina sunt odiosa*¹ Те, кто со мной знаком, знают, как меня звать, для незнакомых не всё ли равно? Платон говорит (устаами Сократа), что имена следует давать, не погрешая против природы. Прав он или не прав, но имя становится в самом деле частью вашего естества, как горб или кривой нос. Я существо мужского пола. Об этом можно догадаться по глагольным формам, мною употребляемым. Мне пошёл пятый десяток, примерно столько же мне можно дать, взглянув на меня. Я уже не молод, но ещё не стар. Роста я невысокого, особо располагающей внешностью похвастаться не могу; если женщины изредка оказывают мне внимание, то это объясняется разве лишь состраданием. Далее, я не являюсь подданным этой страны, хотя живу здесь постоянно. На вопрос, нравится ли мне здесь, я могу ответить: да, потому что всегда можно отсюда уехать. Не всякому государству можно поставить в заслугу, что оно не держит на привязи своих жителей.

В четверть восьмого (мои часы спрятаны под рукавом балахона, на мне просторные штаны неопределённого цвета, на голове антикварная фетровая шляпа, башмаки просят каши) я поднимаюсь по широким ступеням храма св. Иоанна Непомука, расстилаю коврик, вернее, то, что когда-то было ковриком. Ря-

¹ Имена ненавистны (лат.).

дом со мной стоит бутылка красного вина, наполовину опорожнённая, это наводит на мысль, что я успел подкрепиться спозаранок. Таков в двух словах мой «имидж». Что же касается моего характера, менталитета или как там это называется, то важная черта его состоит в том, что я остаюсь самим собой и в то же время обзираю себя со стороны. При кажущейся несообразности моего существования я сохраняю безупречный контроль над собой. Порядок есть порядок; внутри некоторой безумной системы царствует логика. Это правило одинаково применимо к произведениям искусства, к снам и к повседневной жизни. Я сижу, прислонившись к колонне. Головной убор покоится между ног.

Итак, мы можем считать, что рабочий день начался, время подумать о душе, поразмыслить о моей профессии, одной из древнейших. Но день сулил мне неприятности. Я должен был их предвидеть.

Не успел я собрать и гроша, как из-за угла (церковь стоит у поворота на магистральную улицу и несколько особняком) выступил субъект, в котором я без труда распознал собрата по ремеслу; возможно, он поджидал меня. Он склонил взгляд на мою шляпу, как заглядывают в высохший колодец. Я извлёк из-за пазухи стаканчик, налил ему. Он отпил глоток и выплюнул.

«Дрянь».

Я пожал плечами: дескать, что поделаешь.

«Погодка, — по-русски сказал он, садясь рядом. — Давно тут пасёшься?»

Человек протянул корявую ладонь.

«Вальдемар. Можно просто Вальди. А тебя как? Ты что, инопланетянин?»

Я искоса взглянул на него и сказал:

«Каждые семьдесят шесть лет комета Галлея появляется на нашем небе».

«Да ну?» — сказал он лениво.

«Каждые полторы секунды на земле совершается три тысячи убийств».

«Я думаю, больше».

«Восемнадцать с половиной тысяч изнасилований».

«Доказать невозможно, — заметил он, — у бабы не всегда поймёшь, хочет она или не хочет. — Закончив разговор, он поднялся. — Собирай манатки, пошли».

«Куда?»

«Здесь всё равно ничего не соберёшь».

«Я собирал».

«Пошли, я тебя с нашими познакомлю. Кому сказали! А то хуже будет», — добавил он.

С ковриком под мышкой я поплёлся за ним; тот, кто знает город, может мысленно проследить наш маршрут. Переулками, избегая шумные магистрали, мы шагали по направлению к Северному кладбищу. Дождь перестал. Исчезли нарядные вывески, с каждым перекрёстком дома становились ниже и неказистей. Жалкое солнце осветило скучные, пустынные кварталы, где я никогда не бывал. Утро можно было считать потерянным. Оставалось не так уж много времени до полудня, когда мне надлежало отправляться на вторую работу.

«Слушай, Вальди...» — пробормотал я.

«Без паники; сейчас всё узнаешь. Ты про такого композитора слышал: Вивальди?»

Мы брели мимо низких слепых окон, горшков с мёртвой геранью, мимо заборов и подворотен, завернули в хозяйственный двор, пробрались между фургонами и штабелями пустых ящиков; это были задворки магазина, выходящего на другую улицу. Во дворе стоял трёхэтажный дом с пыльными окнами и зияющим входом, на вид нежилой, вошли, узкая лестница, шаткие железные перила, выщербленные ступеньки. Вожатый трижды стукнул кулаком, выждал и стукнул ещё раз. Некто со съехавшей вбок физиономией — в народе говорят: косорылый — впустил нас в полутёмную прихожую. Коридор загромождён рухлядью, с кухни тянет пригорелым, пованивает отбросами.

В большой комнате сидел перед отечественным самоваром человек с наружностью отставного профессора, в полуседой бороде, в пенсне, с высоким залысым лбом, в парчёвом халате, как будто сшитом из театрального занавеса, продранным под мышками и на локтях. Рядом на стуле стоял проигрыватель.

«Вивальди привёл», — доложил косорылый.

«Астрономией интересуется, — пояснил Вальдемар, — говорит, комета Галлея... каждые сто лет».

«Семьдесят шесть», — презрительно сказал я.

«Да неужто? — удивился профессор. — Вы действительно так думаете?»

«Это установленный факт», — возразил я.

«Нет, вы это серьёзно?»

Человек за столом обратил вопросительный взор к Вальдемару. Тот пожал плечами, профессор шумно втянул воздух через волосатые ноздри и насупился. Наступило молчание, затем он промолвил:

«Этот вопрос стоит обдумать. Подстилку можете положить в угол...»

Он сделал знак косорылому. Меня отвели в другую комнату, где было ещё грязнее. С топчана поднялся детина огромного роста, гривастый, с чёлкой до бровей, и, не говоря худого слова, врезал мне по уху. Я пошатнулся и чуть не сел на пол.

«Ты чего... что такое...» — лепетал я, закрываясь руками, и получил вторую затрещину.

В дверь всунулся Вивальди.

«Ты зачем коллегу обижаешь, Дёма? Нехорошо!»

«Ты... ёбт!» — проревел Голиаф и ощерился, делая вид, что хочет наброситься на него.

«Да ладно тебе...» Поддерживаемый с двух сторон Вальдемаром и субъектом с несимметричной физиономией, я был препровождён назад в гостиную, где профессор в халате пил из блюдечка чай.

«Безобразие! — сказал он. — Где вторая чашка? И пирожные. Кто сожрал пирожные, признавайтесь, суки».

Передо мной поставили чай, явилось и блюдо с полурасплющенным пирожным.

«Сливки?» — осведомился профессор.

Просверлив меня взглядом, он проговорил:

«Пошли вон... (Это относилось не ко мне.) Дёме передать, чтоб больше не смел».

Мне он сказал:

«У него тяжёлая рука. Этак и убить можно. Но! Порядок есть порядок. Вот так. Лицензия у вас имеется?»

«Какая лицензия?»

«Какая, какая, в гроб твою мать. Полицейская, какая же ещё. Полиция даёт разрешение на занятие промыслом, вы что, впервые об этом слышите? Пейте чай».

«Я думал...» — сказал я.

«А не надо думать. Поберегите умственную энергию для более серьёзных вопросов. Что вы думаете о проблеме бытия?»

«Ничего не думаю, — сказал я мрачно. — Мне надо идти».

«Куда это?»

«Мне пора на работу».

«Ась? Не слышу».

«На работу...»

«На какую это работу? Ага, — сказал он. — А вот это уже совсем плохо. Из ваших слов я заключаю, что промысел для вас всего лишь побочное занятие, так сказать, халтурка с целью подзаработать...»

«Промысел?»

«Да. Из ваших слов следует, что промысел для вас не работа».

«Одно другому не мешает».

«Ошибаетесь, любезный... Этот вопрос, впрочем, можно обсудить. Ты что, брезгуешь, дай-ка мне... — пробормотал он, забирая у меня пирожное. — Полиция дело десятое, — продолжал он, — мы тебе эту лицензию устроим. Я сам позабочусь... И заруби себе на носу: никакой самодеятельности. Ты находишься в свободном государстве. И более того. Ты живёшь в правовом государстве. Хочешь работать, работай. Хочешь собирать милостыню — пожалуйста. На голове ходить? Сделай одолжение. Но! — рявкнул он, подняв палец, — изволь соблюдать порядок. А то, понимаешь, выбрал себе местечко: без разрешения, без согласования! Если каждый будет себе позволять... Один у Непомука, другой в оперном театре начнёт собирать, а то ещё, пожалуй, у дверей земельного парламента...»

Профессор дожеввал пирожное, обсосал пальцы.

«Договоримся так. Ты до какого часа сидишь? До обеда? Вивальди в это время как раз обходит коллег. Двадцать пять процентов. Это нормальное обложение, я бы даже сказал, гуманное... в других городах взимают половину. Мою мысль понял?»

«Понял, — сказал я. — А если ничего не соберу?»

«Так не бывает».

«Иногда бывает».

«Это от неопытности. Ничего, научись... Разве что погодные условия могут быть неблагоприятны, ну там, проливной дождь... Да ты и сам не вылезешь в такую погоду. Ты пособие получаешь? нет? Я тебя ставлю на пособие. В случае падения подаваемости. И смотри у меня, — сказал профессор, —

один раз поймаю — всё, ты у меня вышел из доверия. За укры-
вательство знаешь что бывает? Я тебя достану из-под земли.
Мои люди тебя всюду найдут, заруби это себе... Эй, кто там? —
крикнул он. — Неси сюда».

Косорылый явился с граммофонной пластинкой.

«Терпеть не могу эти новые...». Он имел в виду компакт-
диски. Профессор отодвинул чашку и застыл в молитвенной
позе.

«Прекратить пить чай, — сказал он внятно. — Это кто?»

«Перголези. Stabat mater».

«Правильно. Вот за это хвалю».

Минут пять послушали, этого было достаточно, чтобы что-
то переменялось в гнуснейшем из миров. Шеф приподнялся, ос-
тановил музыку.

«Гармония происходит оттуда, — он поднял кверху па-
лец, — это я тебе как знатоку астрономии говорю. Ты о Пифаго-
ре слышал? Пифагор учил... музыка сфер...»

«Это каждый ребёнок знает», — сказала я.

«Не каждый. Никто из этих говноедов не имеет представ-
ления о том, что такое настоящая музыка... Я упомяну о тебе в
своих мемуарах. Давно побираешься? Один живёшь? Когда
приехал?...»

Аудиенция закончилась.

III

Пришлось искать такси — как ни мало это согласовалось с
моим одеянием. Шофёр опустил стекло и осведомился насчёт
платёжеспособности. Я сунул ему купюру и плюхнулся на зад-
нее сиденье. Машина остановилась возле моего дома; чтобы не
привлекать внимания, я попросил въехать во двор, выскочил,
не теряя времени, и взбежал по чёрной лестнице. Я опаздывал.

Полчаса спустя (метро с пересадкой) я свернул на улицу
Шеллинга и зашагал в толпе; я был свежевыбрит, сделался вы-
ше ростом и помолодел, женщины угадывали во мне удовле-
творительную потенцию, моя шляпа, плащ, галстук, ботинки
ничем не выделяли меня среди снующих взад и вперёд пешехо-
дов, меня можно было отнести к нижней половине среднего
класса. Я как бы видел себя со стороны. Мои глаза приняли не-
определённую окраску — это был цвет погоды, физиономия

лишилась какого-либо выражения, если не считать летучей заботы, своего рода рассеянной сосредоточенности горожанина; короче, я стал никем. Клим, услышав шаги, вышел в коридор, где у нас помещаются шкаф с бумажным хламом и фотокопировавшая машина. Куда я пропал? Потрясающие новости.

Неизвестные люди в Бухаресте подожгли автомобильные покрышки перед статуей кондуктора. Это может означать начало очень важных перемен. Продолжаются демонстрации в Польше. Обыски и аресты в Москве. Я придвигаю стул вплотную к письменному столу, чтобы освободить место посреди комнаты, и становлюсь на голову. С улицы доносится гул города. У меня слегка поламывает скула после дёминого приветствия. Два женских голоса поют в моей душе, лебединая песня Джованни Баттиста Перголези.

Я держу равновесие; люди, которые умеют стоять на голове, всегда вызывали у меня почтительное изумление, и я, наконец, научился этому искусству; оно возвращает мне чувство самоуважения и утверждает моё место в мире; люди, стоящие вверх ногами, легче справляются с существованием в мире, который в некотором смысле тоже стоит на голове. Я уселся за стол, меня ждёт кипа рукописей. Почти наугад вытягиваю одну, заглядываю в конец, чтобы сразу прикинуть, сколько нужно сократить. Начнём с начала; заголовок никуда не годится. Заголовок не должен обозначать содержание, для этого существует подзаголовок. Заголовок — это метафора, он должен быть неожиданным, загадочным, интригующим, заголовок статьи — это встреча, полная романтических ожиданий, а подзаголовок — то, чем незнакомка окажется на самом деле. Первая фраза всегда лишняя. Весь первый абзац, в сущности, лишний. Нужно брать быка за рога, нужно швырнуть читателя в водоворот событий вместо того, чтобы топтаться на берегу. Я работаю, вычёркиваю, вписываю, исправляю неправильные обороты, я прекрасно понимаю, с кем я имею дело. Автор — заслуженный борец с тоталитарным режимом, что, по-видимому, даёт ему право не заботиться о таких пустяках, как синтаксис и грамматика. О слоге не приходится говорить. В комнате устоявшийся запах рутины. Мой стол, телефон, стопка исчёрканных, испещрённых корректорскими значками страниц — всё пропиталось этим запахом, похожим на запах скверного табака. Время от времени я смотрю в окошко. Моё тело сидит за столом, голова ушла в пле-

чи, лёгкие всасывают воздух, почки процеживают кровь, органы наслаждения безмолвствуют в углублении между бедрами и животом. Несколько времени погодя я отправляюсь в кабинет Клим, где всё дышит энтузиазмом. Мы составляем план номера, и я по-прежнему поглядываю в окно.

Мой коллега, товарищ по общей судьбе и благородному делу, тот, кому это дело обязано своим существованием, а я — работой и зарплатой, заслуживает того, чтобы по крайней мере сказать о нём несколько слов. Беда в том, что говорить о нём мне скучно. Это не значит, что я отношусь к нему плохо. Мы друзья и научились терпеть друг друга. Две черты его характера, по-видимому, необходимы для выполнения миссии, которую он возложил на себя: самоотверженность и нетерпимость. Он всегда готов очертя голову броситься на помощь преследуемым, арестованным, сосланным, заточённым в психиатрическую тюрьму. Если бы он мог поехать «туда», чтобы разделить с ними их участь, он бы сделал это. Что касается другой черты, то она приняла у него своеобразную форму всесторонней осведомлённости. Он всё знает и притом лучше всех. Он знает историю, философию, медицину, искусство, кулинарию и многое другое. Нужно остерегаться обсуждать с ним что бы то ни было, паче всего — вторгаться в политику. Здесь возможна лишь одна форма диалога: согласие и поддакивание. Здесь он непререкаем и неумолим. Клим моложе меня на добрый десяток лет. На нашей бывшей родине он знаменит. Он подписал две дюжины писем протеста и отсидел несколько лет в тюрьме. Его арест в свою очередь вызвал волну протестов, о его освобождении ходатайствовали руководители нескольких стран. Я чувствую себя обязанным воздать моему товарищу нелицемерную хвалу за то, что он пострадал за свои убеждения, в отличие от меня, который их не имел. Я не задаюсь вопросом, что подумал бы честный Клим, увидев меня сидящим на ступенях Непомука. Притом что всё это, заметьте, происходит не так уж далеко от редакции. Но, представив на минуту, что кто-то мог бы меня разоблачить, я тотчас отвергаю это предположение, я уверен, что осколки моего существования разлетелись так далеко, что сложить их вместе, как осколки разбитой тарелки, не сумел бы никто.

Жизнь не равна самой себе, вот в чём дело. У действительности есть второе дно. Будь я художником, я примкнул бы к школе, которая доверяет фантазиям больше, чем реальности, и

декларирует сверхистину снов, я не удивился бы, увидев вместо Клима в кресле главного редактора какое-нибудь монструозное существо. Я даже думаю, что так оно и есть, просто это не бросается в глаза. Мир, если уж на то пошло, выглядит для меня более упорядоченным, пожалуй, даже более пристойным, когда я сижу у колонны со своей шляпой и початой бутылкой; двусмысленность мира не кажется такой очевидной, как в то время, когда, переодетый в цивильное платье, я сижу, как сейчас, в кабинете Клима. Возможно, я несу околесицу, но позвольте уж договорить.

Утром, со своего поста на ступенях я вижу ноги женщин, я выбираю какую-нибудь фигурку и провожаю её взглядом до угла. Монеты падают в шляпу, механически я повторяю формулу благодарности. Не то чтобы я испытывал вождеделение ко всем этим девушкам, но и там, за углом улицы, я не покидаю незнакомку, почти уже не помня, как она выглядит. Невидимый, я иду следом за ней, постепенно она теряет остатки индивидуальности, от неё осталась одна походка, но походка — это и есть то, что делает её женщиной, просто женщиной; она отпирает ключом парадный подъезд, входит в холл, она у себя в квартире, и когда она снимает уличную одежду, чтобы облечься во что-нибудь домашнее, прикинуть к зеркалу, разглядеть что-то у себя на щеке или просто полюбоваться собой, обшарить всю себя глазами одновременно женскими и мужскими, — я с ней, я знаю, что отразится в стекле. А сейчас? Поглядывая из окна редакции на прохожих, я вижу, может быть, тех же людей, что бросали мне мимоходом монеты, чего доброго, замечаю ту же самую девицу; небо густеет, вот-вот вспыхнут фонари, сейчас она одета совсем по-другому, она элегантна и ослепительна, но кто она, кто они все под их одеяниями? Невиданные, странные, может быть, мохнатые или чешуйчатые существа.

IV

Вернёмся к тому, что принято называть действительно: на этот раз дело происходит в полуподвальчике неподалёку от наших мест. За каким лешим, спрашивается, меня туда занесло? Мой новый друг профессор оккультных наук сидел за столиком. Профессор помахал мне рукой.

«Рад вас видеть», — сказал я кисло.

«Брось. Давай по-простому, на “ты”».

«Рад тебя видеть, пахан».

Я озираюсь. Я был в гражданской одежде.

«Э, э, э. Не вздумай спастись бегством. С чего это ты меня так называешь? Согласно современным словарям, пахан — это главный бандит. Это годится для главы правительства. Но мы-то ведь не бандиты. Садись... Есть хочешь? Я угощаю».

Так не говорят, заметил я.

«А как говорят?»

«Я приглашаю».

«Ну, мы по-русски, чего там».

Он подозвал официанта.

«Принеси-ка нам, дорогуша, этого... того».

Кельнер солидно прочистил горло.

«Ну, сам понимаешь», — сказал профессор.

Кельнер явился с подносом, расставил тарелки, бокалы, сунул поднос под мышку и показал профессору бутылку. Профессор наклонил голову. Кельнер вынул штопор. Профессор отвед вино, величественно кивнул. Несмотря на убогий вид заведения, здесь соблюдалась некоторая торжественность, по крайней мере до тех пор, пока не набралось достаточно народу. Время было уже не обеденное, вечер ещё не настал. Вечер двигался на нас из России. В углу сидела пара: плохо одетый, изжёванный жизнью мужчина и девушка. Она смотрела на него, он, по видимому, избегал её взгляда. Обычный сценарий, она призвала его, чтобы сообщить, что у неё задержка. Но они могли быть отцом и дочерью. Папаша снова лишился работы, она собирается прочесть ему нотацию. Или познакомились на улице, в сквере перед памятником монарха. Он не смеет признаться, что у него нет денег заплатить за обед.

Профессор был облачён в полосатый костюм, платочек уголком в нагрудном кармане, борода подстрижена, на шее «киса», на носу пенсне. Профессор потребовал предварительно по рюмке шнапса. Человек в углу поглядывал на нас.

«Prost, дядя», — сказал я.

«Prost, малыш».

Он запихнул салфетку между воротничком и жилистой шейей, вооружился инструментами.

«Что слышно нового из Гринвичской обсерватории?»

«Она закрылась», — сказал я.

«В чём дело?»

«Треснул телескоп».

На несколько мгновений профессор погрузился в задумчивость, ковырнул вилкой еду и вновь, постучав ножом о тарелку, поманил кельнера.

«Это что такое?»

Официант объяснил, что это такое.

«Нет, я спрашиваю, что это такое!»

Кельнер молчал.

«У меня на родине это называется...»

«Вот и поезжайте к себе на родину», — возразил кельнер.

«Что? Повтори, что ты сказал».

«То, что вы слышали».

Я встал и отправился с кельнером на кухню, сказав ему что-то.

«Нет, как тебе это нравится?» — кипятился профессор.

Человек, сидевший с девицей, подошёл к нам.

«Я вас прекрасно понимаю. Они все ведут себя возмутительно. Я спрашиваю себя, зачем я сюда пришёл...»

«Ты бы лучше себя спросил, зачем ты сюда приехал», — буркнул профессор.

Я сказал: «Он сейчас принесёт замену».

Дядя снял стёкла с утиноного носа и стал протирать их краем салфетки, мрачно сопя ноздрями. Человек топтался возле стола, очевидно, намереваясь продолжить разговор.

«Благодарю вас», — пробормотал профессор. Человек вежливо кашлянул.

«А, — сказал профессор. — Вот в чём дело. Да ведь я тебя, кажется, знаю...»

Человек получил монету, дядя сверкнул стёклышками вслед ему. Девушка пудрилась, глядя в зеркальце.

«В прошлом году, — сказал дядя, — я с этим хмырём, м-да. Мылся в мюллеровских банях. У него член длиной в двадцать сантиметров. Но это ровно ничего не означает».

«Вообще, — продолжал он, — это начинает меня беспокоить. Процветающее общество — необходимое условие для нищенства, ибо какой смысл собирать подаяние, если все кругом нищие, но когда наша профессия приобретает чрезмерную популярность, это скверный признак. Во-первых, рост конкуренции. В нашем деле конкуренция полезна лишь

в определённых пределах... Во-вторых, затрудняется контроль. Этот прощельга посмел подойти ко мне. Потребовать милостыню — у меня! И, наконец, где мы живём? В цивилизованной стране или в Бурунди?»

Кельнер поставил перед нами тарелки, молча, с обиженной миной разлил божоле по бокалам, мы с дядей чокнулись и принялись за еду.

«В следующий раз я тебя приглашу», — сказал я.

«В следующий раз? А ты уверен, что мы с тобой ещё увидимся? Меня приглашают, когда я сочту нужным. После предварительного согласования... Ладно, — сказал он, утирая рот салфеткой, — рассказывай...»

«Что рассказывать?»

«Я собираюсь вплотную заняться моими мемуарами. Возможно, мне придётся на некоторое время удалиться от дел... Рассказывай о себе. Кто ты, что ты».

Я заметил, что человек, принявший от профессора дань милосердия, исчез. Девушка по-прежнему сидела в углу.

Профессор, с бокалом в руке, воззрился на меня; я пожал плечами.

«Хорошо, я скажу тебе сам. Ты оборотень. Ты ведёшь двойную жизнь. Утром ты одно, а после обеда другое. Может, ночью ещё что-нибудь, кто тебя знает. Может, у тебя хвост и три яйца».

«Вы просто как в воду смотрите».

«Для того, кто знаком с тайновидением, это не проблема. Может быть, на твоей работе ты недостаточно зарабатываешь».

«Prost», — сказал я, подняв бокал, и показал глазами на незнакомку, дескать, не пригласить ли её к нашему столу,

«На кой хер она нам сдалась. Prost... Сбор милостыни, как известно, доходный промысел, так что это предположение не лишено смысла. Возможно, тебя соблазнила авантюра двойственного существования, ты захотел выломиться из социальной рутины, из этих оглобелей; но ведь попрошайничество — это тоже оглобли, а? Только в другом роде».

Он приблизил ко мне своё бородатое лицо, угреватый нос, безумные глаза за стёклышками пенсне: «Существует... — зашептал он, — внутренняя, непреодолимая тяга к ниществу, инстинкт нищества, подобный инстинкту смерти... Тайный голос зовёт: бросай всё на х...!»

«Не исключено», — сказал я.

«А может быть, две планеты правят твоим астральным телом, заставляя тебя быть то тем, то этим; в конце концов это легко проверить, ты как считаешь?»

«Возможно».

«И, наконец... — оккультный профессор яростно вкалывал вилку, пилил ножом, жевал жилистое мясо жёлтыми зубами, — наконец... я высказал несколько гипотез, но вот она, страшная догадка: может быть, ты, едрёна вошь, — писатель? Золя ездил с машинистом в паровозе, спускался в шахту. Даже, говорят, спал с проститутками, чтобы изучить, так сказать, технологию... Ты тоже решил побыть нищим, чтобы написать роман».

Я сказал: «Это уже теплее».

Мне показалось, что незнакомка сделала мне знак. Негодяй удрал и не заплатил.

«То есть не совсем тепло. Я работаю в журнале, ничего особенного», — добавил я, видя, что дядя, держа нож в кулаке, нацелился на меня смертоносным лучом.

«Журналист?» — просипел профессор.

«Не то что бы, но вроде».

«А я это, между прочим, знал!»

«Зачем же спрашивать?»

«Чтобы подтвердить имеющиеся данные. Мы, любезнейший, осведомлены лучше, чем ты предполагаешь. И в небе, и в земле сокрыто больше... как это говорит принц Гамлет, ну тот, который был автором трагедий Шекспира? Чем снится нашей мудрости, Горацио? Так вот, к вашему сведению: как раз наоборот — ничего не сокрыто. От нас не скроешься... Ты мне вот что скажи... Э, чёрт, запихнуть бы им в глотку это мясо!»

Он выплюнул ком и швырнул его через плечо.

«Ты мне вот что скажи: на кой чёрт тебе всё это сдалось? Хочешь изменить порядки в России? Это ещё никому никогда не удавалось. Кому там нужна ваша демократия, ты себя когда-нибудь спрашивал? Там нужно вот что! — Дядя показал кулак. — Не говоря уже о том, что борцы за демократию сами меньше всего демократы. В этом состоит ирония судьбы, историческая ирония. Хохот богов, а? Ты не находишь?»

Я пожал плечами.

«Так или иначе, — пробормотал он, — всё скоро полетит к чертям».

«Что полетит к чертям?»

«Вся эта ваша свободная пресса. Если режим рухнет, кто её будет читать? Вы все осиротеете без этого режима».

«Ну и прекрасно».

«Так-то оно так. Только вы все останетесь без работы. Вы даже не понимаете, что пилите сук, на котором сидите... Или ты хочешь сказать, что у тебя есть в запасе другой заработок? А-а, вот оно что! — вскричал он. — Готовишься заранее. Они все будут лапу сосать, а у тебя тёпленькое местечко... на ступенях храма...»

«Кто это, они?»

«Ну, эти... борцы, в рот их».

«Может быть, я вернусь», — сказал я.

Профессор внимательно, с поехавшими кверху бровями, посмотрел на меня.

«У меня есть знакомый психиатр, — промолвил он. — Очень вдумчивый специалист. Могу сосватать».

Теперь я видел, что женщина в углу почти неотрывно смотрит на меня.

Профессор бормотал:

«Вернусь, ха-ха, он собрался возвращаться. Там всё отравлено. Там запах лагеря, как запах сортира. И вообще, что это за тема для душевного разговора... Меня политика не интересует. Плевать мне на патриотизм. Мы, рядовые граждане, заинтересованы только в одном: в стабильности и общественном порядке. И в благосостоянии населения! Родина там, где хорошо подают. Но ты не ответил на мой вопрос».

«Я получаю зарплату», — сказал я.

«Какого же хрена, спрашивается, ты торчишь на улице, отнимаешь хлеб у настоящих нищих, что это за маскарад...»

«Дядя, я тоже настоящий». Я встал и направился к даме в углу.

V

Профессор заявил, что он тоже человек пишущий.

«Говорю так, чтобы не употреблять слово писатель, загаженное в нашем prostituiрованном обществе... А вы, случайно, не представительница этой профессии?»

Я вмешался: «Ты хочешь сказать, писательница?»

«Гм. Моя мысль, собственно, была другая...»

«Вам придётся извинить его, сами понимаете, возраст...»

«Кто здесь говорит о возрасте? Мы ещё проживём! Впрочем, неизвестно, кто из нас моложе... Позвольте представиться», — сказал дядя, приосанившись, держа пенсне, как бабочку, двумя пальцами.

«Нет необходимости. Профессор социологии. Я его племянник... А это Мария Фёдоровна».

«О! так звали, если не ошибаюсь, вдовствующую императрицу. Разрешите вас называть Машей?»

«Мой дядюшка, — пояснил я, понизив голос, — потомок одного из древнейших родов России. Из старой эмиграции...»

«Х-гм. Старая эмиграция... да, да... Какие люди, какие умы. Мы тут беседовали о литературе. Герр обер!»

Официант принёс ещё один прибор. Профессор насадил пенсне на нос.

«Так вот, насчёт литературы... Я, знаете ли, работаю над мемуарами. *Noblesse oblige!*¹ Помню, государь сказал мне однажды на приёме в Зимнем: ты, князь, слушай и всё запоминай. Когда-нибудь обо всех нас напишешь... Он уже тогда предчувствовал, что его ожидает».

«Но ведь это же было очень давно», — возразила гостья.

«Да, моя девочка, это было давно».

«Сколько же вам было тогда лет?»

Я разлил вино по бокалам.

«Может, не надо, — сказала она. — А то ещё запьянею».

Я осведомился о её спутнике.

«Это тот, который...? Если память мне не изменяет... В мюллеровских банях?» — пролепетал профессор.

«Я его знать не знаю. Пристал на улице».

Въяснилось, что она со вчерашнего дня ничего не ела.

«Короче говоря, слинял. Хамство, — констатировал профессор. Даже если он не воспользовался твоим, э-э... гостеприимством. Но ничего. Мы с ним потолкуем. Мы его найдём».

По мере того, как темнело снаружи, «локаль» наполнялся голосами, взад-вперёд сновали официанты, теперь их стало трое, появились завсегдатаи, ввалилась компания немолодых пузатых мужиков и вызывающе одетых женщин. Кельнер шёл к нам со счётом.

¹ Знатность обязывает (фр.).

«Мы не торопимся, — сказал профессор. — Ещё не всё обсудили».

«Можно обсудить в другом месте», — заметил кельнер.

Он положил на стол счёт, профессор смахнул листок со стола, снял пенсне и осмотрел кельнера.

«Пошли отсюда, дядя», — сказал я по-русски.

«Знаете ли вы, что он сказал? — спросил, перейдя на “вы”, профессор. — Он сказал, что побывал во многих странах. Но ни где ещё не сталкивался с таким хамским обращением».

«Врёшь», — сказал кельнер.

«Что? Повтори, я не расслышал».

«Он тебе два слова сказал, а ты переводишь как целую фразу».

«А известно ли тебе, — сопя, сказал профессор, — что русский язык обладает краткостью, с которой может сравниться только латынь? Я попрошу уважать русский язык!»

Подошёл хозяин заведения — или кто он там был, — скопческого вида, с длинным унылым лицом, мало похожий на трактирщика, почему-то в длинном пальто и в шляпе.

Профессор насадил стёкла на утиный нос.

«Я запрещаю издеваться над моим родным языком».

«Да успокойся ты, никто не издевается. Вот, — сказал официант, садясь на корточки, — не хотят платить». Он добыл из-под стола бумагу, протянул хозяину, тот взглянул на счёт, потом на меня, Марью Фёдоровну и, наконец, на профессора.

«Я этого не говорил, — возразил профессор и повёл носом, словно призывал окружающих быть свидетелями. — Но ещё вопрос, за что платить!»

Я вынул кошелёк, дядя величественным жестом отвёл мою руку.

Хозяин кафе сказал:

«Я тебя знаю. И полиция тебя знает».

«Вполне возможно, — отвечал профессор. — Я человек известный».

«Вот именно, — возразил хозяин. По-видимому, он что-то соображал. Потом произнёс с сильным акцентом: — Если ты, сука, немедленно не...»

«О, — сказал дядя, — что я слышу. Диалект отцов. Язык родных осин! Но тем лучше. Нам легче будет объясниться. Так вот. Пошёл ты... знаешь куда?»

«Нет, не знаю», — сказал хозяин.

«К солёной маме! — взвизгнул профессор. — Можете звать полицию», — сказал он самодовольно.

В погребе зажглись огни, словно здесь готовилось тайное празднество, синеватый свет вспыхнул на бокалах, на украшениях женщин, бросил на лица лунный отблеск. Воцарилось молчание. Астральный нимб окружил чело оккультного профессора, а физиономия хозяина приняла трупный оттенок. Кельнер направился было к телефону, владелец заведения остановил его.

«Сами управимся».

И тотчас в зале появился, к моему немалому удивлению, персонаж, о котором уже упоминалось на этих страницах. Широко расставляя ноги, развесив ручки, двинулся к нам.

Фраппирован был и мой друг профессор.

«Дёма! — проговорил он. — И тебе не стыдно?.. Позвольте, это мой человек. Он у меня работает».

«У нас тоже», — сказал кельнер. Хозяин не удостоил профессора ответом и лишь кивнул в нашу сторону. Человек-орангутанг схватил дядю за шиворот.

«Дёма, что происходит? Ты меня не узнаёшь?.. Имейте в виду, коллега — известный журналист, он сделает этот случай достоянием общественности. Он вас разорит!» — кричал профессор. Никто уже не обращал на нас внимания.

«Кстати, чуть не забыл... — пробормотал профессор, счищая грязь с брюк. Шёл дождь, и он поскользнулся, вылетая из подвальчика. — Ты лицензию получил? Я освобождаю тебя от налога. А с этой образиной мы ещё разберёмся».

VI

Вопреки предположению моего друга и покровителя, я не только не пишу романов, но не питаю интереса к этому роду искусства, во всяком случае, к изделиям нынешних романистов. И уж тем более к тому, что пишется в России. Может быть, я согласился бы кое-что прочитать, если бы мне за это заплатили. Хочу сказать о другом. Революция нравов лишила литературу её наследственных владений. Никого больше не соблазняют многостраничные повествования о любви, ушли в прошлое истории

встреч, надежд, узнавания, сближения, всё то, что должно было понемногу разжечь любопытство читателя, — вплоть до решающей минуты, когда дверь спальни захлопывалась перед его носом. Спрашивается, оттого ли у современных писателей всё совершается так скоропалительно, что упростились современные нравы, — или нравы упростились оттого, что литературу перестали интересовать околичности, не имеющие отношения к «делу».

Я уже рассказал коротко о знакомстве с женщиной по имени Марья Фёдоровна. Стоит ли называть это «романом»? Я был одинок, она была одна. Совместима ли платная любовь с чувствами? Могу сказать только, что меня повлекло к ней не только то, что составляет цель подобных сближений. Какая-то инерция побудила меня продолжать путь рядом с ней. И если уж говорить о «чувствах», то это было скорее чувство продолжения старого разговора. Возможно, мы в самом деле виделись где-то — ведь мир тесен для кучки изгнанников.

Что-то такое мелькнуло у меня в голове — обманчивая мысль, — когда я сидел с профессором и чувствовал на себе её взгляд. Именно о таких, не слишком речистых, притворно-скромных, не привлекающих взоры, начинаешь думать — а ведь я её уже встречал. Я люблю смотреть на женщин, мой уличный промысел предоставляет для этого наилучшие условия. Я привык созерцать женщин снизу вверх — ракурс фотографа и нищего, — но если вообразить, что какая-нибудь оставилась бы и спросила, в чём дело, не желаешь ли прогуляться со мной? Я бы не торопился бежать следом за ней. Видела ли меня когда-нибудь Маша на улице? Она никогда об этом не говорила.

Расставшись с «дядей», шагая неторопливо под фонарями, мы чувствовали себя не то чтобы вполне *à l'aise*¹, но и особой неловкости я тоже не ощущал. Незначительность разговора удостоверения, что мы узнали друг друга. Разумеется, она думала, — хотя речи об этом не шло, — что я пошёл с ней «по делу». Она не задавала вопросов, я тоже ни о чём её не расспрашивал, я не интересовался её прошлым, какое прошлое может быть у таких женщин? Подошли к дверям (она предупредила меня, что мы незнакомы друг с другом).

¹ Непринужденно (фр.).

Нетрудно было догадаться, что это за обитель. Сверху или из подвала, понять это в доме, состоящем из фанерных перегородок, было невозможно, гроыхала дешёвая музыка. Грязноватый холл обклеен объявлениями, утыкан записочками на кнопках. Вам предлагали всё на свете, книги, уроки бальных танцев, шифоньер фанерованный, коллекцию жуков, лечебные вериги, экскурсии, кто-то скромно предлагал себя, чтобы не тратиться на объявление в бюро одиноких сердец. Лифт застрял наверху. Пешком взобрались на последний этаж.

Должно быть, мне всё-таки следует вернуться к её наружности: Мария Фёдоровна, как я уже дал понять, была женщина, не ослеплявшая взора. Станным образом — я заметил это ещё в кафе — она не была даже покрашена. О её фигуре невозможно было сказать ничего определённого до тех пор, пока она не предстала перед гостем в домашнем одеянии, слегка подчеркнутым бёдра и грудь. Кажется, под халатом ничего не было. Возраст? Пожалуй, ближе к сорока, чем к тридцати, возраст, когда к вечеру молодеют, в полночь становятся двадцатилетней, а на рассвете пятидесятилетней. Впрочем, едва ли она проводила свои ночи где-нибудь за пределами этого общежития.

Возраст между старой и новой надеждой, возраст исхода и шествия по синайским пескам. Разве наша страна не была Египтом? Но где же Ханаан? Годы идут, на горизонте обманчивая водная гладь, ни облачка, палящее солнце над головой и зябкие ночи в дырявых шатрах. Квартирка, по-женски аккуратная, называемая «апартамент», состояла из кухни и комнаты; в нише за занавеской устроен альков.

Мы успели перекусить, прежде чем у профессора состоялся диспут с хозяином заведения, теперь можно не бояться захмелеть, сказал я Маше и откупорил бутылку. Кажется, она поняла меня иначе, отважно взялась за стакан. Снизу — или с потолка — раздавалось уханье музыкальной турбины. Я обвёл глазами комнату: этажерка, комод; а это кто, спросил я.

«Сын».

«Он живёт с вами... с тобой?»

Мария Фёдоровна покачала головой.

На мой вопрос: остался там? почему?.. — она криво усмехнулась, пожала плечами.

«А твои гости, — сказал я. — Они тоже сюда приходят?»

«Куда же ещё».

«Комендант не возражает?»

Согласен, я вёл себя бестактно. Бог знает почему меня интересовали эти подробности.

«Этот человек, с которым ты сидела...»

«Я по улицам не шатаюсь. Просто случайно остановилась. Вам, наверное, завтра на работу», — проговорила она после некоторого молчания, не решаясь или не пожелав говорить мне «ты». Возможно, это был косвенный ответ на вопрос о коменданте. Я подлил ей и себе, она не отрывала глаз от своего стакана, между тем как её пальцы слегка ослабили поясok халата. И по-прежнему неустанно в стены фанерного ковчега вбивала гвозди музыкальная машина.

Женщина встала, отдернула занавеску, включила светильник над кроватью, потушила верхний свет...

«Вам как лучше: чтобы горело или...?»

«Фонарь любви», — сказал я, не решаясь подняться. Какая-то неуместная робость овладела мной и, думаю, ею. Но тут произошло нечто неожиданное и чудесное: ни с того ни сего музыка смолкла. И стало так хорошо, как было когда-то в мире. Открыв рот, я озирался, словно не верил этой удаче.

В одиннадцать выключают, объяснила она.

И из недр этой блаженной тишины до нас донёсся храп.

Я снова налил себе, она присела на краешек стула. «Может быть, — сказала она осторожно, — не надо столько пить...»

Она добавила, опустив глаза:

«Вы, видно, не в настроении, передумали, что ль?»

Я сказал: «У тебя там кто-то есть».

«Она спит. Не обращайтесь внимания».

Оказалось, что там была ещё одна, тёмная комнатка; я принял её за кладовку. Марья Фёдоровна заглянула на минуту в закуток.

«Она не мешает».

Храп, временами задыхающийся, прерывал то и дело наш едва тлеющий разговор. Я сказал:

«Это оттого, что она лежит на спине».

«Она всегда лежит на спине».

«Это ваша мама?» Всё время мешались эти «ты» и «вы».

«Бабушка. Ей восемьдесят восемь. Она меня воспитала. Единственный человек, который согласился с нами поехать».

«С кем это, с вами?»

«Со мной и с мужем».

«Я не знал, что ты замужем».

«Была».

«А сын?»

«Я вам уже сказала. У него своя жизнь... Я вам не нравлюсь?»

Теперь халат был раскрыт, она задумчиво гладила себя по груди и животу.

«Здесь говорят: чем позже вечер, тем красивей хозяйка... Маша, — пробормотал я. Вино начинало на меня действовать. — Ты разрешишь мне тебя так называть?»

«А тебя как?»

«Меня? — Я усмехнулся. — Никак. Имена ненавистны!»

«Чего?»

«Пожалуйста, тут нет никакой тайны», — сказал я и назвал себя.

«Тебе приходится бывать у женщин?»

«Иногда, — сказал я. — Мне как-то их всегда жаль...»

«Зачем мне твоя жалость», — возразила она.

Ночь в оазисе, полосатые пески, тёмные бугры стариков-верблюдов и нагая иудеянка на пороге шатра.

VII

Время подпирало; предупредив моего товарища, что я не приду в редакцию, я отправился в путь. Одна пересадка, другая. Тут я услышал, стоя на платформе, голос по радио, по какой-то причине поезд задерживается на двадцать минут, пассажирам предлагают воспользоваться автобусом. Объявление было повторено несколько раз, прежде чем я опомнился, бросился к эскалатору и, выехав наверх, увидел, что автобус отходит от остановки. Подошёл следующий; водитель советовал ехать не конца маршрута, а до ближайшей станции метро, хотя это была другая линия. Но и там пришлось долго ждать поезда. Выйдя из-под земли, я подумал, что все линии континента связаны между собой, — а ведь мы находились как-никак на одном континенте, — и тут только мне стукнуло в голову: я еду к больному с пустыми руками. Необъяснимая забывчивость, — накануне я приготовил подарок. Возвращаться было бессмысленно. Я очутился на площади, похожей на площадь бывшей Калужской за-

ставы; перед остановками толпился народ, мимо, разбрызгивая лужи, неслись машины с включёнными фарами. Всё смешалось, люди подбегали со всех сторон, расталкивали друг друга и втискивались в подкативший, старый и забрызганный грязью экипаж. Сквозь мутные стёкла ничего невозможно было разобрать.

Пытаясь сообразить, что к чему, я вспомнил, что жена не знает о моём приезде, я могу её не застать. Кроме того, я вспомнил, что её нет в живых вот уже три года, — правда, известие могло быть ложным. Не мешало удостовериться. Причём же тут профессор? Ведь на самом деле я ехал в больницу, где он каким-то образом оказался, и даже приготовил для него подарок. Но если мой друг профессор мог ещё кое-как примириться с тем, что я пришёл с пустыми руками, — и в конце концов, наплевать мне было на профессора, — то она, конечно, будет обижена. Все эти мысли, как черви в банки, шевелились и сплетались в моей голове.

Между тем автобус, урча и сотрясаясь, кружил по тусклым улицам, нёсся мимо заброшенных, почернелых зданий. Ещё недавно здесь бушевали пожары. Где-то на горизонте, едва различимый на жёлтой полосе заката, начинался новый район. Моя жена переехала вскоре после моего отъезда, главным образом из-за того, что весь дом узнал о случившемся. Соседи пылали патриотическим возмущением. А здесь была пустыня безликих корпусов и безымянных жителей. Лифт не работал. Добравшись до нужного этажа, со стучащим сердцем, я разглядел в полутьме табличку — там стояла моя фамилия. И поднёс палец к пуговке.

Звонок продребезжал в квартире, никто не отозвался, я нажал ещё раз, послышался шорох, скрип половиц. Звякнула цепочка. «Слава Богу, — сказал я, входя в комнату следом за ней, — всё неправда».

«Что неправда?»

«Всё! Ложный слух».

Она посмотрела на меня, — оказалось, что она несколько не изменилась, разве только стала ещё бледней. Посмотрела, как мне почудилось, с холодным удивлением:

«Что же я, по-твоему, должна была умереть?»

«Я не в этом смысле... просто я получил сообщение. Не стоит об этом».

«Ты почему-то думаешь, что без тебя тут всё рухнуло. Это ты умер, а не я!»

«Катя, — сказал я жалобно, — я только успел войти. И мы уже начинаем ссориться...»

«Никто не начинает. Это ты начинаешь; твоя обычная манера. Как ты вообще здесь очутился?»

Я пожал плечами, попытался улыбнуться. «Извини... я без цветов, без подарка. Приготовил и, понимаешь, забыл».

«Мне твои подарки не нужны. Это что, — спросила она, — теперь разрешается? Я хочу сказать, таким, как ты. Надолго?»

Я окинул глазами убогую мебель, голые стены.

«Вот ты как теперь живёшь. Одна?»

«А это, милый мой, тебя не касается... Ты не ответил».

Я сказал: «Зависит от тебя».

Хотя она понимала, что я имею в виду, но спросила:

«Что значит, от меня?»

«Я приехал за тобой».

«За мной. Ага. Как трогательно. Ты приехал за мной.

Вспомнил...»

«Ты прекрасно знаешь, что я не мог тебе писать».

«Если бы хотел, нашёл способ. А вот я хочу тебя спросить. О чём же ты тогда думал?»

«Катя, ты прекрасно помнишь...»

Она перебила меня:

«Ничего я не помню. И не хочу вспоминать. Уходи».

Мне не предложили сесть, мы так и стояли посреди комнаты.

«Катя, — сказал я. — Ты же помнишь, как всё было. Надо было выбрать: или — или... А ты не хотела ехать».

«Конечно. Что мне там делать?»

«Если бы ты меня любила, ты бы поехала».

«Если бы ты меня любил, ты бы меня не бросил».

«Не будем сейчас спорить».

«А я и не спорю. Ты когда-нибудь подумал, что я тут должна была пережить?...»

Она заговорила громко и невнятно, слушать было мучительно — и оттого, что я не всё понимал, и оттого, что понимал, если не каждое слово, то по крайней мере смысл сказанного. Должно быть, она повторяла то, с чем мысленно много раз обращалась ко мне; наступил час отмщения. Зачем я явился, меня никто не звал. Она свою жизнь устроила. Между нами нет ничего общего.

Устроила, подумал я, глядя на её впалые щёки, на нищенскую обстановку её жилья.

Мне нужно было что-то ответить, да, да, лепетали мои губы, я виноват, я ужасно виноват перед тобой... И я тянул к ней руки, как будто хотел удостовериться, что вижу её наяву.

Но я в самом деле видел её наяву! Она умолкла, провела рукой по волосам.

«Катя! — сказал я, смеясь. — Ты даже не представляешь себе, ты просто не можешь себе представить — как я счастлив. Я не надеялся тебя застать. Всё у нас будет хорошо, уверяю тебя...»

Она смотрела на меня — с каким выражением? С насмешкой, почти с омерзением.

«Никто тебя не звал. Катись отсюда».

«Этого не может быть, Катя, мы когда-то друг друга любили. Ты меня гонишь?»

«Нечего тебе здесь делать».

Я решил схитрить и сказал:

«Но, знаешь, уже поздно. Мне негде ночевать...»

Вот уж этого говорить вовсе не следовало. Моя жена, пришурившись, взглянула на меня, отвела взгляд, мне показалось, что её лицо меняется. Временами я её вообще не узнавал. Я даже подумал, не ошибся ли я. Она пробормотала.

«Ах, вот оно что. Ну, мы это уладим».

Я хотел ей сказать, что не стоит беспокоиться, — очевидно, она хотела устроить меня у знакомых, — и продолжал что-то говорить, но она не слушала. В углу на тумбочке стоял телефон. Она сняла трубку и дважды нервно крутанула диск. Я потёр лоб. «Может, мне лучше уйти», — пробормотал я. Всё произошло очень быстро. Моя жена — если это была она — подошла к окну и заглянула между занавесками.

«Ага, они уже тут». И тотчас раздался длинный звонок в дверь.

VIII

Я сказал: «Это недоразумение. Я думал, здесь живёт моя бывшая жена. Ошибся адресом».

Милиционер повторил своё требование. Я рылся во внутренних карманах пиджака, в плаще, в карманах брюк. Ужас случившегося дошёл до меня: я потерял портмоне — может быть,

его вытащили в автобусе, — потерял свой паспорт апатрида или забыл дома вместе с подарком. Мне ничего не оставалось, как пообещать толстому человеку в шинели и блинообразной фуражке, что пришлю ему фотокопию моего документа по почте. По какой это почте, спросил он, усмехаясь, и мы вышли на лестницу, где стоял другой милиционер.

В тесном фургоне я покачивался между двумя стражами, в темноте белели их лица, блестели орлы на фуражках, отсвечивали пуговицы шинелей. В зарешечённом окошке мелькали тусклые огни. Нас бросало из стороны в сторону, автомобиль гнал по ночному городу, не снижая скорости на поворотах. Всё это мне было знакомо. И я утешал себя тем, что это была всё-таки милиция, а не другое учреждение. В конце концов, это их право: человек без документов, удостоверяющих личность, подержат и отпустят. Гораздо больше меня угнетал разговор с моей женой.

Я продолжал себя уговаривать и тогда, когда меня втолкнули в комнатёнку без окон и обхлопали со всех сторон, после чего было велено раздеться догола. Необходимая формальность, ничего не поделаешь. Я стоял на каменном полу под холодным душем. Вошёл человек в белом халате поверх милицмейской формы, с машинкой для стрижки волос.

Но когда, сунув ноги в ботинки, придерживая брюки, я прошествовал по коридору и сел на указанное мне место перед яркой лампой, которая отражалась вместе с моей голой головой, с неузнаваемой физиономией в чёрном оконном стекле, — когда я уселся, вернее, когда меня усадили боком к столу, над которым, как водится, висел чей-то портрет, — дверь неслышно отворилась, милицкий чин, пожилой лысый мужик, собравшийся составлять протокол, вскочил, чтобы уступить место вошедшему человеку в штатском, молодому, с лицом, по которому словно прошлись утюгом. Человек сел. Без документов, сказал капитан милиции. Плоский человек кивнул и сделал знак капитану оставить нас вдвоём.

Он спросил, чем я занимаюсь.

Я ответил: собираю подавание перед церковью святого Непомука. Что это за святой такой, поинтересовался он, побарабанил пальцами по столу и поглядел в окно.

Как ни странно, разговор, который занял, вероятно, не больше получаса, — циферблат на стене показывал без чет-

верти два, я взглянул на свои часы, собираясь перевести стрелки, но вспомнил, что часы у меня отобрали вместе с брючным ремнём, шнурками от ботинок и ключами от моей квартиры, подумал, что на самом деле время не такое позднее, хотя что значит «на самом деле»? — на самом деле я сидел перед окном, выходящим во двор, — можно было разглядеть и решётку снаружи, — в городе, откуда я никуда не уезжал, где только что виделся с Катей и по-прежнему надеялся, что все наши ссоры в конце концов завершатся примирением, вот что было на самом деле, а того, другого города, и профессора, и Марьи Фёдоровны никогда не существовало, — так вот, если вернуться к моей мысли, как это ни покажется странным, разговор с человеком, у которого не было лица, окончательно меня успокоил: именно так он должен был выглядеть, скучающим, насторожённо-рассеянным, загадочно-непроницаемым, как требовала его должность; в сущности, он не питал ко мне дурных чувств, таковы были «инструкции», другими словами, вступила в свои права рутина; всё было чем-то предписанным, подобно придворному этикету или дипломатическому протоколу. Все действовали как по уговору.

Мне хотелось сказать этому сотруднику или кем он там был: какое, в сущности, благо эти условности, этот ни от кого не зависящий порядок, всё то, что по-русски выражается словами «положено» и «не положено».

Ведь если бы не инструкции, он мог бы просто, не торопясь, играючи, вынуть оружие из невидимой кобуры под мышкой и пристрелить арестанта, — люди с такими лицами на всё способны.

«Значит, говорите, милостыню собираете. Чего ж так?»

Я пожал плечами.

«Поэтому и решили вернуться на родину».

«Не то чтобы вернуться...»

Он перебил меня: «А вам не кажется, что вы... — и снова по-барабанил пальцами, — своим поведением родину, народ, всю нашу нацию позорите?»

Чем это я позорю, спросил я.

«А вот этим самым. Сидите у всех на виду и канючите. И небось в каких-нибудь лохмотьях».

Этот вопрос или, лучше сказать, постановка вопроса заинтересовала меня, я возразил, причём тут родина, о какой родине он говорит.

«Родина у нас, между прочим, одна!»

Я согласился, что одна.

«Так вот, у нас есть другие сведения».

Другие, какие же?

«У нас есть сведения, что всё это — маскировка».

Что он имеет в виду?

«То, что ты сидишь на паперти и поёшь Лазаря. (Тут следователь, как и полагалось, перешёл на «ты».) А на самом деле занимаешься подрывной работой. Листовки печатаешь, организовал подпольную типографию».

Не листовки, а журнал. И почему же подпольный?

Человек поднялся, вышел из-за стола и воздвигся над сидящим. Потому что и я, тот, кто сидел перед лампой и отражением в чёрном стекле, был не я, а персонаж инструкций.

«Ты дурочку-то из себя не строй, — проговорил он. — А если не понимаешь, о чём речь, то я тебе объясню...»

Он добавил:

«Чем вы там развлекаетесь, мы прекрасно знаем».

Мне хотелось возразить: знаете, да не всё. Например, что существует инстинкт нищенства, тайный голос, который зовёт.

Мне хотелось сказать, что нет, не призрак — город с башнями и церквями, с широкими чистыми улицами; а вот то, что я нахожусь здесь, — поистине наваждение, морок, зажмуришься, потом откроешь глаза, и ничего нет. Я сидел перед лампой, а он расхаживал в тени, взад-вперёд.

«Заруби себе на носу: мы всех вас знаем. Каждое слово, каждый шаг, что вы замышляете, куда ездите, откуда деньги берёте, всё знаем... А вот ты мне лучше скажи. — Он остановился. — Просто так, не для протокола... Человек, который бросил свою старую, больную мать и укатил за тридевять земель, как его можно оценивать? А что можно сказать о людях, которые оставили родину?»

«Да ладно, — он махнул рукой, — я знаю, что ты хочешь сказать. Свобода выше родины — да? Слышали мы эти песни... А чего стоит так называемая свобода без родины? Или, может, ты начнёшь рассказывать, что у тебя не было другого выхода, дескать, пришлось выбирать: или на Запад, или... — и он ткнул

большим пальцем через плечо. — А откуда ты знаешь, что тебя собирались арестовать, тебе что, так прямо и объявили?.. Может, поговорили бы, вправили мозги и отпустили?»

Вошёл капитан.

«Верни ему барахло. Он мне не нужен. И отвези его... — крикнул он в дверь, — чтобы его духу здесь больше не было!»

«Ясно? — спросил, когда мы снова остались одни, человек за столом. — Ещё раз приедешь, пеняй на себя».

IX

«Так прямо и сказал: пеняй на себя?»

«Так и сказал».

«Я что-то не пойму. Ты в самом деле там был или...?»

«Я сам не знаю, Маша».

Пора вставать, идти на работу. Я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть комнату. Рассвет не пробуждает во мне бодрых чувств, и это утро, конечно, не было исключением.

Она уже поднялась, что-то делала, ходила по комнате. Занятая своими мыслями, присела на край кровати.

«Ты, наверное, думаешь, что я так со всеми. Скажи правду».

«Да, — сказал я. — Думаю».

«Но ведь можно совершенно ничего не чувствовать...»

«Вот как?» — откликнулся не я, откликнулись мои губы.

Мои мысли были далеко.

«Я всё брошу», — проговорила она.

«Вот как».

«Я о тебе ничего не знаю. Ты мне ничего не рассказываешь...»

«Что рассказывать?»

«Где ты работаешь».

«Где работаю... В редакции. Мы издаём журнал, разные брошюрки».

Я сел в постели, Марья Фёдоровна встала. По-прежнему храп за занавеской.

«Бй надо сменить пелёнки. Я сейчас её разбужу, буду кормить».

Она добавила:

«Отвернись к стенке, не могу же я одеваться при постороннем мужчине».

«Но тебе приходится одеваться при посторонних».

«Я никого на ночь не оставляю».

«Для меня, стало быть, сделано исключение?»

«Не надо», — попросила она.

О, Господи: музыка. Внизу заработала турбина. Застучали ножами, заскребли грязными когтями по стеклу. Нагло-визгливый голос разнёсся по всему ковчегу. Я стоял одетый посреди комнаты, нужно было что-то сказать ей. Всё моё существо рвалось вон отсюда.

«Куда же ты, без завтрака...» Я возразил, что спешу.

«Мы увидимся?»

«В чём дело?» — спросил я.

«Не обращай внимания». Марья Фёдоровна вытерла слёзы или мне так показалось. Я оглядел её, она запахнулась плотней, подтянула поясик халата.

«Мы что-нибудь придумаем, — сказал я быстро. — Найдём тебе какую-нибудь работёнку. Как насчёт того, чтобы убирать нашу контору? Хотя, конечно, заработок не очень...»

Отдуваясь, я влетел к себе домой (квартира Маши казалась роскошной в сравнении с моей берлогой) и спустя немного времени плёлся, что-то дожёвывая на ходу, в рабочей одежде, с полиэтиленовым мешком и бутылкой, в грибовидной табачной шляпе. Свернул в переулок, который упирается в церковь, — так и есть: кто-то уже расселся на ступенях.

Он приветственно помахал мне, это был Вивальди. Кстати, я до сих пор не знаю: кто он был, откуда? Говорил без акцента, но чувствовалось что-то нерусское, а когда пользовался местным наречием, слышались русские интонации. Я думаю, что процент людей ниоткуда постепенно возрастает в мире.

«А ты, говорят, пошёл в гору. Лучший друг профессора».

«Вали отсюда».

«Ну, ну, вежливость — прежде всего».

«Отваливай, говорю», — сказал я, расстилая коврик.

«Я тебе мешаю?»

«Мешаешь».

«Но ведь и ты мне мешаешь».

«Бог вас вознаградит», — сказал я вслед старухе, которая сзади могла сойти за девушку. Будь я художник, я бы писал женщин со спины.

«Вот видишь, — заметил Вивальди, — тебе бросила, не мне».

«Не доводи меня до крайности».

«Только успел заступить на вахту, и уже.. Хлебное местечко отхватил, ничего не скажешь».

«Я повторяю, не доводи меня до крайности. Вон место освободилось. Уже целую неделю пустует. Можешь сесть там...»

«Ты разрешаешь? — возразил он иронически. — Тихо, вон одна остановилась, о-о. Одни бёдра чего стоят. К нам идёт... Наверняка даст. Милостыню, конечно, а ты что думал?»

«Благослови вас Бог».

«Дай-ка мне хлебнуть... Ну что ты скажешь, опять тебе бросила».

Несколько времени спустя к нам приблизился блюстителъ закона.

«Здорово, дядя», — сказал Вальдемар.

«Вы что, теперь вдвоём?»

«Что поделаешь, герр полицист. Конкуренция большая, а посадочных мест мало!»

«Да, много вас развелось», — отвечивал полицейский и зашагал дальше.

«Тоже мне работа — груши членом околачивать, — заметил Вальдемар. — Вот так лет двадцать походит, глядишь, пенсия выросла. А мы?.. — Он вздохнул. — Я читал бюллетень. За истекший отчётный период подаваемость снизилась».

«Какой бюллетень?»

«Есть такой. Надо читать прессу!»

Он добавил:

«И паханá навестить надо».

Я пропустил эти слова мимо ушей. Вальди приложился к бутылке, утёр губы ладонью. «Навестить, говорю!»

«Кого?»

«Старого пердуна, кого же».

Я спросил, что случилось.

«Весь город знает, ты один не знаешь. Он в больнице... в травматологии».

Оказалось, что профессора сбила машина. То, что наш принципал сидел на игле, не было для меня новостью. Но «штоф», как объяснил Вальди, тут ни при чём: старик самым вульгарным образом был пьян в стельку.

«А ты, между прочим, как насчёт этого дела?»
Я спросил, какого дела.
«Насчёт штофа, едрёна мать».
«Пробовал», — сказал я.
«Ну и как?»
Я вздохнул, пожал плечами.
«Могу пособить, если надо», — сказал Вивальди.
Он добавил:
«Цена обычная».
«Буду иметь в виду», — сказал я. И так, это случилось вчера вечером. Пока мы лежали в шатре под синайскими звёздами. Странное смещение времени. Я смутно помнил, что уже направлялся однажды к нему в больницу.
«Давно?» — спросил я.
«Что давно?»
«Давно он там?»
«Кстати, — промолвил Вивальди, глядя вдаль. — Что я хотел сказать. Я его замещаю. Нет, ты только взгляни: какая ж... Какая ж...!» — воскликнул он.
«То есть как замещаю?»
«Очень просто. Тариф прежний — двадцать пять процентов. Порядок есть порядок. Эх, старость не радость», — сказал он, бодро вставая, подтянул штаны и пропал за углом.
Высокие двери раскрылись за моей спиной, и я услышал скрежет органа.

Х

Думаю, что Клим охотно избавился бы от моего присутствия, если бы не нужда в переводчике. То, что можно было назвать внешней политикой журнала, находилось всецело в его руках. Мне неизвестны примеры из эмигрантской жизни, когда бы славные принципы равноправия, демократии, терпимости к чужому мнению, всё то, что мы проповедовали, применялось на практике. Дым, а также нравы нашего отечества мы привезли с собой.

Иногда я думал о том, что все наши старания тщетны, журнал никому не нужен, эту страну не переделаешь, — и мне становилось жаль моего бедного товарища. Отчего люди, одержимые верой, вызывают у меня сострадание? Поглощённый вы-

зволением родины из оков деспотизма, мой коллега и работодатель не имел времени выучить язык изгнания. Чужой язык заведомо не заслуживал усилий, которые надо было потратить для его освоения. Эти усилия были в глазах Клима чем-то непатриотичным.

Дорóгой мы говорили о предстоящем визите, точнее, говорил Клима. Он придавал этому знакомству большое значение. Pater familias, южный барон с четырёхсотлетней родословной, был важной шишкой, председателем чего-то, вращался в консервативных кругах и пописывал в газетах. Супруга нигде не состояла, но была ещё влиятельней. Мы рассчитывали на субсидии.

Сойдя на безлюдной платформе, побродили по чистеньким тенистым улицам пригородного посёлка, оставалось ещё добрых полчаса; в назначенное время позвонили у калитки. Усадьба была защищена зелёной стеной бересклета. Никто не отозвался. Клима нажал ещё раз на кнопку. Кажется, о нас забыли. Наконец, микрофон ожил, послышалось что-то вроде шуршанья бумаги. Женский голос спросил, кого надо. Должно быть, прислуга или кто там у них.

«Это я... мы», — сказал Клима, и я перевёл его ответ.

Калитка отщёлкнулась, навстречу бежал огромный волосатый пёс, махая пушистым хвостом. Прошли по аллее, вступили на крыльцо. Дверь, над которой висели развесистые олени рога, была приоткрыта. Из внутренних покоев, изображая сдержанное радушие, вышла хозяйка дома.

«Бога-а-тенькие», — промурлыкал, озираясь, мой коллега. Мы очутились одни в просторной гостиной. Вероятно, нам давали время освоиться. Затем хозяйка, в чём-то шёлковом, шелестящем и переливчатом, внесла поднос с кофейником, чашками и печеньем, это была бледная, субтильная женщина, по виду не меньше сорока, такие женщины никогда не выглядят юными, но и не стареют; с лицом не то чтобы красивым, но каким-то слишком уж характерным. Густые, янтарного цвета волосы, полукруглые брови, прямой костистый нос, тонкие губы, впалые щёки, отчего лицо казалось немного скуластым, узкий раздвоенный подбородок; ей не хватало только круглого шарообразного чепца. Никакой косметики. Домашний капот, достаточно нарядный, всё же означал, что гостям не придают большого веса, во всяком случае, визит не считается официальным.

Вскоре появился барон, дородный господин средних лет с грубым мужицким лицом. Одет в короткие штаны, гетры и народную, по-видимому, очень дорогую куртку. Заметив, что Клим поглядывает по сторонам, он подвёл нас к висевшей на видном месте картине под стеклом: развесистое древо на фоне архаического пейзажа — дуб короля Генриха Птицелова или ясень Иггдрасил. На ветвях вместо птиц и животных висели щиты с гербами и коронами.

«Да, так вот. Гм!» — сказал барон, извлекая пробку из бутылки.

«Превосходный коньяк», — сказал Клим, и я перевёл его слова.

«Вы так полагаете? Я тоже, м-да... Ещё глоток?»

«Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Кремле?» — разливая кофе, спросила хозяйка.

Я перевёл:

«Её интересуют эти старые жопы в Кремле».

Клим обрадовался случаю продемонстрировать свою осведомлённость. Барон усердно подливал, не забывал и себя, и постепенно багровел; Клим, напротив, становился всё бледнее, он говорил без умолку, глаза его сверкали. Хозяин сопел, кивал, поднимал и опускал брови. Я не попевал за моим товарищем, а потом и вовсе умолк; было ясно, что если что-нибудь здесь имеет значение, то не речи, а только факт того, что мы здесь сидим.

Барон потрепал лохматого пса, лежавшего у его ног. Пёс, обладатель не менее славной родословной, умильно смотрел на барона.

«Мне приходилось бывать в России. Это огромная страна».

Пёс переменил позу. Барон помешивал ложечкой кофе.

Клим сказал, что последние события с особой убедительностью говорят о том, что свободному миру необходимо пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы. В частности...

Пёс забеспокоился, хозяин поднял брови:

«В чём дело, ты другого мнения?.. Вы правы, — сказал он. — Если не ошибаюсь, от Москвы до Урала пять тысяч километров!»

Запад слишком наивен, возразил Клим, если принимает на веру все эти заявления. Пора, наконец, понять, что...

«Страна с большим будущим. Непременно уговорю мою жену снова поехать. Что ты на это скажешь, Schatz?¹»

«Вы тут побеседуйте, — сказала хозяйка, — а мне надо сказать два слова господину, э...»

Теперь инициативу захватил южный барон. Он подвинул Климу, продолжая рассказывать, коробку с сигарами.

Хозяйка поднялась и направилась в соседнюю комнату, она шла маленькими шажками, как гейша, слегка покачивая бёдрами. Я поплёлся следом за ней. Мы прошли через столовую мимо низких резных шкафов с фарфором и хрусталём и оказались на кухне, почти такой же поместительной, как гостиная, откуда сейчас раздавалось нестройное пение: это хозяин и Клим исполняли русскую народную песню «Широка страна моя родная».

Баронесса остановилась в дверях.

«Знаете вы эту песню, о чём она?»

«Да, это национальный гимн, он очень древний.»

«Древнее, чем царский гимн?»

«Пожалуй.»

«О чём же он? Вероятно, о том, какая у вас замечательная страна?»

«Само собой.»

«Но ведь она в самом деле замечательная, не так ли?»

«Кто в этом сомневается.»

«Приятная мелодия, только они ужасно фальшивят... А я думала, — сказала хозяйка, — что это советская песня.»

«Советская власть гораздо старше, чем думают.»

До нас донёлся голос Клима:

«Наши нивы глазом не обшаришь!»

Барон вторил, вместо слов произнося какую-то абракадабру, пёс подвывал. Хозяйка притворила дверь.

Мне показалось, что она смущена и не знает, с чего начать.

«Поразительно», — сказал я. Теперь я понял, на кого она была похожа.

«Вы имеете в виду...?» Она усмехнулась, чтобы скрыть, что она польщена.

Я кивнул.

«Откуда вы знаете эту картину?»

¹ Дорогая (нем.).

«Она известна. Дюрер. Не помню, как называется».

«Портрет патрицианки. Значит, вы тоже заметили... Считается, — сказала она, — что эта Эльзбет... Так её звали, Эльзбет Тухер. Считается, что я происхожу от неё, правда, по боковой линии. Она была замужней женщиной, это видно по портрету, и согрешила с художником. Так что и Дюрер будто бы мой предок. Всё это легенда. В нашем роду не было женщин с такой фамилией».

«Легенды бывают правдивей действительности».

«Бывают, это верно... Имя тоже нетрадиционное. Все мои прабабки носили имя Мария. В разных сочетаниях. Кстати, меня зовут Луиза-Света-Мария».

«Света?»

«Это какое-то славянское имя. Мне объясняли, что оно означает. Вы, вероятно, можете дать точную справку».

«За этим вы меня и позвали?»

«Нет, конечно. Вы не догадываетесь, зачем?»

«Понятия не имею».

Она вздохнула. «Вы... давно здесь? Я не знаю, как это назвать: изгнание, эмиграция?»

Я ограничился неопределённым жестом.

«Но язык, наверное, знали ещё до того».

«Знал».

«Я хотела задать вам один вопрос... Вы можете не отвечать. Только прошу вас, не сочтите за обиду моё любопытство».

«Не сочту».

«Вы не обидитесь, договорились?»

«Я вас слушаю».

«Церковь святого Иоанна Непомука... вам это имя что-нибудь говорит?»

«Он, кажется, охраняет мосты».

«Вы образованный человек. Видите ли, в чём дело. Мой кузен — пресвитер этой церкви. Да и я там бываю... иногда».

Она прислушалась, пение в гостиной умолкло.

«Ладно, пусть побеседуют».

«Это довольно трудно», — заметил я.

«Коньяк им поможет. Так вот... Простите, что я так. Я хотела спросить. Это вы там сидите? Можете мне не отвечать. Я понимаю. Жизнь на чужбине... Но неужели настолько...»

Я сказал, глядя в сторону:

«Считайте, что это моё хобби».

«Да, конечно, — сказала она. — Разумеется, — сказала Света, Марта, Мария или как там она звалась. — Я слишком хорошо понимаю ваши чувства. Вашу гордость. Хобби... Позвольте мне быть откровенной, я позвала вас не для того, чтобы удостовериться, я знала это наверняка. Сожалею, что так грубо вмешиваюсь в вашу жизнь, но раз уж... Я только очень надеюсь, что это обстоятельство, это... вынужденное обстоятельство не помешает нашему знакомству. Пожалуйста, не отвергайте с порога моё предложение. Или, вернее, мою просьбу. Я бы хотела вам помочь».

«Благодарю вас, баронесса, — сказал я, — вы очень добры. Но уверяю вас, вы заблуждаетесь. Я вовсе не...»

«Я? заблуждаюсь?.. О нет, моё сердце меня не обманывает. Пойдёмте, нас ждут».

XI

Разумеется, я постарался не придавать значения этому разговору, ни в чьей помощи я не нуждался; разговор оставил неприятный осадок: за мной подглядывали; на обратном пути в электричке я вяло и невпопад отвечал Климу, который пребывал в приподнятом настроении. Похоже было, что они с бароном пришли по вкусу друг другу.

«Ну, а реальное какое-нибудь обещание ты получил?»

«Вот увидишь, — сказал Клим. — Он богат, как Крез!»

Погода вдруг установилась отменная, настоящая золотая осень, и в одно из воскресений, вместо того, чтобы с утра облачиться в балахон и кастановую шляпу, я отправился к моему другу и покровителю. Разыскать его оказалось непростым делом, больница находилась на западной окраине города, у чёрта на рогах, наводить справки у Вивальди я не стал, не хотелось, чтобы он знал о моём визите.

Тут чуть было не произошло то, чём я уже рассказывал; я ненавижу эту линию, там всегда что-то случается; поезд задерживался на двадцать минут, несколько раз повторилось объявление, со своей ношей под мышкой я бросился к эскалатору, водитель объяснил, что лучше ехать не до конца, а до следующей станции метро. Погода стала меняться, небо посерело, окна до-

мов отсвечивали оловом. Я чувствовал, что проклятый автобус увозит меня в потусторонний мир, и успел, слава Богу, выпрыгнуть на ближайшей остановке.

Словом, я кое-как добрался и даже попал в приёмные часы, но, войдя в вестибюль, увидел, к своей досаде, Вальдемара. «Вот, — пробормотал я, — последовал твоему совету». Он ухмыльнулся. Мы подошли к справочному окошку. Долго блуждали по коридорам, поднимались по лестницам. «Может, помочь?» — спросил Вивальди. Он нёс какой-то кулёк. Я тащил нечто более весомое.

Профессор оккультных наук лежал в светлой палате, над кроватью висел треугольник для подтягивания. Я поставил проигрыватель на столик-каталку и воткнул вилку в розетку. Наш патрон сумрачно кивнул, когда Вивальди, поглядывая по сторонам, извлёк из внутреннего кармана своё приношение, завёрнутые в бумагу ампулы, — следовало бы начертать на них мелкими буквами на целительной латыни: *пах in terra et in hominibus benevolentia*¹.

Вполголоса Вальдемар осведомился, не желает ли страдалец причаститься немедленно. Профессор покачал головой. Ампулы исчезли в тумбочке с двойным дном. Я покосился на соседей. Профессор заметил:

«Ничего, потерпят. Им тоже полезно».

Я нажал на клавишу, наступила тишина — слабый шелест пространства — короткое вступление. И два волшебных женских голоса запели:

Мать скорбящая стояла, вся в слезах, а на кресте...

Профессор, лёжа на спине, дирижировал, устремив взор в потолок.

*Dum pendebat Filius*².

Немного погодя он сделал знак остановить музыку.

Мы топтались возле кровати. Глядя в потолок, профессор заговорил:

«Смысл жизни, быть или не быть, как говорит Гамлет, тот самый, который... И вообще. Я теперь пересмотрел свой жизненный путь — всё не то, не то... О вас, говноедах, тоже, между прочим, думаю. Что будете делать без меня? Попадёте ещё кому-нибудь в лапы...»

¹ На земле мир и в человеках благоволение (*лат.*).

² ...висел Сын (*лат.*).

«А что эскулапы говорят?» — спросил Вивальди.

«Чего они говорят, ничего не говорят...»

«Ползать будешь?»

«Ползать? а что толку?.. Жил в двенадцатом веке, — сказал он, помолчав, — знаменитый учитель, богослов, как же его звали, едри его... Однажды этот богослов сидел в своей комнате и писал гусиным пером проповедь. Дело было в Париже. Вы за моей мыслью следите?»

«Стараемся».

«Сидел и писал проповедь. А сам смотрел в окно на реку Сену. На берегу сидел мальчишка лет десяти, в руках у пацана ракушка, и этой ракушкой он, значит, загребает воду. Великий богослов выходит из дому, как же ты, говорит, собираешься вычерпать реку ракушкой? А парень ему отвечает: а как же ты хочешь изъяснить словами тайну Святой Троицы?»

«Ты что-то не то понёс, папаша», — зевнув, сказал Вальдемар.

«То есть как это не то?»

«Сам говоришь: десять лет пацану. Как это он...»

«А ты дослушай, я, между прочим, ещё не кончил! Слова не дадут сказать, вечно перебивают».

Наступила пауза. Профессор смотрел в потолок.

«Чего замолчал-то?»

«А то, что надо сначала дослушать, а потом свои блядские замечания вставлять.. Распустились, суки... Это, говорит, дело такое же безнадёжное».

«Кто говорит?»

«Пацан говорит! — загремел профессор. — Устами младенца глаголет истина. И вот когда настал день и народ собрался, чтобы послушать проповедь великого богослова, он вышел, поднялся на кафедру и сказал: вот я тут перед вами. Все меня видели? Ну, и довольны с вас. И ушёл, и след простыл».

«Куда же он делся?»

«Слинял. Удалился в далёкий монастырь. И своё имя скрыл, поэтому, — сказал профессор, — и я не знаю, как его звали».

Снова помолчали, соображали, что-то надо было ему ответить. Больной пробормотал:

«Вот и я тоже думаю...»

Я спросил: включить? Он покачал головой.

«Вот и я думаю: пора, давно пора. О душе подумать надо. Пошлю вас всех к солёной маме... Надоели вы мне все, и всё мне надоело».

«Да куда ж ты денешься?» — спросил Вивальди.

«А вы куда денетесь? Попрошусь в монастырь».

«Да ведь ты, папаша, неверующий».

«Или студентом на теологический факультет».

«Я хотел вас спросить, — сказал я, — Вальди вас пока замещает...»

«Что?» — нахмурился патрон.

«Я говорю, пока вы здесь, он...»

«А кто это ему позволил? — закричал профессор. — С-суки поганые, мародёры, стоит мне только отлучиться!..»

«Без паники, ваше преподобие. Тебе волноваться вредно».

Вальдемар проворно сел на корточки, извлёк из тайника ампулу с героином, явился шприц. Вальдемар всадил иглу в бедро профессору.

XII

Моё аристократическое знакомство имело продолжение: сняв трубку, я услышал её голос. Минуту спустя в комнату вошёл Клим. Я извинился и положил трубку. «Зайди ко мне, — сказал он. — Кто это?»

Я знал, что нам предстоит то, что он называл принципиальным разговором. Ещё меньше охоты было у меня беседовать с баронессой. Что ей понадобилось? Именно этот вопрос задал Клим.

Почему он решил, что это она?

«Не увиливай. Она, наверное, хотела поговорить со мной».

«Не думаю», — сказал я.

«Мало ли что ты думаешь. Она позвонила в редакцию, чтобы поговорить о деле».

«Позвони ей сам».

«Ты прекрасно знаешь, что это невозможно». Мы сидели в его кабинете (комнатка чуть больше моей, с картой во всю стену — родина с нами), он в своём кресле, я на стуле сбоку от стола.

«Я давно жду этого звонка. Это по поручению барона. Я думаю, он хочет мне кое-что сообщить. Что она тебе сказала?»

«Пустяки, ничего особенного».

Я смотрел на свои руки, разглядывал ногти.

«Ты сейчас позвонишь ей, — сказал Клим, беря второй микрофон, — от моего имени. Спросишь...»

Я покачал головой.

«Почему? — спросил он. Я пожал плечами. Клим подумал, процедил: — Ладно. Может быть, ты и прав, подождём ещё немного. — Я встал. — Минуточку. Сядь... Вот эта статья. Что это такое?»

В чём дело, пробормотал я.

«В чем дело? И ты ещё спрашиваешь. Да я просто не нахожу слов!»

Таково было вступление к принципиальному разговору. Увы, не первому. Полагаю, не будет неожиданностью — после всего, о чём говорилось выше, — если я скажу, что отношения наши мало-помалу достигли критической точки. Тут была в самом деле некоторая принципиальная разница, и чем дальше, тем она становилась очевиднее. Если угодно, водораздел. Наше пребывание на чужбине мой товарищ считал временным. Он не терпел слова «эмиграция». (Именно это делало его стопроцентным эмигрантом.) Мой товарищ был подлинным патриотом — чего нельзя, к сожалению, сказать обо мне.

Может быть, достаточно простого объяснения. Орбиты наших планет приблизились к пункту опасного противостояния. Мы слишком тесно были связаны своим делом, мы порядком надоели друг другу, это был обыкновенный житейский факт, ясный для обоих. Был ли он следствием идейных расхождений или, наоборот, причиной, не имеет значения. Наше далёкое отечество, всё глубже, словно скалистый остров, тонущее в дымке, всё дальше уходившее от нас в свою собственную недоступную жизнь, — для Климa это был единственный свет в окошке. Вся наша деятельность должна была служить подготовкой к возвращению. Он так в него верил, что временами меня охватывало сострадание. Он знал, чего он хотел. Чего хотелось мне, я не ведал. Я ничего не добивался. Я питал — чем дальше, тем сильнее — отвращение к «идеям». Выражаясь поэтически, Клим верил в Россию, — а я? Будет ли преувеличением сказать, что вся Россия для меня помещалась в постели, где на подушке рядом с моей головой покоилась голова Кати? Но Катя умерла, это случилось тому три года или около этого.

Кризис напоминал едва заметную трещину, которая, однако, змеилась всё дальше, грозя расколоть льдину, где мы поставили нашу палатку. Кризис совпал со временем, когда надежда вернуться на родину блеснула, как лезвие зари на ночном небе. Клим жадно ловил новости. А вернее сказать, продуцировал новости, как и подобает истинному журналисту; мнимые перемены были исполнены для него огромного значения. Но мы по-прежнему были прикованы друг к другу, словно каторжники, и волочили вдвоём нашу тачку; тот, кто хотел бы ускорить шаг, должен был потащить за собою товарища.

Мне незачем пересказывать наш разговор, я вернулся к себе, и тотчас задребезжал телефон, словно там дожидались, когда я войду.

«Hallo», — сказал я скучным голосом.

Но это была не баронесса.

«А, — сказал я. — Привет».

Там молчали.

«Привет, — повторил я, — это ты? Извини, я ещё не говорил насчёт работы, надо подождать...»

«Успеется. Я не поэтому звоню...»

«Что новенького?» — спросил я, не зная, что сказать.

«Ничего».

«Откуда ты узнала мой телефон?»

Номер был в телефонной книге. Адрес редакции указан на обратной стороне журнальной обложки. В доме на улице Шеллинга рядом с входом висела наша вывеска. Всему этому мы придавали когда-то особое значение, это был вызов. Если журнал в самом деле достигал берегов отечества, то его первыми читателями, разумеется, были сотрудники славного ведомства — первыми и, возможно, единственными. Получалось, что мы трудились для них. В редакцию заглядывали подозрительные личности, звонили незнакомые голоса. Случись у нас взрыв или пожар, Клим, я думаю, был бы доволен.

«Мы увидимся?» — спросила Мария Фёдоровна.

Я что-то ответил.

«Когда?»

Новый звонок раздался, едва только я положил трубку.

«Да», — сказал я, поглядывая на дверь, откуда в любую минуту мог показаться Клим.

ХIII

В назначенное время, это было на другой день, я сидел за столиком у окна и поглядывал с высоты на площадь, голубей и туристов, на колонну с кукольной Богородицей и затейливый циферблат на башне. Прождав полчаса, я двинулся к выходу, испытывая некоторое облегчение, — в эту минуту она появилась: маленькая рыжеволосая женщина на высоких каблуках впорхнула, рассыпаясь в извинениях. Я подумал, не следует ли мне, как принято в консервативном кругу, наклониться к ручке. Повесил на вешалку её плащ.

«А знаете, — сказала она, усевшись, оглядевшись, это было то, что называется буржуазное кафе, с зеркалами, лепниной на потолке, редко расставленными столиками, место конфиденциальных встреч, где полагалось говорить негромким голосом, выпускать дым, не затягиваясь, и отдавать распоряжения кельнеру, полузакрыв глаза, — знаете... — она коснулась пальцами пышных волос и расправила широкое платье, — на самом деле я пришла во-время. Я наблюдала за вами!»

«Чтобы решить, стоит ли продолжать со мной знакомство?»

«Я размышляла о вашей судьбе... Вы приглашены», — сказала она, опуская глаза, почти тоном приказа. Это означало, что она собирается за меня платить. Без всякого любопытства я пробежал глазами меню.

«Позвольте рекомендовать вам... Как насчёт божоле — лёгкого, молодого?» Официант принял от нас похожие на почётные грамоты папки с картами меню и напитков и удалился.

Я поглядывал на сублительную баронессу со странным именем Света-Мария, она смотрела на меня, и оба мы спрашивали себя, что может быть общего между нами.

«Как поживает ваш соиздатель? Надеюсь, — это было сказано небрежно, — он не знает о нашей встрече...»

«Разумеется, нет. Он интересовался, будут ли иметь продолжение переговоры с...»

«Ах, да, да. Можете передать ему... впрочем, муж сам ему позвонит».

«Коллега не говорит... э...»

«Ах, да. Конечно. Ну, как-нибудь обойдёмся. Муж позвонит вам. Скажите... Ведь это, наверное, очень трудно — жить в стране и не говорить на языке её народа?»

«Большинство наших так и живёт».

«Как я им сочувствую. Но ведь когда живёшь в чужой стране, необходимо научиться».

«Вы правы».

«Я имею в виду необходимость адаптации».

«Так точно».

«Вы отвечаете, словно в армии».

«Так точно».

Разговор грозил иссякнуть. Легко вздохнув, скосив глаза направо, налево, она спросила:

«Как вы относитесь к музыке?»

«К музыке?»

«Да. Я хочу сказать — любите ли вы музыку?»

«Смотря какую».

«Я хочу сказать, настоящую музыку».

«Настоящую люблю».

«У меня предложение...» — проговорила она и остановилась. Кельнер приблизился со своими дарами.

«Ого», — сказал я.

Она поблагодарила официанта кивком, он зашагал прочь походкой манекена. Я чувствовал себя в мире кукол. Одна из них сидела напротив меня — с фарфоровой кожей, слегка скуластая, с узким подбородком, в пышной причёске семнадцатого столетия. Под широким струящимся платьем целлулоидное тело, должно быть, обтянутое розовой материей.

«Здесь неплохо готовят, надеюсь, вам понравится. — Она была уверена, что я не только не был, но и не мог быть никогда в этом заведении. Она подняла бокал. — Prost... э-э...?»

Я назвал своё имя.

«А как зовут меня, вы, надеюсь, не забыли. Представьте себе, я догадываюсь, о чём вы думаете!»

«О чём же?»

«Вы думаете: кругом искусственные люди, всё у них рассчитано, подсчитано, и живут они рассудком, а не по велению сердца... Ведь так? Русские очень высокомерны. Я хочу сказать... Вероятно, западная психология...»

Она умолкла, закуривая сигарету, подала знак официанту принести кофе. Выпустила дым к потолку.

«У меня на сегодня абонемент. Мой муж, знаете ли, равнодушен к музыке».

Я мог бы возразить, что и я, пожалуй, равнодушен к музыке, если музыка равнодушна ко мне. Если же нет... Мне не пришлось долго ждать в фойе, баронесса явилась, оживлённая, с блестящими глазами, издающая еле ощутимый аромат духов, и несколько времени погодя мы оказались в высоком сумрачном зале, где, впрочем, изредка приходилось мне бывать. Огромная тусклая люстра под потолком обливала мистическим сиянием ряды публики, колонны и гобелены с подвигами Геракла. Свет померк. Пианист появился, встреченный аплодисментами. Народ сидел, оцепенев, как обычно сидит здешняя публика. Пианист играл *Адажио си-минор*, насколько мне известно, оставшееся без названия, — поразительную вещь, от которой невыносимо тяжело становится на душе; может быть, начало какого-то более крупного произведения, которое Моцарт так и не написал, увидев, что уже всё сказано, что дальше может быть только молчание, терпение и покорность судьбе. И в самом деле, зал безмолвствовал, когда музыкант, уронив руки на колени, опустив голову, сидел перед своим инструментом; потом раздались неуверенные хлопки.

Что-то происходило со мной, к стыду моему, — я совсем не был расположен вести светскую беседу и охотно распрощался бы с баронессой, поблагодарив за доставленное удовольствие; вместо этого я нёс какую-то чушь. Как ни странно, немецкая музыка всегда напоминает мне страну, из которой я бежал сломя голову.

«Только музыка?» — спросила она. Да, музыка и ничего больше. Сеялся мелкий дождь, она сунула мне ключи от машины, я принёс зонтик, и мы побрели в Придворный сад. Сидели там, подстелив что-то, на скамье в открытой ротонде с колоннами, и город церквей и сумрачных башен, в прозрачных огнях, влажной паутиной обволакивал нас. Город, сотканный из вещества того же, что и сон.

«Откуда это?»

«Шекспир. Буря».

«Мне кажется, там сказано иначе».

«Какая разница».

«Вы в это верите?»

«Во что?»

«Вы верите в сны?»

«Госпожа баронесса...» — проговорил я.

Она поправила меня: «Света-Мария».

«Пусть будет так... Давайте внесём ясность. Я благодарен вам. Вы проявили ко мне необыкновенное внимание. Но мне кажется, вы принимаете меня не за того, кто я на самом деле...»

«Кто же вы на самом деле? — спросила она, закуривая; я отказался от сигареты. — Вы молчите».

«Мне трудно ответить».

«Хорошо, я попробую ответить за вас. Если я не права, вы меня поправите. Я действительно приняла вас не совсем за того, кем вы, по-видимому, являетесь. Из чего, однако, не следует, что я разочарована».

«Спасибо».

«Я приняла вас даже за двух разных людей. Когда вы пожаловали к нам... с вашей коллегой... я подумала: этого не может быть. Это другой человек. Но это были вы. Я не знаю вашей среды...»

«Пожалуй, в этом всё дело».

«Но мне совершенно безразлично, кто вас окружает. Я знаю только одно».

«Что же именно?»

«Что мне придётся принять вас таким, каков вы есть! — сказала она, смеясь. — И вы не должны отказываться... не смею сказать, от моей дружбы, но от моей помощи...»

Я встал.

«О, я не покушаюсь на вашу гордость. Удивительные вы люди! Разве вас не унижает сиденье на паперти?...»

«Света-Мария», — проговорил я.

«Да, — она откликнулась неожиданно глубоким, грудным голосом. — Вы хотите мне что-то сказать?»

«Нам пора прощаться».

«Но до машины вы меня хотя бы доведёте?»

XIV

Я нарочно остановил такси на соседней улице, чтобы не привлекать внимания; меня могли узнать, ведь она никуда не

переезжала, это была просто одна из ложных версий. По всей вероятности — слухов, распространяемых всё той же конторой. Ничего не изменилось, разве только фасады старых зданий стали ещё обшарпанней, кое-где обрушились водосточные трубы, подъезды с настержь распахнутыми, залатанными фанерой дверьми, зияли тьмой. Тускло отсвечивали пыльные окна. Впереди, в расщелине переулка тлел ржавый закат. Ничего тут не изменилось, и в то же время всё стало чужим. Двойное чувство владело мной — я узнавал и не узнавал наш район. Редкие прохожие растворились в сумерках, протрусилась собака, я шёл, вглядываясь в номера домов, но и номера стёрлись; свернул в соседний переулок — дом был в десяти шагах от меня, я кружил, не замечая его. Пёс неподалёку перебирал лапами от нетерпения, я поманил его, он бросился в сторону, остановился, виляя хвостом, точно ждал, что я позову его снова, позову по-русски: зверь не понимал чужого языка. Я вошёл в подъезд и стал не торопясь подниматься по лестнице.

«Здание, как я вижу, не ремонтировалось с тех пор», — сказал я, войдя в квартиру.

Она была больна, лежала в постели. Она поднялась мне навстречу.

«Простудишься, надень халат. Где у нас...? Я сам»

Стоя на шаткой табуретке, я достал с антресолей два чемодана, сдул пыль и проверил замки. Я спросил у Кати, что она хочет забрать с собой, вынул стопку белья из шкафа, снял с плечиков и уложил её платя, а где то, где другое, зубная щётка, спрашивал я, где твоя зубная щётка? Тут только я заметил, что говорю с ней, задаю вопросы, а она не откликается. Она сидела на краю кровати, поджав пальцы босых ног, сунув руки между колен, её ключицы резко выделялись в разрезе рубашки, глаза блестели в тёмных глазницах. Ты совсем больна, пробормотал я, но ничего, мы тебя там подлечим.

Наконец, я услышал её голос. Глухой голос, как прежде.

«Я не понимаю», — сказала она.

Я возразил: чего ж тут не понимать. Приедем, надо будет основательно заняться здоровьем.

В ответ она покачала головой, оттого ли, что не верила в своё выздоровление, или оттого, что не понимала меня.

Конечно! Сам того не замечая, я говорил на чужом языке.

«Катя, — сказал я, — какой я идиот».

Мне показалось, что в дверь постучались. Я взглянул вопросительно на жену, она пожала плечами и кивнула головой.

«Кто это?»— спросил я, и она снова кивнула.

«Это — они?»— прошептал я в ужасе.

Открыть дверь и броситься прочь, пока они не опомнились.

Она покачала головой, словно хотела сказать, что «они» теперь не у дел, я не верил ей. На кухне был чёрный ход. Но внизу во дворе кто-то наверняка уже поджидал, нужно уходить на чердак. Перебраться на крышу соседнего дома. Слезть по пожарной лестнице... Все эти мысли, как ток, ударили мне в голову и ушли по спинному мозгу в пол. Я застыл, всё ещё под воздействием электрического удара. Раскрытый чемодан с одеждой лежал у моих ног.

Голос Кати прошелестел: «Сейчас увидишь». Дверь отворилась, вошёл некто, и я тотчас успокоился.

Вошёл оборванный бородатый мужик в изжёванной непогодой фетровой шляпе, в сапогах, просящих каши, с сумой через плечо, не здороваясь, спросил, кто это.

«Мой муж», — был ответ.

«Какой такой муж». Человек, ворча, начал стаскивать через голову свой мешок.

Я рылся в карманах, чтобы дать ему мелочь.

«На хер! мне твои подачки, у меня своих денег хватает». Он сунул руки в карманы своего рубища и вынул полные пригоршни монет, там было и две-три скомканных бумажки. Мешок лежал на полу, человек наклонился и стал выкладывать на стол рядом с деньгами куски хлеба, остатки еды, завёрнутые в газету, достал со дна жестянку с бычками в томатном соусе. Под конец явилась поллитровка.

«Садись, ужинать будем...»

«А как же...?» — спросил я, кивая на чемоданы.

«Успеется». Он открыл зубами бутылку, налил себе и мне по полстакана, плеснул на доньшко Кате.

«Значит, говоришь, за ней приехал. А ты у неё спросил, хочет ли она? Со мной согласовал? Ладно, давай... Со свиданьем».

Он подвинул ко мне консервную банку, Катя принесла три тарелки, я их сразу узнал, теперь они были тёмные и выщербленные. Я сказал:

«Ей бы надо одеться, здесь холодно. Хотя бы халат накинуть».

«Ничего. Так она мне больше нравится. Мне вот даже жарко. — Сожитель скинул своё одеяние, остался в майке, обнажив могучие татуированные плечи, на груди поверх майки висел большой целовальный крест. — Так, говоришь, приехал? Ну, раз приехал, чего уж тут. Как-нибудь устроимся... в тесноте да не в обиде».

Но я вовсе не собираюсь оставаться, возразил я или, может быть, подумал.

Всё своим чередом, сказал он.

Я спросил: это как понимать?

«А вот так и понимай. Ты пей, ешь... Чего тут не понимать. Поделится. Одну ночь ты, другую я. Уступаю тебе очередь. Цени моё благородство. Гостю почёт и уважение, верно я говорю, Катюха?»

«Послушайте, — сказал я. — У нас мало времени. Спасибо за угощение, было интересно с вами познакомиться. Нам пора. Такси ждёт за углом».

Катя молча вышла из-за стола и улеглась в постель.

«Ну чего ты, — сказал новый хозяин, — чего тебе здесь не нравится. Я, что ль, не нравлюсь? Харчами моими брезгуешь?»

«Не в этом дело...»

Кто-то скрёбся в дверь. Человек встал и открыл. Вбежала собака, вероятно, та же, которую я видел на улице, и стала кружить по комнате.

«На место!» — зарычал хозяин.

Он поставил тарелку с едой на пол.

«Не в этом дело», — проговорил я.

«А в чём же тогда? Я тебе вот что скажу». Он уселся за стол.

Пёс скулил в углу.

«Молчать! Ежели какая-нибудь там философия, то, конечно. А вот если так, по-простому, как жизнь велит... Жизнь, она свои законы диктует».

«Я вас не понимаю».

«А ты вообще-то что-нибудь понимаешь?»

Скулёж перешёл в протяжный вой. Мы поднялись. Пёс сидел, задрал кверху морду, возле кровати.

«Катя, — спросил я, — тебе холодно?»

Она молчала.

«Укрыть тебя ещё одним одеялом?»

Ответа не было, я увидел, что она умерла.

Казусы, которые случались со мной, не стоили бы упоминания, если бы следом не потянулись другие, такие же странные происшествия, если бы с ними не входили в мою жизнь важные перемены.

Отнюдь не надеясь кого-либо убедить, хочу только заметить, что моя вторая профессия оставляла мне достаточно времени для размышлений. Я испытывал потребность подвести некоторые итоги. В те дни я понял, что целая эпоха моей жизни подходит к концу. Ничего не осталось от молодости, «зрелость» начала вянуть; я стоял у порога старости.

Не то чтобы я собирался устроить смотр своих достижений, какие там достижения. Если у меня и были какие-то задатки, я не сумел их реализовать. Я ничего не добился в жизни, ничем особенным себя не проявил. Умри я сегодня ночью, завтра ни одна душа обо мне не вспомнит. Просто я достиг поры, когда можно было сделать кое-какие выводы, извлечь кое-какие уроки из прожитого, я даже понял, что выводы, в сущности, уже готовы, нужно лишь по возможности чётко сформулировать их для себя. Вслушаться в голос, который их втолковывает. Я не отделяю себя от своего «времени» (что за дурацкое слово). Очевидно, что я представляю собой в самом чистом виде то, что называется — дитя времени. Именно поэтому я принял единственно разумное решение выломаться из времени, как выламывают решётку тюремного окна.

Какое это, в сущности, гнусное время. Нет, это даже не требует доказательств. Это все знают!

Знают и всё-таки скажут: почему же только гнусное? Почему не великое? Время грандиозных открытий, неслыханных достижений. Например: когда и где ещё были изобретены зубные щётки такой изумительной формы, хитроумнейшей конструкции, для всех челюстей и на все случаи жизни? Скажут — да ведь никогда не было в истории счастливых времён, и всегда современники считали свой век самым бедственным. Почитайте, что пишет Тацит, почитайте хроники Великого переселения народов, или Чёрной смерти XIV века, или Тридцатилетней войны; в конце концов, загляните в историю Иова.

Я подумал: есть ли что-нибудь вроде объективного критерия бед, существует ли температура несчастий? Сверкающий

столбик ртути в термометре столетий то опустится, то подскочит ещё выше, пока, наконец, не упрётся в верхний конец шкалы: именно в это время нас угораздило жить. Никогда я не мог понять людей, которые гордятся тем, что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени можно только ужаснуться, его надо стыдиться.

Кто-то объяснил: дух истории утоляет горечь сознания, что всё в этом мире идёт прахом. Пускай нам кажется, что мы были этим прахом, человеческой пылью, спрессованной в сыпучее содержимое песочных часов. История ставит всё на место. История воздаёт правым и виноватым. История всё объясняет, примиряет, оправдывает. История — Бог нашего времени. Господи, какая чушь.

Да, мы сподобились в самом деле посетить этот мир в его минуты роковые; мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, воочию, как солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка. Куда деваться от чудовища, нависшего над нами, над каждым человеком? Вот великий вопрос. То, что будет историей нашей эпохи, не будет историей людей, это будет история трупов, это будет история выпотрошенного человечества. Как спастись, думал я, куда деться?

XVI

Теперь ещё два слова по личному вопросу. Моё отношение к Марье Фёдоровне: боюсь, что мне не удастся сказать на этот счёт что-либо вразумительное. В моей жизни, мало помалу приобретающей какой-то призрачный характер, она была ещё одним призраком, вот и всё. Видимо, я разучился по-настоящему привязываться к людям. Что же тогда мешало мне порвать с ней? Ответ простой, обыкновенная мужская причина, звоночек, который время от времени позвякивает в мозгу. Но я чувствовал, что тут примешивается что-то другое. Возможно, я просто жалел Машу. Жалость вообще движет людьми гораздо чаще, чем думают. Наконец, то и другое могли быть двумя сторонами одного и того же, сострадание к женщине подогревало желание. Я не мастер анализировать взаимоотношения полов.

Тут, впрочем, было ещё одно, весьма скользкое обстоятельство. Меня не смущал способ, которым моя теперешняя подруга зарабатывала на жизнь. Загвоздка была как раз в

другом — в том, что я пользовался её благодеяниями бесплатно. Для Маши это было знаком того, что она относится ко мне, так сказать, непрофессионально; знаком того, что она меня отличала, если уж на то пошло — доказательством любви. А для меня... Для меня это означало, что я оказался в дурацком положении невольного конкурента. В чём и пришлось убедиться в самое короткое время.

Я вошёл в холл; перед лифтом стоял человек.

«Не работает».

Я повернул к лестнице, он преградил мне дорогу.

В чем дело, спросил я. Он спросил, к кому я иду. Я пожал плечами.

«Можешь не объяснять, — сказал он, — и так знаю».

Оказалось, что это комендант. Мы вошли в каморку, где стоял письменный стол. Бумаги, телефон, портрет на стене — всё как полагается. Портрет изображал восточного potentата в погонах.

«Председатель революционного совета. Великий человек», — сказал комендант.

Я поинтересовался, какое это государство.

«Ирак. Не слыхал, что ли?.. Ирак — оплот свободы и независимости Востока против американского империализма. Друг нашей страны».

Какой страны, осторожно спросил я.

«Нашей! — отрезал комендант. — У нас страна одна. Есть ещё вопросы?»

Медленно отворилась дверь, показался широкий зад уборщицы, которая несла поднос со стаканами, сахарницей и тарелкой. Несколько времени мы пили чай, комендант, спохватившись, протянул через стол волосатую ручищу, представился:

«Алексей. Можно просто Лёша... А как тебя звать, я знаю. И чем ты занимаешься, знаю... Я ваш журналчик почитываю, — сказал он, — вы там разную хреновину пишете, небось тоже на американские денёжки, а?..»

Комендант допил чай, обсосал лимонную дольку.

«Не хочу, конечно, тебя обижать, но вообще-то говоря... — он покачал головой, — нехорошим делом занимаетесь».

Почему, спросил я.

«А потому. Предаёте национальные интересы России. Ты Ильина читал?»

«Какого Ильина?»

«Иван Александровича, профессора!»

«А», — сказал я.

«Читал или не читал? Очень советую. Великий человек. Вот вы там всё долдоните: фашизм, тоталитаризм... А что говорит Ильин? Ильин говорит: фашизм исходит из здорового национального чувства... России нужна сильная власть. Запад нас не знает, не любит, радуется нашим бедам... Пей чай».

Я поблагодарил за угощение, сказал, что мне пора.

«Куда это?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«К Маньке?»

«Знаешь, Лёша, — сказал я спокойно. — Это не твоё собачье дело».

«Ага, — зловеще молвил комендант, развалился на стуле под портретом наследника ассирийских владык и сложил руки на животе. — Вот так, значит. Не моё собачье дело. Нет, ты стой, стой! Мы ещё как следует не поговорили».

«О чём?»

«А вот о том самом. Во-первых. Посторонним вход в общежитие запрещён. Мне ведь только стоит слово сказать. Тебя отсюда грязной метлой погонят! Это как минимум. Ясно?.. Нет, ты стой. Ты — не торопись. Сядь...»

Он почесал в затылке и продолжал:

«Во-вторых... Мы так хорошо поговорили. Давай и дальше по-хорошему. В чём тут дело, всю, так сказать, ситуацию ты знаешь. Я тебе так скажу: если бы не я, Маша твоя давно бы пропала. Шаталась бы по панели, а потом, как все они, — в выгребную яму... Попала бы в лапы одному из этих... Я этот мир знаю. Советую со мной не ссориться. Давай начистоту, хочешь к ней ходить — пожалуйста. Я ничего не вижу, ничего не знаю. Но имей в виду! Если ты другое задумал...» — он грозил пальцем.

«Что задумал?»

«Будто не понимаешь. Стать её другом. Покровителем, ёптвою. Ну, котом, по-русски. Так вот: и думать не смей. Здесь хозяин один. Вот он здесь, перед тобой... Мою мысль понял? Ходить, ходи. И про это дело не забывай: сколько надо, — комендант потёр палец о палец, — она тебе сама скажет».

Однако, подумал я, она ничего мне об этом не говорила.

Было воскресенье, по-прежнему стояли тёплые, дымчатосонные дни затянувшейся осени. Полупустой поезд, безлюдная платформа; я прошёл мимо касс-автоматов, спустился в туннель под железной дорогой, вышел наружу, там тоже ни души, вышел с другой стороны, она ждала на стоянке, она помахала мне издалека, я уселся рядом с ней. И мы покатали через уснувшие поля, под выцветшими небесами, мимо игрушечных деревень с двускатными крышами и балконами, со шпилями церквей, где вместо крестов красуются петухи, навстречу поднимающимся из низин медным, тронутым вялой киноварью лесам. По узкой, пустынной асфальтированной дороге ещё километров двадцать, и вот, наконец, лес расступился. Взошли на крыльцо. В этом домике, сказала она, её отец отдыхал после размовок с её матерью, писал мемуары и сочинял стихи.

Среди сизых елей за железной оградой помещалось фамильное кладбище, гранитные плиты с гербами, с длинными звучными именами. Составной герб — принадлежность не слишком древнего рода. Что значит не слишком древнего, спросил я.

«Древние гербы всегда просты, крест или зверь, больше ничего. А наш род известен только с шестнадцатого века. Я говорю о нашей фамилии, не о фамилии моего мужа... Вон там, — сказала она, — лежит мой дед. Он был повешен».

Вошли в дом и вступили в большую комнату, обставленную в рустикальном вкусе.

«Voilà». Она протянула мне фотографию в рамке, стоявшую среди других на столике в углу. Сухощавый человек с генеральскими листьями в петлицах, с планками орденов.

«Между прочим, один из немногих, с которыми Эрнст Юнгер был на “ты”. Вам это имя что-нибудь говорит? У Юнгера есть запись в дневнике о моём дедушке».

Она разыскала книгу на полке.

«В нём проявляется очевидная слабость аристократии. Он достаточно хорошо понимает, куда всё это идёт, но совершенно беспомощен перед лицом сволочи, у которой есть только один аргумент — насилие... Беспомощен. Это он так пишет о моём дедушке. Но ведь это неправда, как вы считаете?»

«Если судить по результатам заговора, то Юнгер, может быть, и не так уж неправ...»

«Ах, не говорите. Разве сам по себе этот поступок, этот жест не имеет значения?»

«Разумеется. И всё же...»

Она сказала:

«Я была совсем крошкой. И дед мой сидел вот в этом самом кресле. Он был в мундире с золотыми пуговицами и узких лакированных сапогах. Всё в нём было узкое, лицо было узкое, он был высокий и стройный. И говорил со мной с испанской учтивостью, словно с инфантой... Я стояла возле него, он усадил меня к себе на колени... От него пахло духами, табаком, сталью... он весь был из какого-то благородного металла. У него были синие глаза. Больше я его никогда не видела. Нам, как вы понимаете, пришлось уехать. Плиту положили уже после войны».

«Вы сказали — повешен?»

«Да, как все они. Он находился в Париже, занимал там высокий пост. Он и Юнгер жили в одной гостинице. Он даже успел кое-что сделать, когда пришло сообщение о взрыве. Ведь сначала думали, что покушение удалось. Но я уверена, он всё равно начал бы действовать, даже если бы знал, что диктатор остался жив... На другой день после взрыва, — всё было уже известно, эта бестия отделалась царапинами... — дедушку срочно вызвали в столицу, он понимал, что это означает... Отправился в машине с денщиком и шофёром. По дороге велел остановиться и сказал, что хочет пройтись. И они услышали выстрел в лесу. Сначала думали, что это партизаны. Моя мама узнала, что он лежит в госпитале в Вердене. Его спасли, но он повредил зрительный нерв и ослеп. Палач вёл его под руку к виселице».

Она поставила портрет на столик, долго возилась, представляя рамки с фотографиями.

«Некоторые до сих пор считают, что заговор и покушение, в военное время... Мой муж тоже так говорит. Он считает, что это измена и по закону с ними так и должны были поступить».

Я спросил:

«По какому закону?»

«По тогдашнему, какому же ещё».

«И что вы ему ответили?»

«Что я могу ответить... — Она пожала плечами. — Мы давно уже ни о чём не спорим. Я ужасно голодна. А вы? Мы можем предварительно закусить, а ближе к вечеру пообедаем».

Она вынула из холодильника какую-то снедь, мы подкрепились и вышли из дому. Неловкость росла между нами, растерянность, которую можно было преодолеть только разговорами, но светский тон был неуместен, и оттого разговор только усугублял эту неловкость. Маленькая, бледная и зеленоглазая женщина в платье, почти доходящем до щиколоток, в ореоле янтарных волос, шла, стараясь попадать в шаг, помахивая прутиком; поговорили о здешних местах, об удивительном цвете неба и календаре, начался охотничий сезон, объяснила она. Её муж каждый год в это время ездит в Каринтию, у него там Schlößchen, крошечный домик-замок в горах. Так что я могу переночевать здесь без всяких затруднений.

«А если бы...»

«Если бы он был здесь? Я бы вас не приглашала!»

Она прибавила:

«Мой муж — своеобразный человек. Да и я тоже... У нас нет детей».

Я спросил, означают ли её слова, что барон против.

«Против того, чтобы у нас были дети, что вы! Как вам могла придти в голову такая мысль. Род должен продолжаться».

«Он последний в своём роду?»

«Есть родня в Англии, в Швеции. Северная ветвь. Но знаете, генеалогические соображения меня лично мало беспокоят».

Дошли до леса.

«Я думаю, — пробормотала она, — дождя не будет».

Блёклое голубоватое небо незаметно превратилось в серожемчужное, дали заволоклись, исчезли тени. Мы шли кружным путём вдоль лесной опушки. «Расскажите о себе, — попросила баронесса, — мы всё время говорим обо мне».

«Вам, в самом деле, интересно?»

«Если бы не было интересно, я бы вас не приглашала».

«Что же мне рассказывать?»

«Меня всё интересует. Как вы здесь оказались. У вас есть жена?»

«Была».

«Здесь... или там?»

«Она умерла».

«О! Простите».

«Мне кажется, что...» — проговорил я и хотел сказать, что незачем и не о чем особенно распространяться, что она уже достаточно обо мне знает. Я хотел сказать, что мы случайно познакомились и так же ненароком расстанемся. И слепые фиолетовые небеса, увядающий лес, и что-то неясное вдали — пелена облаков, или другие леса, или руины замков, — призывают к молчанию.

«Мне кажется...»

«Да. Мне тоже», — сказала она, и теперь, когда я вспоминаю этот диалог, мне почти ясно, что имелось в виду. Мы подбирались к неизвестной мне цели нашего разговора, к тому, ради чего была затеяна эта поездка, мы словно карабкались на высокую гору, и чем дальше, тем труднее был каждый шаг, и мы радовались возможности брести, отдыхая, когда крутизна сменялась пологой тропинкой. А там опять круто вверх — последний, почти отвесный отрезок пути — и чуть было не оступились, чуть не сорвались вниз, — и вот площадка.

«Послушайте...» — пробормотала она.

Обогнули опушку, открылось широкое поле, рапс был уже убран. Я подставил руку кверху ладонью.

«Вы думаете, капает? — Она оглядела небо и покачала головой. — По-моему, дождя не будет».

«Вы не боитесь промокнуть?»

«Я? Нисколько. Но я говорю вам, дождя не будет. Вы плохо знаете наш климат».

«Вы хотели мне что-то сказать...»

Короткое молчание.

«Да. Хотела сказать».

XVIII

«Дело вот в чём».

Первые фразы были произнесены сухим, строгим, я бы даже сказал, начальственным тоном. Но затем самообладание стало покидать мою собеседницу.

«Дело вот в чём... только не свалитесь со стебля!»

«Что это значит?»

«Это такое выражение. Вы его не слышали? Я хочу сказать, не падайте в обморок. Мои семейные обстоятельства вам те-

перь более или менее известны. Я бы хотела просить вас, чтобы наш разговор, как и эта встреча, остались между нами. Впрочем, сейчас вы всё поймёте. Я хотела вам предложить... просить вас... не сочтите это экстравагантностью. Я... — она запнулась, — одним словом, я хочу, чтобы вы подарили мне ребёнка».

Площадка на вершине, куда мы, наконец, взобрались.

«Ребёнка?» — ошеломлённо спросил я.

«Да. Ребёнка».

Я остановился, и она остановилась. Кругом стояла такая тишь, что, упавши с дерева листок в ста шагах от нас, мы бы услышали. Стало накрапывать. Она вздохнула.

«Выслушайте меня... Я сделала все необходимые исследования. Вероятно, мне не следовало бы вам говорить, что я не люблю моего мужа, никогда не любила... но дело не в этом, дело в том, что теперь стало окончательно ясно, виновата не я, виноват он, я имею в виду бездетность... Мои годы уходят...»

Мы стали под деревом. Дождик слабо шелестел вокруг нас.

«Вы молчите», — сказала она.

Я проговорил:

«Света-Мария...»

«Да».

«Но почему я?»

«Почему вы. Представьте себе, мне трудно объяснить. Потому что вы, а не кто-нибудь. В тот день, когда вы приехали с вашим коллегой... когда вы вошли. У меня вдруг промелькнула мысль. Как-то ни с того ни с сего. Первые мысли всегда самые безумные... и... и, может быть, самые верные. Так вот, я подумала: Бог мой — а почему бы и нет? ».

Я усмехнулся. «Света-Мария, вы меня совершенно не знаете».

«Немного знаю».

«Вы даже не знаете, — продолжал я, — достаточно ли я здоров».

«Я навела справки».

«Каким это образом?»

«Предоставьте мне самой заботиться об этом».

«Я здесь совершенно чужой человек».

«Это и есть, скажем так... один из доводов. Не единственный, конечно... Позвольте мне выложить все карты на стол. Если вы согласны... пожалуйста, не возражайте, выслушайте ме-

ня... Если вы согласны и... всё будет хорошо... я хочу сказать, если ребёнок появится на свет, никто ему никогда не должен будет сообщать об обстоятельствах его рождения, его жизнь, как вы понимаете, будет обеспечена, он будет носить наше имя, будет законным наследником, и никто...»

«Баронесса... — я перебил её, она посмотрела на меня с упреком. — Света-Мария. Я ничего не хочу обсуждать...»

«И не надо», — сказала она быстро.

«...разрешите мне только задать один вопрос. Вы сказали — если я вас правильно понял, — сказали, что барон не способен зачать ребёнка...»

«Да, но он не в курсе дела. Он уверен, что причина — это я».

«Значит, э...»

«Да, — сказала она просто, — врач показал мне его сперму под микроскопом».

Стало совсем сумрачно, капли падали сквозь листву, дождь шуршал вокруг нас, дождь был семенем, падавшим на осеннюю бесплодную землю. Баронесса сжимала на шее кружево воротничка, я набросил свой пиджак ей на плечи, она пробормотала:

«Само собой, и ваше существование будет обеспечено».

«Моё существование, что это значит?»

«Вам будет выплачиваться ежемесячное пособие. Из Швейцарии...»

«Баронесса!»

Она не слушала. «С тем, однако, что вы никогда...»

Пособие, подумал я, — за что?

Странно сказать, но только в эту минуту я осознал, чего, собственно, от меня хотят. Физически осознал. Чтобы назавтра выкинуть меня, не глядя, как использованный билет для однократной поездки.

Расхототаться! Вот что сделал бы каждый на моём месте.

Мы стояли под деревом, продрогшие, в сырой, пахнущей мёртвыми листьями полумгле, полутьме, спустя немного я услышал ее голос на бегу.

«Пожалуйста, ничего не говорите... не отвечайте... Я понимаю, что наговорила много лишнего... Нам надо поторопиться... Не повезло с погодой... Боже мой, — говорила она, — вы совершенно промокли. Вам надо сменить платье. Пожалуйста, вот сюда. — Она немного суетилась. — Вы найдёте там всё что нужно... Вы умеете разжигать камин?»

Умытый и причёсанный, я чиркал спичкой, сидя на корточках, подобрав полы шёлкового халата. Она вошла. Как и я, она была в кимоно. Я откупорил бутылку. Мы сидели между свечами. Воцарилось удивительное спокойствие, больше ничего не было сказано, словно ничего не произошло; в сущности, и не могло произойти; лицо её выражало полную безмятежность, уста произносили будничные незначащие слова, — она давала мне понять, что не было никакого разговора. Двое, женщина и мужчина, сидели за столом, трещали дрова, мерцали свечи, искрилось вино. И вот она явилась издалека, непостижимая музыка, четырежды стучащая фраза наполнила счастьем, которому нет названия, рояль робко начал разговор, и оркестр отозвался сначала вполголоса, потом уверенней; скрипки постепенно овладели собой, почувствовалось тайное могущество, и волшебная тема отступила, прощальная, уплывающая, как далёкий остров вечной юности. Не мы понимаем музыку, сказал кто-то, понять музыку невозможно, — но музыка понимает нас.

XIX

Новость, которую я услышал от Клима, не была новостью: к этому шло. Правда, всё происходило по секрету от меня или по крайней мере без моего ведома: телефонные переговоры, визиты и совещания, во время которых Клим оставался с гостями в своём кабинете. Меня не приглашали, со мной не советовались, меня оставили в покое. Я не протестовал. Мало-помалу мы вовсе перестали разговаривать, обсуждать что-либо; коротко приветствовали друг друга, после чего каждый уединялся в своей комнате и делал что положено. Главное, при всей его всё ещё не остывшей сенсационности, подразумевалось само собой.

Главное — это был гниловатый запах весны, которым тянуло всё сильнее из России. То, чему я отказывался верить, по-видимому, совершалось на самом деле, неотвратимо и с возрастающей скоростью: глетчер сдвинулся с места и поехал вниз, крошась и оплывая на солнце. Каждая неделя приносила новые перемены. Клим объявил, что на очереди вопрос о восстановлении гражданства. «Тебя, конечно, это вряд ли интересует». Моё равнодушие уже не раздражало его. По-видимому, он давно списал меня в расход. Войдя как-то раз в комнату, где я проделывал

своё обычное упражнение, он коротко осведомился о чём-то, поглядел в окошко и пробормотал: «Да, кстати... не помню, говорил ли я тебе».

Я встал на ноги.

«Журнал закрывается».

Как уже сказано, этого надо было ожидать, и всё же я был несколько ошарашен.

Журнал был, что ни говори, нашим общим детищем, он сделался для нас почти живым существом, и вот теперь тебе объявляют, а вернее сказать, доводят до твоего сведения, что это живое существо готовится испустить дух.

«Когда?» — спросил я.

«По-видимому, со следующего месяца».

Клим развёл руками, это было сказано так, словно весть была неожиданной для него самого. Было сказано — и он почувствовал облегчение. Он поспешил уточнить: то есть, конечно, не закрывается насовсем. Приостанавливается. Мы рассчитываем возобновить его на новой основе.

Я спросил: кто это «мы»?

«Я... и будущие сотрудники. В конце концов, и ты тоже... Если, конечно, захочешь».

То есть явно подразумевалось, что я не захочу. На новой основе — это значило «там».

«Ты решил вернуться?»

«Конечно».

«Но ты мне об этом ничего не говорил».

«Разве?.. Господи, но это же ясно. А как же иначе. Это само собой разумеется. Что нам здесь делать?»

«А что там делать?»

«Там? Извини, — сказал он, — я тебя не понимаю. Когда там такие события. Происходит настоящая революция! Мы просто обязаны вернуться».

Я спросил, могу ли я рассчитывать на выходное пособие.

«Какое пособие?»

«Фирма закрывается и выплачивает служащим компенсацию. Так принято... по крайней мере, в этой стране».

Последнюю фразу не следовало произносить. Получалось так, что я противопоставляю «эту страну» варварским обычаям России. И как бы попрекаю моего товарища тем, что он верен этим обычаям. В былые времена он бы взорвался.

Но теперь — никакой реакции. Словно он хотел показать, что он уже там, по ту сторону границы. Покачал головой. Разумеется, никакого пособия мне не полагалось. Наши средства на исходе. Южный барон, как мне, вероятно, известно, отказал. Из Штатов больше ничего не поступает: они там считают, что холодная война кончилась. Так что уже по этой причине пора было закрывать лавочку.

Но сколько-то ещё осталось, сказал я. Нет, сказал Клим, денег хватит только на то, чтобы переправить технику и остальное.

Он собирался забрать с собой обе пишущих машинки, копировальный аппарат, ещё что-то и гордость редакции, недавно приобретённый компьютер. Прочее составлял наш архив, стопки старых номеров журнала, крамольные брошюры и рукописи. Говорить больше было не о чем, всё же я не удержался и спросил:

«А если там ничего не получится?»

«В каком смысле?»

«Если не удастся наладить выпуск?»

«Не думаю, — сказал он. — Наш журнал там известен. Одним словом...»

Одним словом, надо ехать, все эти годы мы держали руку на пульсе страны, но теперь события развиваются столь стремительно, что мы здесь начинаем отставать. Даже если бы денежки не иссякли, надо было выпускать журнал там. Надо ехать, надо возвращаться туда, где нас ждут, где мы нужны, где нам готовы всё простить. Что простить? Да то, что мы сбежали, оставили родину, бросили нашу старую мать.

«Выходит, — пробормотал я, — можно считать себя уволенным?»

«Выходит так», — промолвил Клим и снова развёл руками. Я окинул взглядом свой «кабинет», оторвал приклеенный над столом план очередного номера, снял цветной календарь, свернул в трубку и сунул в карман. На улице шёл проливной дождь; постояв в подъезде, я швырнул календарь в урну и двинулся в неизвестном направлении.

Summing up¹, — я испытывал облегчение.

¹ резюмируя... (англ.).

Как ни странно, восстановить иные события легче немного погодя, нежели сразу после случившегося: память переживает нечто вроде обморока, нужен срок, чтобы она пришла в себя. Дождь покончил с бабьим летом. Мы ввалились в уединённый дом, промокшие до нитки. Дождь шумел всю ночь с воскресенья на понедельник, и всю обратную дорогу в город — возвращался я один — стрелы дождя летели навстречу окнам вагона. Это был тот самый понедельник, когда Клим объявил о своём решении. И когда, выйдя из нашей конторы, чтобы никогда больше не увидеться с моим товарищем (позже я узнал, что он в самом деле отбыл, потом вернулся, некоторое время спустя снова уехал, журнал, по слухам, так и не возобновился), когда, стоя в подъезде с ненужным календарём в руках, я думал о том, что непостижимая судьба поворачивает ко мне свой серебряный лик, чтобы сказать мне, что я свободен, наконец-то окончательно и безвозвратно свободен — от всех обязанностей, от всех дел, от рутины, от этих оглобель жизни, — избавился раз и навсегда, — когда я так стоял и размышлял, дождь по-прежнему хлестал по чёрному тротуару и гнал согбленных прохожих, и смывал прошлое, и мимо меня, с могильным сиянием фар, в веерах брызг неслись автомобили. Итак... на чём мы остановились?

Что ж! Мы остановились на том вечере, воистину самом прекрасном из вечеров, по крайней мере, прекрасно начавшемся или, лучше сказать, прекрасно задуманном. Патрицианка, сошедшая с полотна XVII века, указала на ванную. Гость принял душ и, облачившись в дальневосточный халат, словно повелитель, прошествовал в маленькую гостиную.

Я вспомнил, как это делалось в годы нашей юности, в те ослепительно-солнечные дни и морозные, оловянные, свинцовые ночи, когда мы провели однажды каникулы в деревенской избе, вдвоём, с запасом привезённых продуктов и водки, с заснеженным штабелем дров на дворе. Сложил крест-накрест сухие, мелко распиленные поленья, между ними щепочки, комок бумаги. Voilà! Огонь заплясал в камине. Я проверил тягу, придвинул решётку к очагу, я уселся за стол и ввинтил штопор в бутылку отличного сабли grimeur. Хозяйка, маленькая и уютная в тесном оранжевом кимоно, в вязаных носках, внесла тарелки с едой.

Ни единым словом не было упомянуто о том, что произошло на лесной опушке. Мне стало ясно: она спохватилась, она поняла, что совершила оплошность, и благодарна за молчаливое согласие считать не состоявшимся наш дикий разговор. Я похвалил вино, мы наслаждались покоем, сухостью, теплом, божественной музыкой, это был Четвёртый фортепьянный концерт Бетховена, мой любимый, — и сидели, как зачарованные, глядя на язычки огня. Говорят, три свечи — дурное предзнаменование, так, по крайней мере, считалось в России. Здесь же, если не ошибаюсь, они служат знаком и обещанием благополучия. *Rax in terra et in hominibus benevolentia*.

Вспомнилась эта формула, поход в больницу, покойный пахан-профессор, — как далёк от этого мира был мир, куда я ненароком забрёл! И уж совсем астрономическая дистанция отделила от них планету, на которой мы жили зимой в заваленной снегом деревне, в избе с дощатым столом, почернелыми иконами и огромной деревянной кроватью, вдвоём, с запасом еды и выпивки, с отсветами огня на железном полу перед печкой. И снова — *rax in terra*, на земле мир... Я спросил, католичка ли она. Взглянув на меня, она спросила в свою очередь, почему я спрашиваю, я не знал, всё говорилось по наитию, невзначай. Да, конечно, сказала она; как и подобало южной дворянке; потом добавила: «Для меня это большого значения не имеет».

«Религия?»

«Не религия, а вероучение. Существует разница между культом и...»

«И чем?»

«Верой в Бога».

«Вы верите?»

Она снова взглянула на меня и ничего не ответила.

«Но вы бываете в церкви».

Должно быть, она подумала, что я намекаю на моё времяпровождение на ступенях св. Непомука и моё разоблачение. Перевела глаза на оранжевые лепестки огня — фаллические цветы — и проговорила:

«Да, бываю».

Я встал, чтобы подбросить дров, вернулся, подлил ей и себе, за что же мы выпьем, спросил я. «В самом деле, — улыбнулась Света-Мария, подняв бокал, — за что? Может быть, за вас?..»

Она сидела спиной к очагу, прошло невообразимо много времени, что-то происходило, летели искры, рушились рдеющие головни, некогда бывшие юной порослью, стройными стволами, аккуратными поленицами, и за это время прошла вся жизнь, и жизнь была перерублена, когда обстоятельства, о которых не было ни малейшей охоты вспоминать, заставили бросить Катю и опостылевший город, пресловутую родину, а лучше сказать, когда эта родина вышвырнула меня пинком под зад, — но сейчас мне казалось трусливым и лицемерным ссылаться на «обстоятельства». Обстоятельства всегда готовы избавить нас от ответственности. И вот теперь я сижу за столом, в невероятном японском облачении, вернее, сидит моя уцелевшая половина, в доме, где я никогда не был и никогда больше не буду, перед маленькой пышноволосой женщиной, отважно предложившей себя и тотчас отказавшейся от своего проекта, сижу в последний раз, ибо и с ней я больше не увижусь. Мысли, которые и мыслями не назовёшь, картины одна другой притягательней и ужасней проплывали на дне моих глаз; машинально я протянул руку и отпил глоток.

«Конечно, — проговорила она, — и у меня есть проблемы...»

Я перевёл на неё вопросительный взгляд.

«Прежде всего, я nullipara».

«Что это значит?»

«Не рожавшая. Мой врач считает, что есть известный риск...»

Значит, она вовсе не думала отказываться. Весь вечер её мысли вертелись вокруг этого предложения! Значит, то, что в «проекте» должны участвовать двое, что, в конце концов, у меня есть собственная гордость, — ею вовсе не принималось во внимание.

«Света-Мария...»

«Молчите. Это не ваше дело. Я же говорю — мои проблемы. Я ужасная трусиха. Вы знаете, что мне уже за сорок? К тому же доктор говорит, у меня узкий таз...»

«Вы что, обсуждали всё это с вашим врачом?»

«Конечно, а как же. — Она добавила: — Он абсолютно надёжный человек».

Я молчал, она продолжала:

«Может быть, следовало побеседовать со священником. Но я вам уже говорила... Я, может быть, и верю в Бога. Да, конечно, я верую. Только, знаете, наша церковь как-то не внушает мне доверия».

«Ещё бы», — заметил я, невольно отклоняясь от темы.

«Вы, наверное, православный. Православие — очень строгая религия».

«Её не существует, — сказал я. — В России, во всяком случае».

«Вы хотите сказать, большевики... я слышала, что все храмы были разрушены».

«Причём тут большевики».

«Не понимаю».

«Её нет — одна оболочка. Видимость».

«Вы думаете? — сказала она рассеянно. Она пробормотала: — Иногда мне начинает казаться, что вас мне послал Бог...»

Говоря по правде, меня слегка передёрнуло от этих слов.

Не помню, что я ответил. Мы снова вступили на минное поле. Должен оговориться, что чужой язык имеет свои преимущества. Чужой язык освобождает от запретов. Он кажется безопасней. Слова не так обжигают, как на родном языке. На чужом языке можно говорить о вещах, которые на своём родном невозможны, на чужом языке легче признаться в любви или отвергнуть любовь... одним словом, я не думаю, что мог бы вести разговор с хозяйкой, случись нам беседовать по-русски.

Она умолкла, занятая своими мыслями, предоставив мне заполнить паузу незначательной репликой, вместо этого я вышел из-за стола, выбрал свободное место и, взмахнув руками, встал на голову.

«Что вы делаете?»

«Баронесса, — сказал я с пола, — мне так легче собраться с мыслями».

XXI

Обыкновенно, изъясняясь на языке аборигенов, я непрозвольно начинаю на нём же и думать или, по крайней мере,

приводить в порядок свои мысли, теперь же я заметил, что думаю по-русски. Полагаю, со мной согласятся, если я скажу, что язык родных осин удивительно хорошо приспособлен к тому, чтобы мыслить на нём, находясь в позе, которую я продемонстрировал моей собеседнице.

«И долго вы так будете стоять?»

«Всего три минуты, дорогая», — сказал я. Мы снова сидели за столом, перед оплывшими свечами. Над чёрными руинами в камине плясало призрачное пламя, это была агония. Баронесса встала и вернулась, сияя улыбкой, неся два высоких бокала и в крахмальной салфетке сереброголовую бутылку в оранжевом уборе под цвет её кимоно, с портретом бессмертной вдовы.

«Я считаю, нам нужно отпраздновать нашу свадьбу!»

«Вы ещё не получили согласие жениха», — сказал я холодно.

«Ах да, согласие... — Меня смерили длинным взглядом. — Я считаю, — внятно сказала она, — что мы должны отпраздновать нашу свадьбу».

Я отколупнул станиоль, снял проволочный предохранитель. Медленно, угрожающе вращая куполообразную пробку, сдерживая напор газа, я смотрел в глаза моей сообщнице, это был поединок зрачков; я почувствовал, как дёрнулась моя щека, слабый хлопок, словно отдалённый взрыв, нарушил молчание, лёгкое облачко курилось над горлышком, ледяной напиток полился в бокалы. Стоя мы ждали, когда уляжется кипенье. Мы напоминали дипломатов двух враждующих государств. Медленно, с опаской были вознесены кубки. «Zum Wohl!»¹ — и она назвала меня по имени.

Я спросил, подняв брови: не подкинуть ли ещё дров в камин?

Она покачала головой.

«Между прочим, — холод шампанского почувствовался в её голосе, — отвернуться от дамы, когда она бросает вам цветок, это... по меньшей мере невежливо. Знаешь что... Ведь мы теперь на ты, не правда ли. Я не настолько тупа, чтобы не по-

¹ На здоровье! (нем.).

нимать, что так просто это не делается... Не надо сейчас об этом думать. Предоставь вещам идти своим естественным ходом».

«Естественным?»

«Конечно. Разве это не естественно, если мужчина и женщина остаются наедине, и... ясно, что дальнейшее неизбежно?»

«Неизбежно?»

«Да».

«Мне кажется, — сказал я, — в нашей ситуации есть что-то комичное».

«Может быть... Отнесись к этому легче. Русские из всего делают проблему. В конце концов, это действительно забавно: представь себе, что у тебя интрижка с дамой из хорошего общества. Нет, нет, — она опустила голову, — я говорю не то. Со всем не то. Лучше помолчим. Представь себе, что...»

Она подвинула мне свой бокал.

«Бывают неудачи», — заметил я, берясь за бутылку.

Она обвела меня искоса ироническим взглядом.

«Вот что тебя волнует», — сказала она.

Мы вновь осушили рюмки. Я бы даже сказал, бодро осушили. Возможно, вдова Клико была виной тому, что диалог стал принимать игривый характер. В конце концов, выносить пафос можно лишь в небольших дозах. И мы попытались найти убежище во фривольности.

«Не то чтобы волнует, но... Всё бывает».

«Ты хочешь сказать: не всё бывает. Станный разговор... накануне брачной ночи. В конце концов, впрыснуть два миллилитра — или сколько там — мужского семени, разве это так сложно? О, извини, — сказала она, смеясь. — Сама не знаю, что говорю!»

«Ты говоришь то, что думаешь».

«Может быть, но слова всё искажают. Я думаю обо всём сразу. О самом простом и самом сложном... самом непонятном. Это судьба... Ты веришь в судьбу?»

Я пожал плечами.

«Ты находишь меня недостаточно привлекательной?»

«Я этого не говорил».

«Хорошо, тогда я сама скажу. Сначала налей мне... только немного... это вредно для ребёнка. Ты говорил, что я похожа на портрет Дюрера. Другие тоже говорят. Но ведь эта дама, согласишься, не так уж уродлива! Да... да... — говорила она, теперь уже глядя не на меня, а в пространство между нами, — я не юная девушка. Но позволь тебе напомнить: жёны, не слишком влюблённые в своих мужей, хорошо сохраняются, это давно замечено. Они не засыхают, как старые девы, и это понятно: результат регулярного полового контакта. Но и не расходуют почём зря свои силы. А я к тому же ещё была добродетельной супругой».

«Света-Мария... зачем ты мне всё это говоришь?»

«Дай мне договорить... Ты недурно сложен, для мужчины это самое главное. Залог полноценного отцовства. Но ты, возможно, не обратил внимания... должного внимания, что и я... Мои платья не дают ясного представления... Уверяю тебя, я сложена на диво. Ничего лишнего! У меня в меру широкие бёдра. Мой зад выступает ровно настолько, насколько это требуется. Живот без складок, живот нерожавшей женщины. У меня грудь, которой позавидует любая девчонка. У меня маленькие, немного расставленные, прекрасно сформированные железы с розовыми сосками. Хочешь, чтобы я продолжила это описание? Плесни мне ещё немного... капельку».

XXII

Пауза. Я намерен сделать паузу. Я огляделся: сколько уже было в моей жизни таких пристанищ, голых обшарпанных стен, подтёков на потолке. Всё, что я забираю с собой, несколько книг, зимнее пальто и, само собой, моё профессиональное обмундирование — штаны, балахон, древняя касторовая шляпа, к которой я питаю суеверную привязанность, — частью сложено в чемодан, частью висит на стуле. Прочее мне не принадлежит. Я не собираюсь присесть напоследок, по русскому обычаю. Я сюда уже не вернусь. В положенный срок внесена квартирная плата, ключи лежат на столе, я предупредил жилищную компанию о том, что освобождаю комнату. Не комнату, а конуру. Они требовали, чтобы я произвёл

ремонт, но с меня, как говорится, взятки гладки. Не буду рассказывать о формальностях, о сидении в коридорах всем нам знакомого учреждения, где, кстати, произошла у меня встреча со старым приятелем. В дальнем конце воздвиглась, валкой походочкой мимо обсевших все стулья, похожих на тени просителей приблизилась фигура Вальдемара. «Алала!» — услышал я древнегреческое приветствие. Теперь он был в длинной седой бороде, которую, я думаю, специально отбеливал; есть такие снадобья.

«Ты чего здесь торчишь?»

«Да вот, — сказал я, — сажу...»

«За пособием пришёл, что ль?»

«В этом роде».

Вальди выразил удивление, что давно не видел меня на рабочем месте.

«Если ты имеешь в виду редакцию, — сказал я, — то её больше не существует».

«Накрылась?»

«В этом роде».

«Ну и хрен с ней. Я не об этом. Кстати: за тобой должок!»

«После отдам», — сказал я.

«Когда это, после?»

Мы ещё немного потолковали. Прохвост сумел-таки после смерти нашего паханá окончательно закрепить за собою его прерогативы. Не знаю только, счёл ли своим долгом взять на себя его заботу о нас. В это время на табло появился мой номер, замигал огонёк над дверью.

«Я тебя везде найду!» — крикнул он вслед.

Выйдя из кабинета, я огляделся: коридор был по-прежнему полон страждущих, Вальдемар исчез; я спустился по лестнице в вестибюль, вышел на улицу, поглядел в обе стороны, дорога в мир была открыта. На углу я сунул три монеты в щель автомата, снял трубку и набрал номер. Я брёл мимо вывесок и витрин, распахнутых дверей кафе, кое-где столики снова стояли снаружи, за стёклами сияли шестиугольные звёзды, близилось Рождество, была оттепель, всё ещё продолжалось неопределённое время года. Навстречу мне постукивали каблуками женщины, маршировали мужчи-

ны в плащах нараспашку, плелись старухи, и на всех лицах играла, как солнце на поверхности вод, обманчивая весна; я шёл без цели и направления, — по крайней мере, так мне хотелось думать, в известном смысле так оно и было: без всякой цели; шёл, почти весёлый, свободный, вот что главное, и беззаботный, как этот город, по которому некогда брёл юноша-монах в чёрном плаще с капюшоном и видел в небе над дворцами огненный меч возмездия, но до огня и пепла было ещё далеко. В самом деле, времени было хоть отбавляй. Я вышел к скверу и удобно устроился на скамейке. Спинай ко мне, на постаменте, окружённом цепями, сидел позеленевший бронзовый король.

Известно ли ей, кто это, спросил я Марию Фёдоровну, когда она опустилась на скамью рядом со мной.

Она покачала головой.

«Надо знать историю нашей новой родины», — сказал я наставительно, принял из её рук аккуратно завёрнутый бутерброд, банку кока-колы, прочёл, жуя и прихлёбывая из отверстия, учёную лекцию.

Жестянка полетела в урну. Бледное солнце выглянуло из марли облаков. Я хлопнул себя по коленям. После этого началось длинное путешествие. Мимо старых особняков, чугунных решёток и маленьких львов, сидящих, точно дети на горшках, на своих постаментах, мимо аккуратных безликих зданий, построенных на месте сгоревших и разбомблённых кварталов, мимо голых деревьев, где высоко на суках висели похожие на гнёзда растения-приживалы, где сидели, задумавшись, чёрно-лиловые птицы, по мокрым песчаным дорожкам, где мальчишки мчались на карликовых велосипедах, с красными флажками на длинных качающихся жердях бамбука за спиной, словно конные самураи.

Сыр-бор разгорелся из-за того, что люди епископа собирали дань с купцов из южных земель, а герцогу ничего не доставалось, продолжал я, и тогда герцог велел разрушить переправу и выстроил собственный мост выше по реке, откуда всё и пошло. Зависть, сказал я, породила этот привольный город. Держась за руки, мы спустились по каменным ступенькам к воде. Мост гремел высоко над нашими головами.

До зимы было ещё не так близко, настоящая зима в наших палестинах начинается в конце января, но народ запасается одеялами, воровства здесь не бывает, кто-нибудь прищипит жаровню, люди живут коммуной. В крайнем случае, сказал я, можно переночевать в метро, бургомистр заблаговременно распорядился не запира́ть двери в морозные ночи. Бургомистр даже посетил как-то раз это убежище. В газете была статья и фотография.

На сухой площадке между плитами берега и бетонным быком, стояли деревянные койки и ржавые железные кровати, комод с телевизором, газовая плита; на плечиках висел фрак, порывевший от старости и невзгод, стояло облупленное пианино, на котором владелец, облачившись во фрак и цилиндр, в перчатках с обрезанными пальцами, играл в рождественские дни на базаре Христа-дитяти, пианино выволакивали наверх, и грузовичок вёз его на главную площадь города. Источенный червяком шкаф, переживший царствования и войны, с остатками деревянной резьбы, с чёрным исцарапанным зеркалом, отгораживал угол для желающих воспользоваться двуспальным ложем любви. Маша взглянула на меня, я пожал плечами. Устанавливается очередь, сказал я.

XXIII

Мало того, что я забыл о случившемся. Из памяти начисто выветрилось время, три или четыре года тому назад, когда сам я, получив известие, по собственной воле намеревался проститься с этим лучшим из миров. С тех пор я был осуждён, если можно так выразиться, на пожизненное существование. Как бы то ни было, новость оказалась ложной. Мысли заняты были другим, я снова куда-то ехал. Так как движение поездов временно было прекращено, я поднялся следом за всеми по эскалатору, рассчитывая воспользоваться наземным транспортом; было зябко, пасмурно, смеркалось. Угрюмая толпа штурмовала автобус. Вновь, как навязчивый сон, как сон во сне, изнурительная езда в лабиринте тусклых улиц, по кривым ухабистым переулкам, в тряске и духоте, в испарениях

мокрой одежды; мелькание огней, дождь, ползущий по чёрным стеклам колыхающегося экипажа. Дождь лил всё гуще, автобус остановился посреди водной глади, люди старались перепрыгнуть с подножки на тротуар. Оглянувшись, я увидел, что никого больше нет, ни автобуса, ни людей. Ливень стал утихать. Нечего удивляться, что я не сразу отыскал дом и полуразрушенный подъезд, ведь прошло столько времени, столько воды утекло; и, однако, было заметно, что ничего, в сущности, не изменилось. Единственное новшество — фонари, лунное сияние газосветных трубок. Память возвратилась ко мне. Лучше сказать, я вернулся в свою память, как в мёртвый дом. На постели лежала моя жена.

«Т-сс, — прошептал я, — только не пугайся».

Она села на постели. Я нащупал выключатель, свет зажёгся над столом в оранжевом абажуре, остальное — кровать, стены, тускло отсвечивающий шкаф, циферблат часов — было погружено в полумрак.

Я принёс ей домашний халат, она накинула его на плечи поверх ночной рубашки, сунула руки в рукава, поднялась — я подвинул ей домашние туфли — и завязала поясок. Мы сидели за столом, она сказала, можно вскипятить чай, есть остатки ужина, осведомилась о багаже, я ответил, что оставил вещи в камере хранения, но тотчас поправился, сказав, что приехал налегке, она недоверчиво взглянула на меня, едва начавшийся разговор заглох. Она взглянула на часы. Я сравнил их с моими наручными часами, стоят, сказал я. Она не поняла, какие часы я имею в виду.

Я пробормотал:

«Значит, слух оказался ложным».

Моя жена рассеянно кивнула, очевидно, поняв, о чём я говорю. Она хотела подняться, я остановил её жестом. Она провела рукой по волосам.

«Ну, рассказывай».

Я ответил ей вопросительным взглядом.

«Как ты там живёшь. Обзавёлся семьёй?»

Я покачал головой.

«Очень уж ты облез, — сказала она. — Надолго приехал? Где собираешься остановиться?»

Я усмехнулся. «Знаешь что, — сказал я, — может, я сам приготовлю? Я всё найду!» — крикнул я, выходя на кухню.

Мы снова сидели друг перед другом, под абажуром, помешивая в чашках, где кружились маслянистые блики.

«Надолго, — промолвил я, пробуя с ложечки обжигающий чай, — ты спрашиваешь: надолго? А как ты сама думаешь?»

«Откуда мне знать».

«Как можно спрашивать, — я дул на ложечку, — как можно спрашивать, зная о том, что со мной здесь произошло?.. Он не остывает!» — возмущённо сказал я.

«Потерпи немного. Налей в блюдце».

«Да если бы и не произошло... В этой стране нельзя жить. Я бы просто загнулся в этой стране! Вот ведь и ты...» — я осёкся.

«Слух оказался ложным», — сказала она спокойно.

«Слава Богу», — пробормотал я.

Она проговорила:

«Значит, так. Жить здесь невозможно. Всё ужасно — начиная с чая».

«Да — и кончая этим гнусным переулком, этими грязными, неубранными улицами, вечной толчеёй, этим всеобщим, застарелым, неизлечимым хаосом, этой вечной неустроенностью, этим наглым презрением к человеческой личности!»

«Ну вот, теперь ты можешь спокойно пить свой чай... Ты завтра уезжаешь?»

Я сидел, опустив голову.

«Ляжешь там, — она кивнула на неубранный постель. — Я себе постелю на полу».

«Что ты, Катя, — сказал я испуганно, — с твоим здоровьем!»

«Как-нибудь пересплю ночь. Когда тебе надо вставать?»

«Мне? — спросил я. — Ах, ну да... Чуть было не забыл».

«Что ты бормочешь?»

«Я хотел тебе сказать, Катя...»

Свет абажура, тишина и тепло разморили меня. Слова, как обсосанная карамель, прилипли к зубам, я чувствовал, что мне трудно говорить на своём родном языке, — я уже упоминал о том, как трудно произнести вслух некоторые вещи на родном языке. Станный хохоток вырвался из моей груди, я проговорил:

«А зачем мне, собственно, рано вставать? Я хотел спросить... Может, мне остаться?»

Она подняла брови.

«Я вернулся, Катя, — сказал я. — Вернулся. Ничего не поделаешь».

Чай остыл.

ГРЁЗЫ
(ИЛИ КОШМАРЫ?)
РОМАНИСТА

Величие подлинного искусства... состоит в том, чтобы вновь обрести, схватить и донести до нас ту реальность, от которой, хотя мы и живём в ней, мы полностью отторгнуты, реальность, которая ускользает от нас тем неуловимей, чем гуще и непроницаемей её отгораживает усвоенное нами условное знание, подменяющее реальность, так что в конце концов мы умираем, так и не познав правду. А ведь правда эта была не чем иным, как подлинной нашей жизнью. Настоящая жизнь, которую в определённом смысле переживают в любое мгновение все люди, в том числе и художник, жизнь, наконец-то открывшаяся и высветленная, — это литература. Люди её не видят, так как не пытаются направить на неё луч света. В результате вся их прошедшая жизнь остаётся нагромождением бесчисленных негативов, которые пропадают без пользы оттого, что разум людей их не проявил.

Пруст — графу Ж. де Лори

Я — все мои персонажи.

Из дневников Жюльена Грина

Нет, никогда ничей я не был современник.

Мандельштам

Ты царь, живи один.

Пушкин

Глава 1

Романист — не тот, кто пишет романы. Романист — это тот, кто мечтает написать роман. Мысль о романе настаивает как некое озарение, — соблазн заново пережить свою жизнь. Тотчас пробуждается к услугам сочинителя память. Память готова поставить необходимый материал. Подозрительная услужливость: товар как будто под рукой. В действительности же материал прожитого и пережитого отнюдь не легко доступен. Залежи прошлого, заброшенные, погребены под спудом. Их надо откапывать. Археологические раскопки памяти — долгий труд. Однажды он завершится открытием. Романист — в этом суть — откопал самого себя. Он открывает в себе центральную фигуру своего будущего произведения.

Археология памяти, как и разбуженная ею палентология прошлого, ставит писателя перед очевидным фактом: его жизнь есть не что иное, как черновик литературы.

Так литература становится для него дорогой к осуществлению дельфийского завета $\gamma\nu\omega\theta\iota\ \sigma\epsilon\lambda\upsilon\tau\acute{o}\nu$, «познай самого себя». Но условием самосознания — парадокс! — может быть только самоотчуждение. Погружение в себя есть отрицание себя. Такова диалектика этого процесса. В конечном счёте писатель понимает, что цель и смысл его поисков — он сам как полномочный представитель человечества. Лишь в таком универсальном качестве он вправе притязать если не на внимание, то по крайней мере на уважение и сочувствие читателя.

Глава 2

Думает ли он о читателях? Не есть ли искусство извечное, глухое противостояние самоуглублённости художника чуждому и враждебному окружению? Занятый поисками себя, романист не спрашивает, кого может заинтересовать его работа. Волевым образом он внимает критическим голосам. Он слышит заклина-

ния о приоритете Современности. Это эпоха культа Нашего Времени. Подразумевается нечто, обязывающее писателя сдаться. Пресловутое Наше Время — якобы главное время истории. Так совершается очередное «падение во время», симптом историзма, этой болезни века. Комический парадокс нашей эпохи: на словах отрешиваясь от былой оптимистической веры в прогресс, эпоха эта на самом деле стоит на коленях перед прогрессом. Ни одно столетие не мчалось вперёд с такой поспешностью, никакой век не пожирал с такой ненасытностью уготованное ему, надвигающееся будущее. Слишком редко современников посещает сознание, что со всем своим радужным великолепием Наше Время, не успеешь оглянуться, превратится в рухлядь, что (повторяя афоризм Петера Вейса) сегодняшний день завтра станет вчерашним.

Думает ли романист, что наперекор себе работает, — кто знает? — для будущих поколений? С присущей ему самонадеянностью он отмечает упреки в эгоцентризме.

Глава 3

Между тем выясняется, что главное в литературе — не современность, а личность того, кто её, бедную литературу, создаёт. Он, а не подставной персонаж беллетристического маскарада, будет, по определению Ролана Барта, «тот, кто говорит: я». Не успели мы оправиться от шока недавних заявлений о смерти Автора, как почивший воскрес. Оказалось, что читать и размышлять о жизни и труде писателя подчас куда увлекательней, чем зевать над сверхактуальными творениями его коллег. На сей раз парадокс состоит в том, что сосредоточенность на обстоятельствах собственной жизни, раздумье, подчас многолетнее, о себе и захваченность собой как предметом литературной рефлексии — всё это как раз и оказывается подлинно современным.

Глава 4

Но тут повествовательная проза на наших глазах отступает перед новым соперником. Романист пасует перед диаристом. Таков случай дневников Франца Кафки, Андре Жида, Чезаре Па-

везе или Жюльена Грина . Таковы дневниковые «Стенографии» нашего современника Марка Харитонов. Таково новое оправдание литературной уединённости, чуть ли не шёпотный пафос эгоцентрического, назло всему и всем, писательства в новейшем массовом обществе с присущей этому обществу девальвацией человеческой личности.

Глава 5

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
От слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
Волен выть на вершинах о ней,
Но теперь я спустился в долину,
И теперь приближаться не смей.
Набоков («К России»)

Осмелившись (тем не менее!) писать о своей эпохе, чувствуешь себя как в мышеловке. Трудность, если не заведомая невыполнимость, задачи, вынуждает заключить самое это слово «эпоха» в кавычки. Что оно собственно означает? История знает времена, к которым оно неприменимо; слишком уж торжественно, чтобы не сказать претенциозно, оно звучит, — не таково ли и наше время? Не лучше ли было бы сказать, что эпоха эпох в нашей стране закончилась?

Отечественная традиция предъявляет писателю грозное требование — «отразить» своё время, представить доказательства своего законного сыновства, даже если ты чувствуешь себя его пасынком. Но когда (как только что) уступаешь искушению порыться в собственном архиве, когда зудит вопрос: что найдёт в этих закромах, что отыщет поучительного твой дальний потомок в пахнущих мышами томах, испещрённых вязью умершего языка? Начиная хоть с начала.

...Детство в коммунальной квартире, во дворе старого московского дома: тридцатые годы в моём исландском романе «Нагльфар», конец мёртвого десятилетия, недолгое затишье перед воем сирен и скрещением прожекторных струй в ночном небе — канун Большой войны; детство, ни о чём не подозре-

вающее, не ведающее о том, что оно пробилось, как трава, между могилами посреди бесчисленных погостов страны, распротёртой на двух континентах, последней в евро-азиатском регионе, архаической империи, в XX веке возродившей античное рабовладение и средневековое крепостное право.

Родина! — трубят мне в уши чуть ли не с младенческих лет. Какая это родина, — злая мачеха.

...Как наваждение, преследуют неотступные вопросы. *Quid est?*, в чём дело? Куда смотрел, о чём себе думал нерадивый, Русский Бог? Нет. об этом невозможно не писать. Не будем говорить о седой древности, о том, что душному рабскому воздуху деспотической Византии незадачливый бог этот не сумел дпочётть морской ветер вольной Скандинавии, не будем кивать на монгольское иго, чьё гулкое копытное эхо не смолкло до сего времени... нет, история, которой свидетелями, как пушкинское Пимена, всевышний нас поставил, — вот о чём речь, вот ный вопрос, что же в конце концов погубило Россию. Гибель едва проклюнувшейся, беспомощной демократии, катастрофа 1917 года. Захват власти малоизвестной тоталитарной партией, с первых шагов поставившей себе целью истребить элиты и разрушить экономику. Массовая эмиграция, гражданская война, почти непоправимый демографический урон, тридцатилетняя сталинщина и новая война. Народ-победитель страшно проигравший сталинскому режиму.

Огненная топка войны, в которой сгорела, львиная доля народонаселения. Несчастливая нация, с её веками устоявшейся психологией фатализма, привычного рабства, алкоголизма. И, наконец, как закономерный итог — безвыходность новой, очередной диктатуры.

Глава 6

Итак по плодам их узнаете их (*Мф. 7:16*)

Седьмого декабря 1917 года, вскоре после захвата власти, глава партии большевиков вручил одному из своих клеветов собственноручно написанную записку с указанием создать и возглавить важнейшее учреждение нового режима — Всерос-

сийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Дзержинский представил вождю конкретную программу работы ВЧК. В этом документе впервые появляется оксюморон «революционная законность». О новом институте государственной безопасности сообщила газета «Известия» 10 (23) декабря 1917 года

Так родились славные Органы, без которых это государство так же немислимо, как Дон Жуан без половых органов. С тех пор существование нашей страны и её облик неотделимы от тайной полиции, история страны не может рассматриваться вне связи с учреждением, называвшим себя по-разному: ВЧК, ГПУ, НКВД, МВД, НКГБ, МГБ, КГБ и так далее, вплоть до нынешней аббревиатуры ФСБ. По меньшей мере, три четверти века эти обозначения аукались с центральным, заменившим историческое название сокращением СССР, где все четыре буквы излучали ложь: Союз объединял мнимых союзников, насильственно интегрированных и неравноправных, так называемые союзные республики не были ни советскими, потому что советы от мала до велика, начиная от местных сельских, городских и областных и кончая Верховным Советом, представляли собой декоративные и безвластные органы, ни социалистическими, так как за рубежом, в политическом и экономическом словаре свободных стран этот термин подразумевал нечто совсем другое.

Урон, нанесённый народонаселению России и русской культуре тайной полицией, не поддаётся учёту. Количество человеческих жертв, сопоставимое с погибшими на войне, неисчислимо. Мартирологу выдающихся учёных, писателей, мыслителей, художников нет конца. Страх, беспомощность, повсеместная слезка и доносительство деморализовали народ. Дыхание лагерей отравило наше отечество.

И что же? Подобно лернейской Гидре, многоголовая гидра госбезопасности оказалась бессмертной. Палачи благополучно пережили советскую власть, идеологию, партию, — и благоденствуют. Организация не распущена. Мемориальная скрижаль в честь последнего министра украшает здание центральной цитадели Органов, мавзолей с останками основателя не демонтирован.

Кто-то толкует о пользе разведки, контрразведки и т.п., якобы необходимых в любом государстве. Эта аргументация, на фоне нашей истории и действительности, не заслуживает обсуждения. Ссылки на демократические страны не релевантны.

Общественное мнение (если оно существует в сегодняшней России) разделилось.

Одни говорят: «Довольно об этом. Забудем».

Другие обещают: «Запомним».

— Но как жить с этой памятью?

2013

Глава 6а

История складчата, как скатерть. Трупы, трупы, то и дело повторяющиеся складки. Разглаживание скатерти — невидимый, наперекор богооставленности, процесс восстановления потерь, казалось бы, невозможных: всё ещё не истощившая себя плодovitость народа, отверстия, как врата бессмертия, бёдра деревенских баб. Каков резон истории? Цель, Смысл, оправдание? Ведь не в том, не ради того, чтобы вновь — ибо всё повторяется! — заселить холмы и равнины кладбищ с повалившимися крестами, в сиянии новых лун — забытые вехи роковых тридцатых, сороковых, пятидесятих годов, разрушительную индустриализацию, обновлённое всевластие человеческой тайной полиции, гибель деревни, сеть концлагерей, опутавшая страну, и новые ресурсы человеческого сырья, пополнение, обречённое насытить огненную пасть войны, память обожжённую ради того, чтобы окончательно добить Россию. И, как кульминация, как апофеоз эпохи — память об апокалиптическом городе развалин на западном берегу главной реки, сверху донизу забитый телами бывших жителей и солдат обеих сражающихся сторон.

Человечество трупов, леса крестов и жестяных звёздочек, легионы железных шлемов.

Февраль 2013

Глава 7

Хорхе Луис Борхес цитирует (в одной из бесед) фразу Оскара Уайльда: «Каждое мгновение соединяет в себе то, чем мы были, и то, чем станем; мы — это наше прошлое и будущее одновременно». Продолжая эту мысль, я бы сказал, что в мозгу у меня вмонтирована машина времени, которая даёт мне возможность жить в разных временах, перемещаться из настоящего в прошлое и назад, в призрачную область надежд и ожиданий — наше будущее. Эта уэллсовская машина есть не что иное, как безостановочно и своевольно работающая память, и её назначение перенимает литература.

Спрашиваешь себя, не такова ли участь персонажей романиста, обречённых, как все мы, жить и умереть, заброшенных в пучину воспоминаний и обманутых мороком несбывшегося будущего. Пытаясь подвести итог долгой жизни — обозревая собственную продукцию и в свою очередь погружаясь в прошлое, — я как будто разгуливаю по некрополю моей прозы, между надгробьями действующих лиц.

Азбучная истина: главный ресурс писательства — память. Но память — не то же, что воспоминание; роман демонстрирует эту разницу, если не противоположность. Вспоминая какой-нибудь эпизод, мы его беллетризуем. Почти невольно мы упорядочиваем прошлое, мы хотим рассказать (другим или самим себе) «всё по порядку». Эта насильственная процедура, собственно, и превращает память в воспоминание. Между тем изначально память не признаёт никакой последовательности, противостоит математическому времени, игнорирует хронологию, а вместе с ней и логическую последовательность. Не останавливает часы, а разбивает их.

Освобождение от вериг времени происходит перед отходом ко сну, когда в вечерней тиши, в зеленоватом свете ночника, угревшись в постели, мы остаёмся один на один со своим внутренним миром: хотим подумать о жизни, о делах и заботах только что прожитого дня, но тотчас память, выпущенная на свободу, затевает свою игру: цепляется за что попало, за случайные эпизоды близкого и далёкого прошлого. Всплывают полузабытые лица, юность, детство — всё

сразу. Словесные или образные ассоциации — единственное, что правит хаосом памяти, поддерживает кое-как её цельность.

Стоило на мгновение подумать — о чём? — о яблоках, которые забыл купить, тотчас прицепляется образ коня в яблоках, конь тащит за собой легендарного героя Чапаева с саблей, на картине в школьном коридоре, слышен шум, ребята вываливаются из класса, являются странные привязки, необъяснимые сближения — спохватываешься: о чем же я думал? Мысли приняли неуправляемый, абсурдный оборот — по-видимому, я на грани засыпания — пробую прокрутить плёнку назад, разматываю клубок. Оказывается, это цепь прихотливых сближений, исчез тот самый порядок, подобный порядку романного повествования, где одно вытекает из другого. Способна ли проза передать этот хаос, не беллетризуя изначальную стихийность памяти?

Для литературы воспоминание — одновременно инструмент и материал, литература денатурирует память, как кислота — белок: из аморфной, колышущейся, ускользящей массы получается твёрдое тело. Нечто непередаваемое преобразовано в текст, изделие языка. Не будь этой химии, мы получили бы словесный детрит, нечто такое, что происходит у больных с распавшейся психикой. Но, быть может, здесь скрывается обещание приблизиться к последней реальности души; соблазн изначального, подлинного манит писателя.

Приблизиться к краю бездны. Так в детстве, лазая по крыше московского дома у Красных Ворот, мы подходили к кромке брандмауэра и с замиранием сердца заглядывали вниз.

Великое слово «спонтанность» грозит опрокинуть всё здание мира. Или, что то же, храмину литературы. Революционная проза XX века не случайно стала ровесницей квантовой механики, радикально меняющей, отменяющей привычные представления об однонаправленном линейном времени, о причинно-следственном детерминизме. Как физическая теория, чтобы стать верной, должна быть безумной, литература должна быть безумной, чтобы стать правдивой.

Память возвращает нас в мир, где ещё не побывал Кант. Память игнорирует ту упорядоченность, которую интеллект

привносит в окружающий мир непроницаемых вещей в себе. А ты, писатель, намерен реконструировать именно то состояние, когда хомут ещё не успели напялить на кобылу. Конечно, это утопия: такая проза невозможна, чему свидетельство — тупик, в который упёрся Джойс со своей разбитной бабёнкой Мэрион Блум, с её великолепным, лишенным знаков препинания «потокос сознания». Но попробовать надо — приходится пробовать. Не подражая кому бы то ни было, но пользуясь только собственным, неповторимым опытом. По-знай самого себя!

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно. Память, которая прихотливо носится от прошлого к настоящему, и снова назад, цепляется, как репей, за что попало, меняет места и времена — у неё нет времени задерживаться на чём-нибудь одном, для неё нет важного и неважного; споткнувшись о случайное словцо, уловив мелодию, цвет, учуяв запах, она перескакивает, как летучий огонь, от одного к другому, порхает туда и сюда, обнюхивает, как собака, давно не существующих людей, предметы, закоулки.

И, как многие до меня, я мечтаю о раскрепощённой прозе. Мне грезится повесть, в которой отменены все правила повествования; вместо этого — каприз случайных сцеплений, встречных образов, непредсказуемых поворотов. Так гребец оставляет вёсла, ложится на дно лодки и чувствует, как течение вращает и уносит его на своей спине.

Довольно притворяться. Порой испытываешь чувство усталости от прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Увы, своеволие заряжено анархией, уж мы-то это знаем. Не ты ли, художник, твердил, что достоинство литературы — в сопротивлении хаосу? Вернуться к истоку — не значит ли убить литературу? А между тем, какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в пропасть. Накалённые солнцем крыши нашего детства: карабкаешься наверх по перекладинам, цепляясь за железные перила пожарной лестнице, вылезает в поднебесье, бежишь по громышающей кровле, добираешься до брандмауэра и, подойдя к самому краю, боком, замирая, искоса заглядываешь вниз. И, как во сне, видишь себя самого, распластанного на асфальте, там, на дне двора.

Глава 8

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»

Так! но, прощаясь с римской славой
С капитолийской высоты,
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавый!..

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель...

Тютчев

Плох тот поэт, который не смеет помыслить о том, что он творит на века, для веков.

Не могу вспомнить, где и у кого я вычитал эти слова. Впрочем я могу поздравить себя с тем, что свободен от потусторонних забот, ведь я не поэт. И, однако, на краю жизни, когда уже нечего ждать и не на что надеяться, нет-нет, да и просыпается предательская мысль о «веках». Я не успел уйти вовремя; в России нужно умереть, чтобы о тебе вспомнили.

Итак, снова... Традиция, непрерываемость которой сомнительна, обязывает писателя запечатлеть свою эпоху. Могу ли я рассчитывать на сочувственное внимание к тому, что я успел рассказать о моём времени? Думать так значило бы верить в будущее. Я же, в свою очередь, нахожу, что безумная круговерть истории научила наше поколение не доверять будущему.

Блажен, кто посетил... Да, я могу сказать, что успел таки повидать сей мир в его минуты роковые. Считать ли себя счастливым? Отчего бы и нет? Судьба пощадила меня. Война обошла стороной на близком расстоянии. Начавшись, когда я был подростком, окончилась за несколько месяцев до того, как я достиг тогдашнего призывного возраста — семнадцати лет. Участь погибшего восточноевропейского еврейства не постигла меня, я избежал немецкой оккупации и газовой камеры. Не окопел в советском лагере. Был изгнан, лучше сказать — сподобился быть изгнанным из отечества, и увез сына.

Он их высоких зрелищ зритель... Всё или почти всё земное существование автора протекло в промежутке между двумя глобальными войнами — недолгом промежутке, который в перспективе столетий предстанет перед историками как эпоха одной непрерывной войны, подобно тому, как мы говорим о Тридцатилетней войне, длившейся всё же с перерывами. Судьбе было угодно сделать меня современником главного события эпохи — крушения двух тоталитарных монстров: если национал-социалистическая Германия была расплющена стальным молотом, то коммунистический Советский Союз, во всей своей звероподобной мощи, сгнил и рухнул сам собой. Таковы были острые блюда, которыми, хохоча, сервировали свой пиршественный стол олимпийцы.

Закат звезды её кровавый. Мне досталось его пережить. Мой роман «После нас потоп» был предварён эпитафией из позднеримского поэта V века Рутилия Намациана, который прощался с Вечным городом, разграбленным варварами: «Целую твои ворота, обливаюсь слезами...».

Я хотел бы сослаться сейчас на этот роман-панихиду, написанный под впечатлением от начавшегося распада Советского Союза, последней в средиземноморском регионе империи в том классическом понимании термина «империя», какое обыкновенно прилагают к Риму и Византии, — и тут параллель с тысячелетней Российской империей напрашивалась сама собой, вплоть до того, что и у меня при мысли о распаде сжималось сердце. Я отдавал себе отчёт в условности таких сопоставлений. Строки Тютчева, однако, удивительным образом передавали моё умонастроение. И даже отчасти стихи давно забытого Намациана.

Наконец, раз уж зашла речь об «эпохе», мои лагерные повести, «Запах звёзд» и другие, посвящены историческому достижению нашей страны — цивилизации тотального подневольного труда.

Так что и обо мне как о сочинителе придётся сказать: от своего времени не ускользнёшь. Но я не люблю своё время, никогда его не любил, чтобы не сказать — всегда чурался и ненавидел, и, должно быть, уже поэтому едва ли могу притязать на интерес и внимание потомков.

2010–2016, 2012

Глава 9

Действительность, пресловутое «на самом деле», каким оно воскресает в воспоминаниях или во сне, — действительность подобна карточной колоде, перетасованной и разбросанной на столе без всякого умысла и порядка. Так, без учёта мастей и рангов, нарушая хронологию, рисует образы памяти моя литература. Я отверг соблазн автоматического письма, некогда изобретённого сюрреалистами как голос (или суррогат) подсознания. ибо эта находка представляет собой покушение на самодержавие литературы. Вечный соблазн анархии, мир в расколотом зеркале. Я не отказываюсь от сюжетосложения. Но сюжет в моих квази-повествовательных сочинениях, словно стальной стержень, гибок и пружинист. С другой стороны, сновидческая действительность, которую я стараюсь приструнить, неизбежно дискредитирует пресловутую сюжетность, низводит её до роли насильственного приёма, цель которого — приохотить читателя к этой прозе, сделать её, что ли, усвояемой ...

Видно, такова человеческая натура, если сон, сновидческая активность мозга, нечто призрачное и обманчивое, узурпирует права рассудка, посягает на суверенность нашего «я», принимает решения. Лежа в больничной палате после несчастного случая, в одну из тех тягостных ночей, когда теряешь способность отличать действительность от хаотических грёз, я набрёл на мысль подвести чёрту под своим писательством. Было ли это попыткой ободрить себя, убедиться в том, что кое-что сделано, внушить себе

Уверенность, что и дальше сможешь писать? Теперь эта ревизия, благодаря дружбе и самоотверженности веб-мастера Владимира Шубина, создавшего мой электронный сайт, близится к завершению, — не время ли, в самом деле, подвести черту над своим сочинительством. Я выпустил сколько-то десятков книг. Мною написано одиннадцать романов, несколько дюжин рассказов и повестей; к ним можно присоединить две изданных в России книжки для школьников — «Необыкновенный консилиум» и «Мальчик на берегу океана, жизнеописание сэра Исаака Ньютона», — далее многочисленные переводы, некоторое количество эссеистических текстов, радиопередачи, интервью, рецензии, газетные и журнальные статьи. Наконец, огромная масса писем. Собственно, это и есть итог. Мне 88 лет, (Когда за-

теял эти «Грёзы», стукнуло 82 или 84.). Я еврей. Моя жизнь, начиная с несчастья родиться в России, лежит передо мной, как некая партитура, — кто же был дирижёр, исполнивший сочинение анонимного композитора перед пустым залом?

Несчастьем, говорю я, было родиться *здесь и тогда*. Звучит вызывающе, как будто автор хочет сказать, что он слишком хорош для этой страны. (Как сказано в Талмуде, возможно и обратное.) Всё же мне кое в чём повезло. Два обстоятельства вознаградили меня: первое было то, что я вырос в русском языке, почему и обрёл себя почётной и незавидной участи русского писателя, второе — встретился с девушкой, которая стала женщиной моей жизни (и без которой влачу теперь свои дни). Тридцать пять лет тому назад мы оставили родину, ставшую чужбиной. Эмиграция, на которую, видит Бог, я решился, борясь с самим собой, преодолевая внутреннее сопротивление, — была подарком судьбы. Эмиграция спасла мне жизнь, избавила нашего сына от дискриминации, несвободы и нищеты, наконец, дала мне возможность отдаться литературе.

Глава 9

Итак, достаточно нескольких секунд, двух-трёх ударов по клавишам компьютера, чтобы воскресить из электронного небытия то, что потребовало десятилетий. Опасное испытание!

Обозревая до неприличия многое написанное и опубликованное за полвека, чувствуешь себя как в чулане с рухлядью. Я прекрасно понимаю, что как литератор я в своей стране безнадёжно устарел. Для читателя в России это значит: попросту опоздал. Ведь со времени моего бегства утекло так много воды. С другой стороны, я никогда не был ни народным, ни актуальным, ни национальным писателем — разве только европейским. Годы уединённого труда убедили меня, что если хочешь оставаться верным своему призванию (как ты сам его понимаешь), надо держаться подальше от своего народа и, насколько это в твоей власти, не маршировать в ногу с временем. Отсюда следует, что ты никогда не будешь «востребован»: такая самонадеянность не останется безнаказанной. Не говоря о том, что я никому там не нужен. Умри я завтра, обо мне никто не вспомнит.

«Время» — слово, которым так часто злоупотребляют, что и его придётся заключить в кавычки. Время — это общество. Это та безликая и враждебная искусству стихия, которая лишает художника его законного достояния — свободы, хочет запрячь его в свои сани.

«Старая рухлядь». Согласен, — похоже, тут тоже не обошлось без некоторого кокетства. Но надо признать и то, что автор этих произведений то и дело повторяется. Одни и те же темы, мотивы, ключевые слова, одни и те же ламентации. Получается, что я весь свой век пародировал самого себя, всегда писал одну книгу. Это равно касается и беллетристики, и эссеистики, и литературной корреспонденции.

Глава 10

В самом деле, это было опасной затеей. И я должен прямо сказать: обзрев эту выставку собственных достижений, мне было трудно отделаться от чувства тяжёлой неудачи. Цель и смысл литературной критики, не правда ли, — в том, чтобы уяснить, какую задачу ставил перед собой писатель, насколько он с ней совладал. Хороший писатель тот, кто хорошо пишет; тавтология исчерпывает мои представления о «задаче». Но сегодня я вижу, что требования, которые в данном случае предъявлялись — и которые я могу сформулировать кратко: *ясность, лаконизм, музыка*, — оказались для писателя по большей части непосильны. Написаны же все эти вещи, за немногими исключениями, плохо: болтливо, невнятно, банально, безмузыкально. И настроение самое гнусное. *Всё не то*.

Особенно тягостным, я бы сказал — безжалостным, это чувство провала бывает по вечерам, когда ищешь спасения от тоски, извечного спутника литературных занятий: тогда-то и уверяешься в том, что прожил свою жизнь напрасно. И невидимый дирижёр махал своей палочкой над пультом с партитурой зря. И, что самое ужасное, ничего уже не поделаешь. Написанное живёт своей убогой жизнью, переписывать нет смысла, время навёрстывать упущенное истекло. Такова расплата за самообольщение, — а если ещё разбежался с публикацией...

«Молчите, проклятые книги! Я вас никогда не писал». Угодить публике легче, нежели самому себе. Обмануть себя невозможно.

Глава 11

Душа моя, Элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобою!
Меж вами, призраки минувших, лучших дней,
И сей бесчувственной толпою?

Тютчев

Элизиум теней... Непонятно было, вспомнил ли я эти слова или чей-то голос произнёс их у меня над ухом. Говорили на неизвестном языке, но отчётливо, так что я мог разобрать каждое слово, — и уже ничего не понимал. Догадавшись, что мне доверяли некую тайну, я вскочил с постели — на часах была полночь. Дружеская рука похлопала меня по плечу и повела за собой. Я спросил: Кто ты? Это я, был ответ, не пугайся. Я оставил в спальне всё как было: неубранную постель, непотушенную лампу. Вергилий (если это был он) вёл меня по дальним коридорам и закоулкам моего воображения. Следом за вожатым я протискивался в толпе. Повелительным жестом он требовал уступить дорогу именитому гостю. Кто такой этот гость, по видимому, никому не было известно, никто меня не узнавал, не оборачивался. Молча расступались, скользили мимо нас бесплотные тени. Мне хотелось крикнуть: зачем вы притворяетесь, будто мы незнакомы? Вместо слов из моей груди выдавился хриплый задушенный шепот. Вожатый крепко держал меня за руку. Я старался вырваться. Остановись, говорил он, и умолкни, тебя тут всё равно никто не услышит. Незачем пытаться вступить с ними в разговор: ты истратил все слова.

Я почувствовал, что не в силах больше оставаться в этом доме молчания, неужели, подумал я, это и есть потусторонний мир, моё будущее жильё? Нынешнее! — поправил вожатый. — Ты построил его для себя самого. И населил его своими созданиями.

Моими? Но ведь это тени.

Твои дети. Полно отпираться, поздно отказываться. Персонажи твоих собственных сочинений. Ты мнил себя творцом. Тени не бывают живыми. Тени не бывают нагими. Оттого-то мы и оказались с тобой в этом доме мёртвых. Ведь ты сам — тень.

А теперь, сказал он, пошли. Я провожу тебя.

И я увидел мою спальню, и брошенную в беспорядке постель, и часы с неподвижными стрелками, и всё ещё горящую лампу. И повалился досматривать сон.

Глава 12

...Да, я всю жизнь выжимал сок своего мозга. Изю всех сил, пока жива была надежда, писал одну книгу, другими словами, повествовал об одном и том же. А результат? Рискнуть ли мне, воспользовавшись термином Ж.-Ф. Льютара, крёстного отца постмодерна, назвать мою сверхповесть *метаррацией*?

Быть может, в далёком будущем — отважное предположение! — гипотетический читатель ощутит в моей прозе привкус этого времени, вдохнёт зловоние общества, мытарствоваться в котором история обрекла нас всех. Поймёт ли он то, что очевидно едва ли не для всех современников и соотечественников писателя, — что никакого гражданского общества не было в нашей стране, был беспомощный народ, в котором вытравлен инстинкт социальной солидарности, народ, присягнувший на верность тюремно-лагерному государству, и что все мы были пасынками этого обездоленного народа, иждивенцами этого государства? Тот, кого с младых ногтей томила тяга к сочинительству, не мог не почувствовать на своём плече тяжесть косматой лапы режима, и если писания мои — опять-таки дерзкая надежда — возбуждают интерес и сочувствие у потомков, моё позднее тщеславие будет удовлетворено.

Глава 13

Была известная логика в том, что литература, род несанкционированной и, стало быть, противозаконной самодеятельности в обществе, синонимичном полицейскому государству, стала для меня «регионом великой ереси» (выражение Ежи Фицовского, автора биографии Бруно Шульца) и в конце концов вынудила бежать из страны родного языка.

Персонажем моих произведений стал «незаконный человек», беспаспортный маргинал — тот, кого ещё не успела втянуть и обстругать регламентированная среда: ребёнок, подросток, студент, арестант, заключённый, апатрид... То были, в сущ-

ности, этапы моей собственной жизни, маски моей прозы. Что же касается «тематики», сошлюсь на предисловие к давнишнему роману «Антивремя», арестованному московской прокуратурой — филиалом тайной полиции. «Есть несколько тем, — говорится там, — обладающих ни с чем не сравнимой привлекательностью. Это Любовь, Память и Время». Я и сейчас убеждён: только о них стоило писать. Впрочем, нелишне будет добавить ещё одну.

Меня не оставляла — не оставляет и ныне — идея Судьбы. Странная навязчивость! Ещё в те далёкие времена, когда я корпел над «Антивременем», мне буравила голову антиномия, побудившая монаха брата Юнипера из романа Торнтон Уайлдера «Мост короля Людовика Святого» размышлять о непредвиденной бессмысленной, как могло показаться, гибели путников на рухнувшем мосту: «Либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, либо и в жизни, и в смерти нашей заложен План». Вопрос, следовательно, сводился к тому, как примирить случайность и предопределение, связать абсурд земного существования и его предположительный и ожидающий расшифровки резон. Итак, я вновь окунаюсь в давние грёзы.

С одной стороны, все главные события моей жизни, её решающие повороты — результат случайного стечения обстоятельств. С другой, трудно избавиться от подозрения, что вся наша жизнь протекает в предуказанном направлении, некоторым образом следует чьему-то предписанию. Судьба двулика. Время же в свою очередь двуприродно.

Глава 14

...«Можно представить себе (я продолжаю цитату из упомянутого предисловия) богословскую систему, где роль акта творения будет играть воспоминание. Классическая теология утверждает, что бытие Божье — вне времени. Но тогда мир оказался бы вне Бога. Скорее нужно предположить, что область существования Бога — это будущее. Оттуда он творит мир, вспоминая о мире, который есть его прошлое. Другими словами, Творец всегда неактуален, всегда впереди: для нас он только будет. Можно сказать, что мы живём в его памяти, что он непрерывно извлекает нас из своего подсознания. Что-то похожее происходит с литературным творчеством.

Два вектора времени пересекают пространство памяти, словно поезда, идущие навстречу друг другу. Осознав это, начинаешь понимать, что Случай и План — одно и то же, но видимое с двух разных концов. То, что в физическом Времени событий представляется игрой случайностей, в божественном Антивремени воспоминаний предстаёт как порядок и цель. Сны памяти — суверенная область литературы, потому что в литературе, как в сновидении, ничто не случайно, жизнь полна тайного смысла и несётся навстречу своему завершению, как Галактика навстречу туманности М 31».

Наперекор спешащему из прошлого в будущее календарному времени несётся антивремя из будущего в прошлое. Таким манером я изобрёл для собственного употребления, так сказать, *ad usum Delphini*, утешительную метафизику двух противонаправленных потоков. Она пригодилась мне и в философствованиях о литературе (к коим я всегда питал слабость). Не буду сейчас об этом, я обсасывал тему притягательности фатализма не раз.

Вернусь к третьей части моей триады: писать стоит только о любви. Толстой сказал: альков останется вечной темой литературы. Этому постулату я следовал в своей работе не однажды. Например, мне приходилось то и дело обращаться к теме ранней любви, всегда безысходной, а порой и катастрофической, будь то юношеская влюблённость или любовь подростка к зрелой женщине, — то есть к тому, что мнёт податливую, как пластилин, личность человека на пороге жизни и оставляет рубец на всю жизнь, — к теме любви, которая была табуирована в ханжеской советской литературе как некая вторая крамола, ибо представляла собой слепой порыв к свободе, неосознанный протест против полицейской морали и, в конечном счете, против репрессивного общества. Этому, в частности, был посвящён роман «К северу от будущего», об этом и повесть «Праматерь». Те же мотивы и мелодические ходы повторяются в других моих вещах.

Глава 15

О, как всё тут сцепилось... Моё писательство всегда кормилось памятью. Я помню, подчас до мельчайших подробностей, и своё детство, и юность, и университет, и лагерь, и медицинский

институт, труды и дни врача в деревенской глуши и в столице, — притом что никогда не писал автобиографических романов; память звала за собой воображение, фантазия будила спящую память; мои сочинения, — смесь того и другого, мезальянс воспоминаний и грёз.

Память, говорил я себе, это горб, который не даёт разогнуться и смотреть вперёд, в будущее. Но какое там будущее — моё будущее, если повторить известную фразу Евг. Замятина, — это прошлое. С другой стороны, прерогативой молодости является умение забывать. Мы молоды, говорится в моём романе «Вчерашняя вечность», покуда способны забывать, и умираем, раздавленные бременем памяти...

Послесловие-1

Невидимый колледж

Мы были музыкой во льду...
Б.Пастернак

Многие пытались дать определение феномену русской интеллигенции, среди них Георгий Федотов («орден»). Кто такие были мы? Можно ли назвать наше невидимое сообщество подобием рыцарско-монашеского братства, достанет ли зазнайства повторить горделивую фразу поэта о «музыке»? Я возвращаюсь к временам теперь уже весьма далёким: к шестому, седьмому, восьмому десятилетиям минувшего века. Возможно, некоторые черты содружества, о котором идёт речь, сохранились до сих пор, только «лёд» видоизменился: нет больше той увлекательной игры с опасностью, нет и оскаленной, всеядной, на каждом углу подстерегающей гиены — государственной безопасности, по крайней мере в былом её обличье. Неизменным остался российский пейзаж, осталось враждебное окружение — равнодушный, презирающий культуру народ и тупоумное начальство.

Я говорил о невозможности найти исчерпывающую дефиницию. Это были люди, которых сплотило только одно: все знали друг друга, точнее, все знали друг о друге. Встречаясь где придётся, подчас даже не будучи лично знакомыми, они узнавали друг друга по едва уловимым признакам, по особой манере

вести себя, паролям и способам выражаться. Они не принадлежали к привилегированному классу, — скорее наоборот, — не занимали сколько-нибудь престижных должностей, кормились скудными заработками в учреждениях государства, которое не умело ценить их таланты и над которым они исподтишка потешались. Они читали одни и те же запрещённые книжки, обменивались рукописями, содержание которых приравнялось к государственному преступлению, и обсуждали темы и проблемы, самое упоминание о которых грозило карой; порой расплата не заставляла себя ждать, и, выбегая на улицу, чтобы уединиться в будке телефона-автомата, они информировали друг друга на условном языке об обысках, допросах и арестах.

И всё же было бы ошибкой, следуя тактике и практике карательных органов, объявить это сплочение заговором, присвоить ему романтический статус конспиративной организации. Нет, подпольное существование вела культура, и это был королевский домен, истинное призвание и единственный род занятий, чтобы не сказать — профессия последних могокан духа. Это было и единственное наследие, которое они оставили после своего исчезновения, ибо мало кого уже осталось в живых. Но искры, которые высекали их разговоры, размышления, споры, не угасли в тёмной бездне, и теперь мы вправе сказать: как-никак странные эти люди спасли изрядно подмоченную честь страны

Февраль 2013

Послесловие-2

Durch so viel Formen geschritten,
durch Ich und Wir und Du, doch alles blieb
erlitten durch die ewige Frage: Wozu?¹

Готфрид Бенн

...Хочется присовокупить кое-что к этому горделивому заключению. Нечто личное, поясняющее заглавный набор эпиграфов — см. выше — к этим Грёзам.

¹ Ты прошёл через такое множество форм, через Я, через Мы, через Ты, — но вечной мукой остался вопрос: зачем?

В моём архиве хранится повесть о детской влюблённости двух подростков, учеников лесной школы-интерната, некогда существовавшего в подмосковных Сокольниках, — здесь, между прочим, учился автор, мне было 12 лет. Действие происходит на исходе зимы 1940-го года и весной следующего, Сорокового. В школе появляется новенькая, загадочная и своевольная девочка, героиня, которая становится причиной гибели обоих друзей и соперников. И всё это происходит одновременно с работой секретных канцелярий, совещаниями в кабинетах высокопоставленных персон и генеральных штабах двух могущественных государств, затеявших поделить между собой Европу. В глубокой тайне готовится война, которая сметёт всё и вся, и лесную школу, и учителей, и детей. И обесмыслит их жизнь, обесценит всю эту незатейливую историю. И никто ни о чём не подозревает. Не знает о том, что над всеми, над каждым занёс свою лопату великий могильщик — оскаленное и хищное Будущее.

Об этом в тексте упомянутой повести говорится так: Замечательной чертой эпохи было абсолютное несоответствие того, что творилось в верхах, и реальной жизни людей.

Реквием по ненаписанному роману

Ars longa...

Искусство — дело долгое, а жизнь наша коротка. Век только что закончился, мы, его свидетели, слишком близоручки, чтобы его обозреть. Над нашими суждениями будут посмеиваться. Нужно, чтобы пришли другие поколения; нужна дистанция.

Но мы последние, кто жил в этом веке, кто видел своими глазами то, чего никто уже не увидит. Мы — те, кто выжил, кого не убила война, кто не умер от голода, не погиб под развалинами городов, кого не расстреляли, не забросали глиной на полях захоронения, не сожгли в печах.

Я никогда не понимал людей, которые заявляли, что они жили со своим народом, славили величие нашего времени, гордились тем, что шагают с ним в ногу, утверждали, что живут «в истории»; я не понимаю, как можно жить в *такой* истории. Литература противостоит истории. Литература дискредитирует

историю. Но этот злой демиург, le mauvais démiurge Чорана, дискредитировал сам себя. Я хотел бы, как Стивен Дедалус, очнуться от кошмара истории. Легко сказать...

Учит ли она чему-нибудь? Что такое прошлое? Мы жили в царстве абсурда. Это была чудовищная эпоха. Явились концентрационные лагеря. Явилось тоталитарное государство. Народились «массы», для которых вездесущая пропаганда, оснащённая новейшей техникой массовой дезинформации и технологией всеобщего оглушения, заменила религиозную веру. Расцвёл культ ублюдочных вождей. Почувствовалось повсеместное присутствие тайной полиции. Мало было одной мировой войны, разразилась вторая. Ничего подобного никогда не бывало. Апокалиптические разрушения, астрономические цифры жертв. Можно было в считанные минуты уничтожить с воздуха целый город, плоды труда и гения многих поколений. Можно было истребить с помощью специально сконструированных газовых камер шесть миллионов мужчин, женщин, детей и стариков. Во имя чего?

Девятнадцатый век был назван веком отчуждения человека от производства, двадцатый принёс отчуждение от истории. Перед лицом истории ты ничто. Ты абсолютно бессилён. Мы все, как муравьи в щелях и трещинах лживой, политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального достояния, размалёванной, словно труп в палисандровом гробу, истории.

Это было столетие окончательного посрамления исторического разума. Век ожившего мусульманского средневековья, и гнусных национально-освободительных движений, и демографического взрыва, и экологических катастроф, и термоядерной бомбы.

Век миновал — не время ли подбить итог? Соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Собрать по кусочкам эпоху, как скелет ископаемого ящера. Скрепить проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Но это все еще муляж; вдохнуть в него живую жизнь могла бы только литература.

Это должен быть синтетический роман — не от слова «синтетика», а от слова «синтез».

Нам твердят, что великие повествования ушли в прошлое. Современный романист, с его фасеточным зрением, не в силах объять эпоху единым всевидящим взором. Эпоха похожа на отбивную, по которой так долго колотили молотком, что она превратилась в дырявый лоскут. Эпос — достоянье ушедшей поры, когда герой романа был субъектом истории; сейчас он только её объект. Крушению веры в историю влечёт за собою крах полномочного автора. Таков он, этот писатель — апатрид классического романа.

Нам говорят — он сам себе говорит: литература — безнадежное занятие. В громе и мусоре времени, в потоке избыточной информации, среди инфляции текстов такой роман, если и был бы написан, потонул бы, никто бы тебя не услышан. И, однако, он *должен* быть написан. Роман, который подвёл бы черту под ушедшим столетием и, сохранив дыхание эпоса, одновременно стал бы новой вдохновляющей мифологией и реабилитировал бы униженную человеческую личность перед лицом зловещих фантомов — Нации, Державы, Истории.

Что делать литературе, которая в конце концов ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только личной, тайной, неповторимой, внутренней жизнью человека, что делать литературе, для которой нет великих и малых, и слезинка ребёнка дороже счастья человечества, не говоря уже о том, что и счастье-то оказалось мнимым? Нести свой крест, как говорит чеховская героиня.

Литература существует ради самой себя, другими словами — ради человека. Литература абсолютна: небеса пусты; человеческая личность — её абсолют. О, эта риторика свободы... Человек не как представитель чего-то, будь то профессия, социальный слой, общество или народ, но в первую голову человек сам по себе, просто человек, хоть он и живёт в своём веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и прикован к государству, которое сочло его своей собственностью. Фет, на вопрос, к какому народу он хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к какому».

Если художественная литература несёт какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (чаще всего не хочет). Но потому, что он так устроен. Такова природа существа, наделённого индивидуальным сознанием. Человек заключён в своей свободе, — пусть же литера-

тура напомнит ему об этом. Сопротивляться! Литература есть воплощение человеческого достоинства. В этом её скрытый пафос; в этом, может быть, и её последнее оправдание.

Мечтания об итоговом, всё ещё не созданном эпохальном романе наводят на мысль о возможном герое этого произведения. Кто это будет, кем он окажется?.. Мысленно пожимаешь плечами. На самом деле, однако, задача решена — не в прозе, а в поэзии. Я говорю о «Поэме без героя» гениальной Анны Ахматовой. Заметьте, без героя.

Опять-таки, где он?

Домыслы и догадки, против которых предостерегала поэта, бесчисленны. Мой ответ — такого героя в поэме не только не существует, но и не могло быть, И это равно касается чаемого романа. Потому что итог пережитой нами эпохи новейшей отечественной истории — исчезновение человека, как индивидуума, Иначе говоря, окончательная и беспросветная дискредитация независимой суверенной человеческой личности.

Я сказал.

Мюнхен, август 2008

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Третья

I

Дровокол и снег

В декабрьскую ночь случилась неприятность, — это было давно, в те баснословные времена, когда в смутных известиях, переносившихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют, что повсюду гражданские паспорта заменены формулярами, гражданская одежда — стеганым бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим рыком, а время — бессрочным сроком, и что на главном циферблате страны, на самой высокой в мире Спасской башне висит едунный обрубок, показывает не час и не минуту, а лишь один единственный год.

Это было время, когда старичок председатель Верховного Совета, в очках и в бородке клинышком, вылезал для моциону из своего кабинета на Моховой и направлялся на Курский вокзал. Шёл, стучал палочкой по перрону вдоль товарного состава, а сзади ему подавали мел. И старичок-козлик, на каждом вагоне, груженом доверху помилковками, то есть просьбами о помиловании, мелом наискосок накладывал резолюцию: *Отказать*. И паровоз давал свисток, и состав трогался и катил обратно.

Это было то самое время, забытое и незабываемое, когда маршал со звёздами на широких погонах, с животом горой, в пенсне на мясистом рубильнике, еженощно входил в главный кабинет страны доложить, сколько кубометров леса напилили за день по всем лагерям. И Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходил к стоячим счётам вроде тех, что стоят в первом классе, перебрасывал костяшки, поднимал бровь: «Мало! Пушай сидят»; время, когда кто-то из наших — люди рассказывали — забрался ночью в кабинет оперуполномоченного и спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И портрет в дубовой раме над столом, ухмыльнув-

шись половинкой усов, будто бы отвечал ему загадочной фразой: *Благо всех вместе выше, чем благо каждого по отдельности*. Но мужик, по своей непонятливости, повторил свой вопрос: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И портрет ответил:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».

В ту ночь произошла неприятность, производственная травма; на лесоповале это случалось не так уж редко, но я работал в другом месте, мне не нужно было вставать до рассвета, хлебать баланду в столовой, плестись в колонне под крики конвоя в рабочее оцепление, наоборот, в это время я заканчивал смену и брёл домой, предвкушая сладкий сон в дневной тишине. Вечером, когда возвращались бригады и секция наполнялась усталыми и возбуждёнными людьми в набухших от мокрого снега ватных доспехах, я приступал к сборам, влезал в ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал платком, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал бушлат и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед вахтой собиралось человек восемь бесконвойных. Рабочий день в это время года у бригадников выходил короче, так как съём с работы по режимным соображениям производился засветло, — у бесконвойников же, напротив, длиннее.

Высокие, украшенные лозунгом и выцветшими флажками ворота зоны ради нас не отворялись. Гремел засов на вахте, мы выходили один за другим, предъявляя пропуск, через проходную. Кто шёл на дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. По тропке в снегу я шагал до угла, оттуда сворачивал на дорогу, ведущую от лагпункта к железнодорожной станции. Слева от дороги, напротив посёлка вольнонаёмных, среди снежных завалов находилась утоптанная площадка, усыпанная щепками и корьём, стояли козлы и вагонетка, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди звёзд, дыма плотным белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.

Всю ночь свет горел в зоне на столбах и в бараках, в домах посёлка, в казарме, в пожарном депо, но всё это составляло ничтожный расход по сравнению с энергией, подаваемой на кольцо.

Всё могло выйти из строя, но сияющий, словно иллюминация, венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не должны были померкнуть ни при какой погоде.

Первым делом расчистить рельсы для вагонетки, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь по смёрзшимся торцам — развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звёзд, в белёсом дыме, без устали грохоча, шёл вперёд без флагов и огней опушённый снегом двускатный корабль электростанции. Ежедневно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Мне становилось жарко, я сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, дровокол довёз её до входа в сарай, отворил дверь, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, полуголый и глянцевоый от пота кочегар, вися грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругается. Блистающее кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая, в конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Но машина по-прежнему рокотала в сарае, из железной трубы валил дым, и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель — не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Это стоило бы запомнить каждому. Колун завяз в полене, дровокол плохо видел и наклонился над обухом. Колун словно ждал этого. Мгновенно вырвался и саданув обухом в лицо.

Милость судьбы: наклонился бы чуть ниже, был бы убит. Вообще стоит поразмыслить над тем, что, собственно, мы называем случаем. Мы в России привыкли жить сегодняшним днём: мудрое правило. Ибо день этот, как день на далекой планете, тянется вечно. А потому прошу не считать меня отставшим от жизни, не думать, что мои рассуждения — прошлогодний снег. Пускай он нынче растаял, завтра выпадет снова. Из снега всё вышло, в снег и уйдёт. И вода, что мы пьём, тот же снег; и та же вода в котлах на лагерной кухне; и не зря сказано: кто однажды хлебал баланду, будет хлебать её снова.

Говорят, Ус не умер и где-то ждёт своего часа; я считаю это вполне возможным. Говорят, что лагеря разогнали. Не верю. Лагерное существование есть законный образ жизни русского человека. Иные страшились конца срока, с тяжёлым сердцем ожидали освобождения. Человек тоскует по лагерю, потому что лагерь — это наша юность, кровиночка, лагерь у нас в душе. Словно кромка леса, лагерь маячит на горизонте и никуда не денется. И не заметишь, как придвинется и сомкнётся вокруг тебя этот лес, и друг обернётся предателем, и вода станет снегом, и дом — баракom.

От удара дровокол полетел навзничь. В призрачном свете звёзд сидел на снегу, выплёвывал обломки зубов, горячие красные сопля свисали у меня изо рта и носа. Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке, выглянул в темноту. Дровокол доплёлся до зоны, утром получил в санчасти освобождение; четырёх дней, однако, не хватило, пришлось с замотанной физиономией топтать на станцию под конвоем, следом за подводой, в которой везли совсем уже немощных. На станции дожидался поезд, так называемая теплушка, за десять часов надо было пересечь всё княжество, чтобы добраться до больнички.

II

Снег и Молох

Положи меня, как печать, на сердце твоё, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь.

Песнь песней Соломона, 8:6.

Вступление

«Поворачивайся, твою мать!» Как еврейский народ из Египта, они вышли на свет из тьмы. Никто не знал, где они очутились, слышали только — где-то на Северо-востоке. Люди вы-

прыгивали из тёмных, вонючих вагонов, скатывались по откосу, строились, брели по щиколотку в снегу под сиреневым небом. Не было дорожных указателей, и никто не смел спрашивать.

Если бы заблудившийся лётчик оказался в этих широтах, он увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, различил бы тёмный пунктир таёжных рек. Если бы ангел, медленно взмахивая белоснежными крыльями, летел над нашим краем, то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубков. Тёмной ночью он вознёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, над кольцом огней вокруг зоны и скорей угадал бы, чем увидел, лучи прожекторов с игрушечных вышек.

Время течёт неодинаково на просторах нашего отечества; у времени бывает мало времени, бывает много. Пока где-то там обгоняли друг друга годы и десятилетия, у нас тянулся один и тот же год. Там отсчитывали время нетерпеливые нервные стрелки, здесь — толстые неповоротливые обрубки. Сколько лет прошло с тех пор, как совершились эти события? Давно уже нет в живых ни великого князя, ни кума. Нет механика и кочегара; померла и баба Листратиха, таёжная Астартта. Существует ли ещё княжество? На вопрос этот отвечают по-разному учёные люди, мы не станем вступать с ними в спор. Начнём эту песнь по преданиям сего времени, а не по чьим-то измышлениям, постараемся соблюсти справедливость, никому не вредя, никого не поучая. Не поддадимся высшему и сладчайшему соблазну ненависти. Никто не в силах объяснить, отчего ненависть так похожа на любовь и сильна, как смерть.

Как семя любви, семя ненависти зреет и копится, чтобы излиться в чьё-нибудь лоно. Не так уж важно, на кого обрушится влюблённая ненависть, лишь бы только извергнуться. Лишь бы отомстить — кому и за что? За то, что так непролазны болота, безбрежны снега и лес без конца и краю; за то, что тебя родили на свет, не спросясь. Отомстить жизни — не значит ли в конечном итоге отплатить себе самому?

Семя ненависти живёт в гробах.

Утренние известия.

Шествие капитана по лагпункту

О случившемся доложили капитану Сивому в шестом часу утра 22 апреля, — как назло, это был день рождения Ленина. Капитан считал своим долгом по особо торжественным дням

присутствовать на разводе. Он стоял на крыльце вахты, в долгополой шинели, в шапке поддельного меха со звездой, ввинченной в козырёк, красный от выпитого, обозревая дружину, собак и заключённых величественно-безумным взглядом. В сумерках перед распахнутыми воротами дудел оркестр заключённых, нарядчик выкрикивал номера бригад, когорта двинулась, по четыре в ряд, на ходу расстегивая бушлаты, вахтёр махал пальцем, отсчитывая каждую четвёрку. С деревянной вышки над крышей вахты площадку перед воротами озарял прожектор. Два надзирателя обнимали и обхлопывали каждого, конвой ждал, полукругом сидели овчарки на поджарых задах. Оркестр смолк, и ворота закрылись. Нарядчик отправился собирать отказчиков по баракам. Капитан Сивый вошёл в помещение вахты.

Капитан уселся на табуретку с лицом мрачнее тучи. Он еще раз спросил: когда исчез дежурный вахтёр? Начальник недавно получил четвёртую звёздочку на погонах, был переведен на крайний северный ОЛП, то есть отдельный лагерный пункт, и еще не запомнил фамилии подчиненных. Пропавшего звали Карнаухов. Второй вахтёр не мог добавить ничего к тому, что уже было доложено, дежурным разрешалось коротать ночь, лёжа по очереди на лавке, он не решился сказать, что спал в то время, когда Карнаухов покинул помещение вахты. Когда покинул? Вахтёр сказал: часа в три. Когда точно? — огрызнулся капитан. В 3.00, отпраповал второй дежурный. Куда? Не могу знать, отвечал надзиратель. Что же ты, едрёна вошь, громыхнул начальник лагпункта, испытывая злое сострадание к дураку дежурному; пожалуй, и к самому себе. Он двинулся в жилую зону, где, как раскаты грома, неслась весть о том, что князь обходит бараки с нарядчиком и помпобытом.

Шествие Анны Никодимовой и оперативного уполномоченного

Неохотно, словно кому-то в вышних надоело каждый день рассветать, забрезжил день. Прошла через вахту и поспешила по центральному трапу в контору секретарша начальника Анна Никодимова. Событие повторялось ежеутренне. Дневальные в опустевших секциях, перестав елозить резиновой шваброй по полу, прилипли к окнам; бесконвойные хозвозчики, конь и боч-

ка золотаря, ожидавшие, когда их выпустят за ворота, — всё повернулось в одну сторону; хлеборез, одна из высших персон на лагпункте, на пороге хлеборезки следил за видением женщины; сам Вася Вересов, гоминид, покрытый густым волосом, с жирными плечами, с лиловыми наколками сзади и спереди, изрыгнул мат, оборвал гудящий звон своей гитары в культурно-воспитательной избе, где он репетировал патриотические куплеты для концерта художественной самодеятельности. Культуртг, вещкаптёр, завстоловой, завпекарней, академик-фельдшер, выдававший справки об освобождении от работы, и лагерный портной по имени Лёва Жид — всё мужское, остававшееся в зоне, превратилось в зрение и слух.

Не та жидковолосая, с рябоватым простодушным лицом, Анька-секретарша, но Женщина, вот кем она была: недостижимое женское тело. Торопливый стук её сношенных ботишков по расчищенному дощатому трапу достигал дальних закоулков, и нельзя сказать, чтобы сама она об этом не знала. Едва только брякнул за ней засов проходной, тревожный холодок пронизал Анюту Никодимову, она очутилась в поле высокого напряжения — окружённая таинственным свечением, шла, точно голая, и в самом деле была голой под своей шубкой, кофтой, юбкой или что там было на ней; шла под взглядами, охваченная страхом, гордостью, встречным вождением, мелко шагая, боясь поскользнуться, неся грудь, подрагивая бёдрами, шла, как по тонкому льду.

Была оттепель.

Вслед за Никодимовой появился другой балладный персонаж, и это тоже было каждодневным событием в жизни лагерных обитателей. Но знаки переменились; по трапу шагал оперуполномоченный, лейтенант Василий Сидорович Щаюк; лица в окнах исчезли, всё свернулось и спряталось.

Уполномоченный, иначе кум, в фуражке с синим околышем, в долгополой, путающейся в ногах шинели, такой же, как у высших оперативных чинов в Главном управлении, как у самого Железного Феликса, маршировал, стуча подковками сапог, и, как всегда при входе в зону, старался приноровиться к своему образу, для которого тайна, одиночество, прищуренный взгляд и загадочное посвистывание были так же необходимы, как покачивание бёдрами и особый семенящий шаг у Анны Никодимовой.

У Анюты никакой особенной биографии не было. Кум имел за спиной сложное прошлое. Кум происходил из Белгородской области, его дед, отец и остальная родня были раскулачены, вывезены и никогда больше не возвращались. Щаюк спасся, проучился кое-как до седьмого класса, подался в ремесленное училище, сбежал, ночевал на вокзалах, подворовывал, поступил на милицейские мотоциклетные курсы, оттуда был направлен на двухгодичные курсы оперативных работников. И уже после курсов попал в почтовый ящик.

Этот ящик, расположенный в верховьях северо-восточных рек, невидимый, как дреднот в игре «морской бой», состоял из комендантского лагпункта, собственной железной дороги, трех лаготделений и полусотни лагпунктов и подкомандировок, где тянуло срок семьдесят или восемьдесят тысяч обитателей. Размеры его владений были в точности неизвестны: леса, болота, ледяные речки, там и сям разбросанные в тайге деревеньки, умирающие вот уже некоторое столетие; лагерь медленно расплзался, оставляя насыпи заброшенных узкоколеек, штабеля гниющего невывезенного леса, кладбища пней и поля черного праха. Постепенно Василий Щаюк пообтёрся, за шесть лет работы в Органах дослужился от младшего лейтенанта до лейтенанта. Он был глуп и туп, но развил в себе нюх. По натуре, вопреки обычному представлению о тайной полиции, был человек скорее мягкий и считал, что никому не желает зла.

Уполномоченный сидел за столом в своём кабинете с двойной дверью и вторым выходом, посвистывал, вполголоса напевал «За Сибіром сонце всходити», сладко зевал; в дверь поскреблись, кум поднял голову. Вошла Анна Никодимова в голубом, по-весеннему, платье с цветочками и бантиком на груди, с бумагой для подписи и подачи князю. Кум потянулся к бантику, она отвернулась отцепить булавку; несколько времени продолжалась балетная сцена, Анюта отбежала к окну; тихонько хрустнул ключ в замочной скважине; кум простирал руки к Анюте, тишину нарушал смешок, «ну уж нет», — мякнула женщина, после чего с видимой неохотой поместилась на коленях у Василия Сидоровича.

Мари Листратихи

Пробудилась в своей избе, в этот ранний час, и гражданка Елистратова, вошедшая в историю под именем Листратиха.

Сколько ей было лет, сказать трудно; она приближалась к возрасту, о котором говорят: баба ягодка опять; невысокая, широкобёдрая, с большой мягкой грудью и мягким животом, с тёмным румянцем на круглом лице, с влажным взглядом языческой богини. У неё были дети, двое или трое, неизвестно от кого, да ещё двое успели вырасти, куда-то делись, и была старая сморщенная бабуся, мастерица вязать на спицах, при случае помогавшая избавиться от беременности.

Как все, баба Листратиха числилась колхозницей, но никакого колхоза не существовало, вместе с другими женщинами она ходила на подсочку в леспромхоз, на вырученные деньги закупала в сельпо по пять, по десять бутылок. Ближе к вечеру по лесной тропе, в платке, зипуне, в рыжих лагерных валенках неутомимо, неспешно брела с кошёлкой к посёлку, усаживалась отдохнуть на крылечко магазина для вольнонаёмных. Ничего не зная о физике, она чувствовала всем своим телом, как волны тёплого излучения расходились кругами от её лона. Разопревшая от долгой ходьбы, расстёгивалась, сбрасывала на спину платок, причёсывалась гнутым гребнем. За день весь одеколон, поступавший в магазин, раскупался; и уже совсем в темноте, когда на дверях висела железная перекладина с замком, подходили по одиночке солдаты дивизиона. Баба Листратиха промышляла зелёным змием, услужала ещё кое-чем.

Услужала не из корысти, а ради наслаждения, более же всего по доброте и щедрости, из жалости к молодым, стриженным наголо ребятам срочной службы, которым так же, как заключённым, приходилось вставать ни свет ни заря, хлебать баланду в казарменной столовой, под дождём и снегом, с автоматами поперёк груди, спешить по шпалам узкоколейки следом за колонной, мёрзнуть на вышках рабочего оцепления, греться у костров. Бывало и так, что воины, по-двое, по-трое, глубокой ночью, с риском попасть на гауптвахту, если не хуже, шагали в деревню к Листратихе, в её тёмную избу. Десять вёрст туда, десять обратно.

Бегство на юг. Начало следствия

Такова в общем и целом была экспозиция. Рабочий день начался, но день-то был необычный. Около десяти часов в кабинет к уполномоченному постучался дневальный: вызывают к

начальнику лагпункта. Кум одёрнул гимнастёрку, прошагал по коридору конторы, вошёл в комнатку секретарши и, не взглянув на Анюту, скрылся за дверью капитанского кабинета.

Оперативный уполномоченный согласился с предложением князя-начальника пока что не поднимать шума. Для лейтенанта случившееся на вахте было, с одной стороны, как и для капитана Сивого, неизвестно чем грозящей неприятностью, а с другой — выгодным шансом. Предварительно заметим, что следствию очень помогло бы знакомство с восточной мифологией, а также с Писанием — мы имеем в виду Песнь Песней. Но ни Сивый, ни Щаюк ничего такого не знали.

Дознание было начато, как положено, с допроса свидетелей. К лейтенанту в зону потащились один за другим отсыпавшийся после дежурства второй вахтёр и солдат-азербайджанец, простоявший в тулупе всю ночь на вышке над вахтой.

Первой мыслью и рабочим предположением был побег, точнее, дезертирство. Странноватая мысль: побег, больше принадлежавшие лагерному фольклору, чем действительности, подобали заключённым, а не надзорсоставу; но, положи руку на сердце, у кого в наших краях не нашлись бы основания рвать когти? Вот замечательное выражение тех лет. Как богат язык, доставшийся нам от прадедов! Воистину необозрим ассортимент речений, синонимичных глаголу *бежать*.

От вахтёра уполномоченный узнал и занёс в протокол почти то же, что услышал утром князь. Выяснилось, однако, что факт отсутствия Карнаухова был установлен вторым дежурным, лишь когда он встал и вышел наружу, по его выражению, «поссать»; следовательно, дрыхнул и не слышал, когда напарник покинул свой пост. Слышал ли свидетель от первого дежурного высказывания антисоветского характера? Что-де надоело и пора кончать, и что хорошо бы куда-нибудь податься, например, на юг? Нет, не слышал. Не было ли у Карнаухова бабы в деревне, из тех, что шатаются вокруг лагпункта, промышляют водкой? Ты-то сам, небрежно спросил уполномоченный, небось тоже?.. Непонятно было, шутит он или всерьёз. Не могу знать, испуганно сказал надзиратель. Уполномоченный посвистывал, посапывал. Скрипел пером. Можете итти, промовлил он, не поднимая головы.

От попки, то есть стрелка на вышке, вовсе ничего прибавить к дознанию не удалось, черножопый еле ворочал языком

по-русски. К тому же он, видимо, испугался, поняв, что кто-то сбежал из зоны и придётся отвечать. Видел ли он, как сержант Карнаухов вышел из помещения? Солдат помотал головой. Куда направился Карнаухов? Солдат понял, что его берут на пушку. Потом оказалось, что он всё-таки видел, как надзиратель с крыльца справлял нужду. Кто именно, который из двух? Тут свидетель совершенно потерялся, и даже если понял вопрос, притворился, что не понимает.

Прошёл один день

Назавтра (пропавший так и не объявился) вахтёра вновь потянули к оперу; для проверки вчерашних показаний был задан тот же вопрос, выходил ли он сам ночью из помещения. Надзиратель признался снова, что выходил. С какой целью? Ни с какой; поспать. В котором часу? Не успел он ответить, как кум спросил, словно ударил под дых: кому Карнаухов звонил по телефону? Кум не спрашивал, звонил ли вообще старший дежурный кому-нибудь по телефону; был применён профессиональный приём разведчика — задавать следующий вопрос, не задав предыдущего, с целью огорошить свидетеля догадкой, что следствию всё известно и хотят лишь прощупать. Как будто опер уже знал, что старший дежурный с кем-то там договаривался. На самом деле кум ничего не знал, но вахтёр не знал, что Щаюк не знает. С ужасом вахтёр почувствовал, что подозревают его самого. В чём? В сговоре с исчезнувшим.

Звонил, пролепетал вахтёр, на электростанцию.

Ага, крикнул Щаюк, о чём же они говорили?

Свидетель показал, что Карнаухов ругался. Кольцо то и дело тускнело. Напомним, что так называлось наружное освещение зоны: цепь лампочек над тремя рядами колючей проволоки поверх высокого тына; через каждые десять метров — фонарь. Вдобавок с угловых вышек вдоль забора бьют прожектора.

Почему тускнело?

Свидетелю было велено ждать (в закутке рядом с кабинетом, с выходом на заднее крыльцо), дневального послали в АТП за механиком. Личный дневальный оперуполномоченного, аккуратный, благообразный мужичок лет пятидесяти, исполнял различные обязанности, причём то, чем обычно занимается дневальный, — уборка, мытьё пола — не было главным. Мусор-

ный старик; но согласитесь, что есть разница между вульгарным стукачом, каких немало, и доверенным осведомителем. Он много знал, всё видел и умел держать язык за зубами; мистический ореол, окружавший кума, отражался на дневальном, как безжизненная планета отражает свет Солнца.

Дневальный взошёл на крыльцо барака, из холодного тамбура — в секцию АТП, то есть административно-технического персонала, — койки вместо вагонных нар, — и велел тамошнему дневалюге растолкать механика, спавшего после ночной смены. Тотчас, едва только оба вышли из барака, понеслось по зоне: механика потянули в хитрый домик. Ибо явление мужичка-дневального никогда не бывало случайным.

В кабинете уполномоченный сидел над бумагами. Перелистывание папок с делами было главной частью его работы, а на допросах — особым тактическим приёмом. Под бумагами, однако, лежало письмо. От той, с которой Василий Сидорович романтически переписывался. Он надорвал конверт и погрузился в разглядыванье фотокарточки: милое курносое лицо. Она была в летнем платье с короткими рукавами-фонариками и глубоким вырезом. Самое привлекательное в ней было то, что она жила на юге, а он всегда мечтал уехать в тёплые края. Из прежних писем Щаюк узнал, что она окончила педагогический техникум и «не занята». Это означало, что у неё нет ни мужа, ни ухажёра. Она даже намекала, что могла бы сама приехать повидаться. Уполномоченный собирался ответить, что у него тоже никого нет, но приехать к нему пока что невозможно; что по вечерам, усталый после руководящей работы на стройке, курит и думает о ней.

На обороте была дарственная надпись и стихотворение поэта Эдуарда Асадова: «Пусть ты песня в чужой судьбе, и не встречу тебя, наверно. Все равно эти строки тебе от той, которая любит верно». Василий Сидорович снова перевернул снимок, увидел круглое лицо и серёжки в ушах, складку груди в вырезе платья и попробовал представить, как она выглядит вся.

Перекрёстный допрос

Уполномоченный поднял голову. Шапка в руке, телогрейка в лоснящихся пятнах, сумрачный тёмносерый лик византийского святителя, — механик весь пропитался машинным маслом.

Механик был изменником Родины, в самом начале войны, под Оршей попал со всей дивизией в окружение. В числе немногих выжил, работал по специальности на заводе; в августе 45-го, по примеру других, подделал документы, чтобы не подпасть под репатриацию, но не помогло, был отправлен на приёмо-передаточный пункт Бебра-Эйзенах, а оттуда этапом на родину.

Первый вопрос кума был: все работают, а механик спит в зоне, это как надо понимать? После смены, мрачно сказал механик. Вопрос был явно задан «с понтом», чтобы ослабить бдительность, а заодно намекнуть, какое у него тёпленькое местечко. Такого места можно враз и лишиться, и вообще, бесконвойный со статьёй 58-1, пункт «б», — нарушение режима. Механик знал, что все слова кума — ложь, все вопросы задаются с единственной целью заманить в ловушку, что с этим зверьём надо быть начеку, протянешь мизинец — откусит всю руку. Но знал также, что он незаменимый специалист, чинил проводку в квартире самого князя.

Так, сказал Щаюк, значит, был в ночной смене, почему плохо работаете?

Работаем, возразил механик.

А вот есть сигнал, что кольцо тухнет. Это что, саботаж?

Какой-токой саботаж; ничего не тухнет.

А вот это мы сейчас проверим, сказал уполномоченный и слегка присвистнул. Появился, словно пёс на зов хозяина, свидетель для перекрестного допроса. Подтверждает ли он своё показание о том, что...

Вахтёр испуганно закивал. Кум вперил взгляд в механика. Правильно, сказал механик, звонил надзиратель с вахты.

Который из двух, этот?

Нет, сказал механик, другой. Голос не такой. Ругался.

Ага; значит, действительно потухло.

Да не потухло, сказал с досадой механик, если бы потухло, тут такой бы хипеж поднялся. Просто дрова сырые, одна ёлка. Кочегар может подтвердить.

Таким образом, было установлено, первое, что старший дежурный покинул вахту после разговора по телефону с электростанцией, и второе, вёл разговор по телефону в присутствии младшего надзирателя с целью замаскировать ис-

тинную причину. Лейтенант Щаюк велел подписаться под протоколом, механик побрёл назад в секцию, а кум отправился к капитану.

Он застал у князя секретаршу. Слово «секретарь» одного корня со словом «секретный». Никодимова была не так глупа, как могло показаться, у неё была своя версия: запил с какой-нибудь бабой из местных, понял, что совершил дезертирство, и теперь скрывается. Капитан Сивый ничего не сказал. Капитан, как всегда, был не трезв, но и не пьян. Кум Щаюк вошёл в кабинет в тот момент, когда Анюта, прижимая к груди картонную папку, стояла рядом со стулом начальника. Повела плечиком и не торопясь покинула кабинет.

Капитан Сивый, с одной стороны, побаивался кума, да и, согласно положению, оперативный уполномоченный не подчиняется начальнику лагпункта. Отвечать в общем-то придётся капитану, и многое зависит от того, что доложит оперуполномоченный в оперотдел Главного управления. Но, с другой стороны, ни куму, ни князю не хотелось портить отношений; случалось, и выпивали вместе; подозревалось, что оба мнут секретаршу. Щаюк хотел обсудить с капитаном дело по-свойски, прежде чем давать делу ход. Главное, избежать осложнений свыше. Чего доброго, нагрянет комиссия из управления.

Скрывается, но не здесь, не в округе: вполне можно себе представить, что, выбрав удобный момент, всё обдумав заранее, Карнаухов, не замеченный, двинул на станцию лагерной железной дороги. До комендантского километров двести, там какая-нибудь баба приготовила гражданскую одежду, и вдвоём сиганули на юг. Как математик предпочитает наиболее простое решение задачи, так и уполномоченный принял наименее хлопотное и самое правдоподобное решение.

Загадка прояснилась. Как показало следствие, сержант Карнаухов дезертировал и в настоящее время находится в бегах; подать рапорт в Главное управление, там объявят всесоюзный розыск.

Добре, сказал Сивый.

Оракул

Тем не менее у капитана имелся свой особенный метод расследования. Наутро, это был уже третий день, до развода

князь дал команду выдернуть из лесоповальной бригады учётика, грека из Балаклавы, тянувшего срок за национальное происхождение.

Чёрный, тощий мужик в бушлате самого большого размера и вислозадых ватных штанах явился в сопровождении нарядчика, сдёрнул ушанку с головы.

«Так», — промолвил капитан, оглядев длинного мужика сверху вниз, от лилового стриженного черепа до косматых, расширяющихся книзу валенок.

«Зачем позвали, знаешь?»

Грек моргал чёрными, как антрацит, глазами, помотал головой.

«А?» — громыхнул капитан.

«Там ошибка, — сказал мужик, показывая на формуляр, лежавший на столе перед князем. — Мы не греки.»

«А кто ж вы такие?»

«Мы вавилонцы.»

«Чего?»

«Вавилон. Было такое царство.»

«Угу. И куды ж оно делось?»

Айсор развёл руками, взвёл очи горé.

«Ладно, один хер. Слыхали о тебе, о твоих талантах.»

Тощий мужик безмолвствовал.

«Чего молчишь.»

«Гр'ын начальник... я что, я ничего...»

«А вот надо, чтобы было чего!»

Халдей решил, что готовится расправа за его искусство; но почуял и другое: в нём нуждались; проглотил воздух, переступил валенками.

«Вот так», — сказал, точно припечатал, капитан.

На всякий случай мужик проговорил:

«Если надо...»

«Надо!» — громыхнул капитан.

Халдей приободрился:

«Можем попробовать.»

«Добре. — Капитан сменил гнев на милость. — А ты (нарядчику) иди, работай...»

Нарядчик и так догадался, в чём дело. Капитан вызвал Никодимову.

«Сочини ему расписку о неразглашении, пушай подпишет... — После чего в двух словах было дано разъяснение. — Пропал, нет его. Задача ясна?»

Халдей ел глазами начальство.

«Узнать, куды он делся. Давай: одна нога здесь, другая там»

Айсор поспешил в барак, но не в секцию, а в сушилку, где было тепло и стоял запах, похожий на запах поджаренных сухарей. Сушильщик был его земляк.

Айсор вернулся и стоял перед капитаном, ожидая распоряжений; капитан кивнул. Гадатель извлёк нечто из глубокого кармана в подкладке бушлата. Это что ж такое, спросил начальник. Айсор объяснил, что карты не игральные. Древние карты, сказал гадатель. Освободили место на столе. Капитан с любопытством разглядывал солнце с лицом старика, месяц с крючковатым носом, бабу с грудями и рыбьим хвостом, двух сросшихся младенцев, змею с крыльями, похожими на плавники. Гадатель объяснил: вот это зелёные жезлы, это голубые мечи и так далее. Бог Набу, сын Мардука, сочинитель таблицы судеб, просветил прорицателя.

«Ну что там, чего-нибудь видишь?»

Айсор хранил безмолвие.

«Давай, рожай!».

«Огонь».

«Чего?»

«Огонь, — повторил айсор и указал на красную масть. — Вижу огонь».

«И всё?»

«Всё», — ответил гадатель, как будто хотел сказать: разве этого недостаточно?

«И больше ничего?»

Гадатель устремил загадочный взгляд в пустоту, развёл руками.

«Так! — грозно сказал князь. Айсор поспешно собирал карты. — Вот мудак, так уж мудак, — задумчиво проговорил капитан. — Предсказатель сраный... Вали отсюда».

Он вызвал Анюту:

«Гони этого армяшку».

И опять таки поступил опрометчиво.

Такая жизнь

Нельзя объяснить, почему люди жили так, а не по-другому, и всё делали для того, чтобы навредить самим себе. Существовало нечто мудро-безрассудное, нечто всесильное, превыше всех начальств и властей, и это всесильное называлось коротким словом: жизнь. Отдав должное пронизательности оперуполномоченного, нужно всё же заметить, что не стоило особо напрягать ум, подозревать сложный проект дезертирства, бегства на юг и так далее, а надо было взять за ж... (без этих выражений здесь не обойтись) упомянутую бабу Листратиху. Любопытно, что женский нос секретарши Анны Никодимовой, хоть и приближительно, но почуял, откуда дует ветер.

«Бригада аля-улю, — сказал, входя, сержант Карнаухов. — В кондей захотели?»

(Поясняем: подсобная тюрьма в зоне.)

Механик вышел из-за потного лязгающего агрегата. Для виду держал в руке гаечный ключ. Из-за грохота приходилось кричать.

Перед открытой топкой, полуголый, лоснящийся потом кочегар в тряпичных рукавицах вися на длинной кочерге, ворочал полутораметровые чурки, сыпались искры.

«Дрова завезли совсем сырые, гр'ын начальник!» — кричал механик.

Сержант заглянул за агрегат.

«Та-ак! — рявкнул. — А это кто такая?»

Кочегар захлопнул круглую дверцу топки, стоял, опираясь на кочергу.

В это время раскрылись низкие воротца, дровокол вкатил по рельсам тележку с дровами.

Сзади машина-Молох не так шумит. «Ну чего ругаешься, начальник. Погреться зашла».

Карнаухов рычал, что завтра подаст рапорт.

Усмехнувшись, механик спросил:

«Может, самому охота? Мы отойдём».

Баба Листратиха восседала на топчане, — для двоих мало места, разве только лёжа друг на друге, — без платка, без телогрейки, в старой вязаной кофте, расставив ноги, отчего живот

выступил вперёд, и широкие бёдра под юбкой казались ещё просторней. Открыв рот, круглыми блестящими глазами уставилась на дежурного. На часах под двускатным потолком — без пяти три, время, приблизительно совпавшее с показаниями второго дежурного на вахте.

Сержант стоял в форменной шапке, в тряпичных погонах на травянисто-зелёном бушлате; жизнь его, «такая жизнь», обрела, наконец, устойчивость. Его отец был убит на войне. Четырнадцать лет, в городке, где мать работала в конторе «Заготзерно», Карнаухов участвовал в коллективном изнасиловании девочки из параллельного класса, на суде было установлено, что он сам ничего не делал, выпустили на поруки, но, выйдя из помещения райсуда, был жестоко избит компанией во главе с братом девочки, месяц провалялся в больнице, жизнь в городишке стала невозможной. Переехали на Алтай, и дальше его носило по стране, пока, отбыв службу в армии, Карнаухов не очутился в наших местах.

«А ну повтори, — сказал он, прищурившись, — повтори, блядина, что ты сказал. Самому охота... Я тебе покажу охоту, сволочь недорезанная, фашист...»

Темноликий, как икона, механик ничего не ответил и только устремил на него влюблённый взгляд.

«Завтра будете разговаривать в другом месте...», — пробормотал сержант и оглядел всех. Он шагнул было к выходу. «Погодь, начальник... — ласково сказал механик. — Мы тебя любим, может, мы, того, по-хорошему?...» — «Ты это брось!» — строго сказал Карнаухов.

«Ты чего это, ты чего! Да я пошутил...» — бормотал он, пятясь, и схватился за кобуру. «Ничего», — проскрипел механик. Начиная с какого-то мгновения, люди уже не распоряжались собой, всем правила и за всё отвечала жизнь. Карнаухов лежал на цементном полу с изумлёнными стеклянными глазами, шапка со звёздочкой валялась рядом, из проломленного виска толчками лилась кровь. Баба Елистратова всё так же сидела на топчане, оцепенелая, зажав ладонью отверстый рот. Механик швырнул на пол тяжёлый гаечный ключ. Кочегар стоял, как каменный, держа, словно копьё, кочергу. Было три часа ночи, снаружи пошёл снег.

В пещи огненной. Вознесение Карнаухова

Тихий, покойный снег кружился в чёрном небе, опускался на посёлок, пожарное депо, магазин, казарму, на вышки и фонари зоны и высокий сарай электростанции, откуда по-прежнему доносился глухой непрерывный рокот. Снег покрыл леса, круглолежневые дороги, кладбища пней и весь лагерный край, о котором никто точно не знал, где его границы.

«Чего стоишь, е-ёна мать. Давай шуруй!» — сказал, точно рыгнул, механик, и кочегар отвернул засов железной дверцы, хватал дрова с тележки заталкивать в топку.

«А ты вали отсюда. Только чтобы ни-ни! А то самой придётся отвечать. Тебя здесь не было, поняла? Ничего не видела, ничего не знаешь. Поняла?»

Листратиха усердно кивала, не отнимая руки от рта.

«Вот так здóрово, — задумчиво промолвил механик. — Чего ж мы с ним делать-то будем?»

Дровокол сосредоточенно моргал, стоя перед своей тележкой. Кочегар, жилистый мужик с военно-морскими наколками на плечах еле заметно показал головой на топку.

«Длинный, еби его...» — проговорил механик.

Он повернулся к женщине, она не двигалась.

«Чего сидишь, подотри. И чтоб духу твоего здесь не было...»

Елистратова, спохватившись, схватила масляную тряпку, стала на колени и оперлась ладонью о цементный пол, где уже засыхала лужа потемневшей крови. Тем временем механик зачерпывал короткой кистью из ведра солидол, размазывал по лицу и одежде трупа. Вдвоём с дровоколом подтащили Карнаухова к топке. Дровокол спросил: может, распилить? Так войдёт, отвечал механик.

«А это куда?»

«Пригодится». Механик взвесил пистолет на ладони и сунул в карман.

Кочегар надавил кочергой, длинные полубогорельные дрова выставились из топки, поехали на пол.

«Легче, ты!» — загремел механик. Кашляя от дыма, кочегар вытаскивал руками в рукавицах обугленные чурки. Голова и плечи Карнаухова исчезли в огненной гробнице. «Шапка!» — крикнул механик. Туда же и шапку. Уже пылал зелёный бушлат.

Механик, отворачиваясь от жара, швырял в огонь пригоршни мазута, поглядывал на манометр. «Твой рот ебал! Тухнет! — вскричал он. — Сейчас прибегут!»

Ничего не получалось; кочегар пытался вытянуть кочергу, застрявшую в топке. В пламенном чреве Карнаухов горел и превращался в чёрный светящийся остов, длинные ноги в кирзовых сапогах торчали наружу.

«Чего делать будем?»

«Чего... ничего».

«Отпилить их», — подал голос дровокол.

«Яйца себе отпили. Давай!» В багровых отблесках, кряхтя, с благоговейным матом, нажали. Наконец, удалось захлопнуть дверцу, кочегар лягнул задвижкой. Лицо сморщилось от тяжкого смрада, казалось, кочегара сейчас вырвет. Механик пробормотал, тяжело дыша:

«Теперь светлее будет...»

Он имел в виду кольцо вокруг зоны. Снаружи над сараем, где помещалась электростанция, высокая железная труба на проволочных растяжках изрыгнула густой белый дым, на столбе горела тусклая лампочка. Площадку, усыпанную опилками, запорошил снегом, стояли козлы, валялся длинный, как алебарда, колун. Дровокол прыскал из канистры с бензином механику на измазанные солидолом ладони. В чёрном небе, куда унёсся сержант Карнаухов, не видно было звёзд; стояла, как уже говорилось, оттепель.

Дровокол развалил колуном мёрзлый штабель, взвалил баланы на козлы, волоча кабель, подтащил электропилу «Ваккоп». Дрова были плохие, еловые, придавил их ногой. Пила застрекотала, как пулемёт.

Куда струится время?

Вопрос, на который так же непросто ответить, как решить, глядя на гладь реки, в какую сторону влекутся воды, текут ли они вообще куда-нибудь.

Сколько лет прошло с тех пор? Что стало со всеми?

Кочегар подпал под амнистию пятьдесят пятого года и умер на воле. С дровоколом (ныне пишушим эти строки) приключился несчастный случай, после чего он числился инвали-

дом. Спустя некоторое время вызвали как малосрочника на комиссию по условно-досрочному освобождению, было это через два года после того, как окошел Великий Ус. Дровоколу выдали справку об освобождении с запрещением прописки в областных городах.

Но на самом деле, куда девался Вождь, неизвестно никому. Первое время кантовался в мавзолее; потом выгнали: выяснилось, что не умер, а усоп летаргическим сном. Говорят, живёт где-то.

Листратиха, таёжная Астарта, скончалась после домашнего аборта, выполненного всё той же бабусей, только на этот раз истекла кровью и была привезена за сорок вёрст в больницу бездыханной. Князь, начальник лагпункта, допился до белой горячки, однажды увидел у себя в кабинете мелких зверей, нечисть лезла из углов, из-под двери, царапалась в окно и соскальзывала со стёкол; капитан стащил с ног сапоги, хотел гнать вон, сидел на столе, стуча зубами от озноба, в комнату бежала Анна Никодимова. Что произошло дальше, не ведаем.

Судьба айсора-гадателя была удивительной, как и его профессия: удалось узнать, что, отбыв срок, он уехал в Балаклаву, нанялся под чужим именем на торговое судно матросом, добрался до Ашшура. Пал ниц перед каменным идолом своего бога, благодаря чудесному дару пошёл в гору, к концу жизни был придворным звездочётом царя Ашшурбанипала.

Кум Щаяюк получил третью звёздочку на погоны, но дело о неразысканном сержанте продолжало тлеть в Оперотделе, сыпались запросы, приезжала комиссия. Щаяюк подал на увольнение и двинул на юг. Там ждала заочная невеста, но, кажется, не склеилось. Года через два кто-то встретил Василия Сидоровича в рабочем посёлке на Урале: бывший уполномоченный работал завклубом. Ему удалось списаться с известным поэтом, инвалидом Отечественной войны Эдуардом Асадовым, поэт выступал в клубе на обратном пути из Челябинска, было много народу.

О механике известно, что на том свете он вернулся в лагерь, встретил там старого друга Карнаухова. Бывший сержант сидел за самовольное оставление поста и дезертирство из мест заключения. Ночью на нарах резались стирками, то есть самодельными картами, Карнаухову не везло: проиграл френчик, шкары, валенки б/у, свою прожжённую у костров телогрейку и пайку на десять дней вперёд. И уже ничего не было

жалко, игра пошла по-крупному, проиграл место на нарах, потом секцию, барак со всеми обитателями и уже под утро, перед самым разводом, проиграл всю потустороннюю зону с вахтой, конторой, столовой, хлеборезкой, с бараками и кондеем, с попками на вышках, с нарядчиком, с помпобытгом, с кумом, секретаршей и покойным начальником лагпункта капитаном Сивым, который так и не стал майором.

Князем слава и дружине! Аминь.

III

Глухой, неведомой тайгою (Мф. 12:43-45)

Накануне

В первые дни ноября, когда праздник с размаху, как грузовик в толпу, врехался в скучные будни, когда угрюмая толпа осаждала магазин для вольнонаёмных, когда досужие зрители, задрав головы, следили, как над крыльцом клуба поднималось на канате усатое лицо, когда повсюду, в столице и на окраинах тайного княжества, как никогда, чувствовалось единое биение обнимавшей всех, высшей и согласной жизни, — в один из этих дней секретарша Анна Никодимова принимала из Управления предпраздничные телефонограммы. Она сидела одна в кабинете начальника, прижимала к уху трубку, другой рукой торопливо записывала.

Было одиннадцать часов утра; она вышла с книгой телефонограмм в коридор. Рабочий день был в разгаре, в бухгалтерии безостановочно щёлкали счёты, из комнаты плановиков короткими очередями вёл стрельбу арифмометр, сизый дым тянулся полосами из приоткрытых дверей. Она прошла до конца коридора, где за особой дверью была ещё одна, обитая дерматином. Анна Никодимова надавила на ручку.

Без страха вошла она в эту келью, окружённую мрачной и загадочной славой. Хозяин сидел за столом, у него было худое лицо подростка, острые, как у крысы, глаза; подняв голову от бумаг, он улыбнулся железной улыбкой, скользнул взглядом сверху вниз от пухлой шеи к коротким прочным ногам секретарши и от ног к шее; Анька приосанилась.

Оперативный уполномоченный принял книгу телефонограмм. Анька облокотилась рядом — читать вместе, её грудь выдавилась в вырез платья. Сама собой рука уполномоченного потянулась и пошлёпала по заду. Анька хлопнула ладошкой по его руке. В течение этой немой сцены блестящие, как серебро, сапоги уполномоченного, ни на минуту не останавливаясь, играли под столом.

Чтение было окончено. Она вышла из кабинета и горделиво понесла по коридору своё маленькое пышное тело.

Из Управления был спущен план мероприятий и особо, под грифом «Секретно», инструкция по усилению режима в праздничные дни. Всё это было известно заранее, повторяясь из года в год. Всё шло само собой. Посёлок украсился флагами. Портрет в еловом обрамлении, написанный заключённым живописцем много лет назад, лишь подновлялся от случая к случаю, — тот, кого он изображал, был неподвластен бегу времени. В магазин привезли бочку пива. В клубе, в махорочных облаках, была отсижена торжественная часть.

Тут прослушали в обалделом молчании доклад великого князя. Дружно грохнули аплодисменты, после чего порядок расстроился. Все зевали и блаженно потягивались, солдаты цыкали слюной, перешагивали через скамейки, слышался хохот играющих в тычки и в микитку. С трибуны махал руками начальник культурно-воспитательной части. Скоро все скамьи и табуретки были сдвинуты в сторону, и там, где гремел проспиртованный бас капитана, зашипели и разлились на весь клуб родные доверенные Брызги шампанского. С улицы вошли тётки из ближней деревни — они давно уже дожидались на крыльце, — мягколицые, большеглазые, в белых платочках, не девки, но и не старухи; переговаривались певучими голосами, робко выстроились у дверей. Парни в зелёных бушлатах с тряпичными погонями — от иных уже веяло выпитым одеколоном — неловко, как по нужде, приблизились к женщинам. Начались танцы.

Офицеры кисло подмигивали друг другу. Пальцем — по кадыку: не пора ли? Время было покидать подопечный личный состав.

Вечер наступил, и в пустом небе над посёлком взошла луна. Ни звука не раздавалось из-за высокого частокола, обвешанного лампочками. Над ярко освещёнными глухими воротами на вышке, венчающей домик вахты, стоял часовой. Дверь внизу

отворилась, вышел дежурный надзиратель и не спеша спустился с крыльца. Издалека, из клуба, доносились слабые звуки патефона, где-то близко повизгивали и ворчали собаки. Дежурный растопырил полы кургузого бушлата, расставил ноги и, брызгая сверкающей струёй, совершил малое дело.

Начальники с разных сторон, с жёнами и по одному, сходились к терему князя. Рысцей бежал начальник культурно-воспитательной части. Степенно шагал командир взвода. Тащился спецчасть. Загремел внешний засов вахты, спохватившись, дежурный подтянул штаны. С крыльца сходил оперативный уполномоченный, и дежурный поспешно отдал ему честь. Теперь со стороны клуба было слышно заливистое и отчаянное пение, донёсся скрежет аккордеона. Праздник был в разгаре. А здесь, у ворот, всё было мертво и спокойно. Уполномоченный только что закончил работу. Хрустя серебряными сапогами, прямой и серый в длинной шинели как бы из обветренного металла, он твёрдо промаршировал по дороге, короткая его тень, пошатываясь, бежала за ним.

Пир

Шесть пар — капитан Сивый с женой, спецчасть с Анной Никодимовой, начальник КВЧ с толстой и чернявой, нерусского вида супругой, ещё несколько начальников с жёнами, а также единственный считавшийся холостым оперуполномоченный — расселись вокруг стола, испытывая обычное в таких случаях сложное чувство неловкости и возбуждения. Командовала Анька. Налево от себя она поместила мужа, справа водрузился великий князь, угрюмо взиравший на гостей из-под косматых навесов. Напротив, глаза в глаза, — опер.

На столе стоял взвод бутылок, чудо этих мест, где сухой закон, декретированный указом из Управления, обрёл на одеколон всю потребляющую дружину.

Устраивались долго, кого-то ждали, чего-то не доставало; то и дело женщины, взмахивая цветастыми платьями, выскакивали из-за стола. Возвращались озабоченные, с блестящими глазами, запихивая платочек под мышку, под тугие резинки коротких рукавов.

Стали наливать.

«Луকেরья! — сказал капитан. — Ты что это?»

Девочка съежилась под его взглядом. Все смотрели на княжескую чету.

«Всякое даяние есть благо!» — сказал весёлый начальник культурно-воспитательной части.

«Да не стесняйтесь вы, барышня, — Анька вмешалась. — Мы тут все свои.. Небось в деревне-то от самогонки не отказывались!»

«Какой самогон — они там московскую глушат», — съязвил кто-то на другом конце стола.

«Ладно!» — отрезал капитан.

И к КВЧ:

«Налей ей наливки».

«Ну-с, хе-хе... с праздничком...» Все потянулись друг к другу с рюмками, забрякали вилками. Стальные зубы капитана врезались в ветчину. Рядом равномерно, неутомимо блестящие ровные зубки Аньки Никодимовой перемалывали краковскую колбасу, кислую капусту, селёдку. Муж, начальник спецчасти, нетрезвый с утра, печально ковырял вилкой в тарелке. Так, в неопределённом полумолчании прошло минут десять, в течение которых успели чокнуться ещё раз. Понемногу обрывки фраз перешли в слитный шум. В светёлке великого князя как будто включили яркий свет. Голоса поднялись на октаву выше. Стало жарко. Офицеры, один за другим, расстёгивали кители. Круглая, обтянутая шёлком нога Аньки Никодимовой — туфля-лодочка свалилась на пол — заклинилась между сапогами уполномоченного.

«Василий Сидорыч! — Начальник КВЧ, улыбаясь, стоял над ним с бутылкой. — Поскольку вы у нас человек новый, разрешите ваш бокальчик! У нас по-простому, все мы одна семья. Вот и таищ капитан тоже...»

Чей-то голос пояснил:

«Своя кобыла, хошь мила, хошь немила».

Постепенно развязались языки, пошёл задушевный разговор. «Эн, как вы меня расписали, лейтенант дорогой, — лениво-небрежно говорил немного времени спустя оперативный уполномоченный, развалиясь на стуле. — Вас послушаешь, я не человек, а ворон хищный. Падалью питаюсь... Согласитесь, другой на моём месте был бы куда хуже... Наша работа знаете, какая? Да я, если на то пошло... я на любого из присутствующих дело могу оформить... Хоть завтра! Небось у каждого рыльце в пушку!»

«Вы это, простите, кого имеете в виду?» — спросил осторожно КВЧ.

«Да хоть тебя!»

«Ну, это, знаете ли, — проговорил КВЧ, улыбаясь вымученной улыбкой, — это, знаете...»

«Мальчики, ну что же это! — капризно сказала секретарша. — Занялись там своими разговорами, а девушки скучают!»

«Девушки плачут, девушкам сегодня грустно. Ми-илый на́долго уехал. Эх да, милый в армию уехал! — запел, оправившись, начальник КВЧ, балетным шагом обогнул стол и приблизился к Анне. — Позвольте вас на тур вальса!» Она поспешно совывала ногу в туфлю.

Кто-то уже крутил ручку патефона, точно заводил грузовик. Лейтенант КВЧ победоносно обхватил свою даму. Уполномоченный равнодушно закурил. Трра-та-та! — заиграла музыка, оркестр исполнял «Брызги шампанского», и первая пара, качая, как коромыслом, сцеплёнными руками, побежала в угол. Там остановились, лейтенант вильнул бёдрами, ловко развернул Аньку и бегом назад.

Из угла краснлица супруга сурово поглядывала на него.

Составились новые пары. На столе среди грязных тарелок спал начальник спецчасти.

Чей-то голос слышался: «Нет уж!»

С танго перешли на фокстрот.

«Нет уж, извини-подвинься! А раз виноват, так и отвечай за это. Так тебе и надо, едрить твою!»

« Говоришь, виноваты? — сказал начальник лагпункта, и спиртовый бас его перекрыл все звуки. Капитан Сивый сидел за столом, лицо и шея его были красны. Под густыми бровями не видно было глаз. — Вон сейчас, — он повёл бровями в сторону окна, — выпусти всех, а вместо них сам садись со своею шоблой. Думаешь, разница будет? Виноваты, — повторил он. — Работать надо, лес пилить — вот и виноваты.»

Капитан искал что-то глазами, не обращая внимания на сидевшего напротив уполномоченного, который спокойно слушал его.

«Ладно, — сказал князь. — Развели тут философию... Вон мою дуру приглашай. Луша! Ты б потанцевала, что ли.»

Он нашёл пустой стакан, выплеснул остатки и, налив себе три четверти, выпил. Брови полезли наверх, придав лицу капи-

тана выражение неслыханного удивления. Из выпученных склеротических глаз выступили слёзы. Капитан набычился и грозно прочистил горло. Втянул воздух волосатыми ноздрями и зашел:

«Глухой, неведомой тайгою! Сибирской дальней стороной!»

Хор подхватил:

«Бежал бродяга с Сахали-и-ина!..» — так что патефон потонул в грохоте шквала. Пронзительно, как свист ветра, заголосили женщины.

Капитан встал. В упор, налитыми кровью глазами, взглянул на уполномоченного, точно впервые увидел его. Тот сидел, отодвинувшись от стола, нога за ногу, поигрывал носком сапога.

Хор умолк. Капитан налил снова три четверти. Глядя на него, налили подчинённые.

«За здоровье... — он оглядел всех. — Нашего. Любимого. Товарища...!» — рывкнул капитан. Он назвал имя того, за которого выпивала сегодня вся страна, и могучим жестом опрокинул всё в рот. Стаканом — крепко об стол. Озабоченно, нюхая волосатый кулак, обежал глазами стол, нашёл селёдку. Вилкой — тык! Сел, жуя.

Напряжение спало. Кто-то добродушно корил соседа: «Э, нет, Васильич, давай до дна. Такой гост!»

«Ну и что, — проговорил уполномоченный. — Люди как люди».

«Это верно», — согласился кто-то.

«Вась, а Вась, — сказал КВЧ. — Васюня... Выдай-ка для души».

Патефону отвернули шею, командир дивизиона уселся с гармонью у стены. Он склонил голову набок, инструмент издал жалобный жестяной звук, пискнули верхние регистры. Командир взвода, согнутый над мехами, тряс вихром и топтал сапогами.

«Едрить твою!»

Анька Никодимова, секретартарша, с места рванула чечётку. Цыганочка чёрная, цыганочка чёрная, эх, эх, погадай! Едва дыша, встряхнула короткими волосами, обожгла мужиков всплеском полных грудей, мелко, мелко застучала литыми ножками. Под платьем мелькала её комбинация. Так, мелко перебирая ногами, Анька подъехала к уполномоченному, развела руками и, плеснув в ладоши, грохнула каблучную дробь. Опер встал, тоже развёл руками, выпятил грудь и пошёл на Аньку.

«Лушка!» — прохрипел капитан, не спуская с секретарши выпученных глаз, и притянул к себе щупленькую жену. Гармонь заливалась, как сумасшедшая. Начальник культвоспитательной части, в расстёгнутом кителе, пошёл вприсядку. Подле него, загнув кренделем руку, тряслась чернобровая супруга.

Будни

Осенью 1951 года рабочее время уже было ограничено законным пределом, и съём — конец работы — был такой же священной минутой, таким же долгожданным событием каждодневной жизни, каким он всегда был для большинства людей на свете.

Рабочий день кончился. Теперь все спешили. Мешок времени, который они тащили на плечах весь бесконечно тянувшийся день, прорвался, посыпались минуты, это было не казённое, тягостное, никому не нужное, но своё кровное время, и каждая минута была необыкновенно дорога. Все торопились: и рабочие, и те, кто их сопровождал, и незачем было кричать им: «Шире шаг!» и «Не растягивайся», — они сами гнали перед собой тех, кто их вёл. Положенное предупреждение было пролаяно наспех, до задних рядов донеслись обрывки тарабарщины: *...пытку к обеду, вой меняет уши...* — на самом деле говорилось, что при попытке к побегу конвой применяет оружие. Никто и не собирался бежать. Никто не слушал, торжественность этой формулы выдохлась от ежедневного повторения; головы людей были низко опущены не оттого, что всех удручало зловещее напутствие, а потому, что надо было смотреть под ноги, чтобы не споткнуться на шпалах, не отстать от соседа, не налететь на идущего впереди. В сумерках уходящего дня колонна семенила домой из рабочего оцепления по насыпи лагерьной узкоколейки, издали напоминая полчище крыс, спасающихся от потопа.

Рабочий день кончился, и теперь, когда они шагали, понурившись, все вместе, командиры производства и бригадная рвань, — они были равны между собой, в любого из них голос с лающими интонациями мог швырнуть бранный мат, и команда «Ложись», если бы она раздалась, не миновала бы самых высокопоставленных. И хотя это редко случалось во время вечерне-

го марша, когда и конвой дорожил каждой минутой — поскорей вернуться в казарму, — сама возможность расправы, одинаковая для всех, объединяла людей.

Единая мысль и общее желание вели вперёд колонну, и такова была сила этой толпы, что последние влеклись уже как бы невольно, замыкающая пара конвоиров, путаясь в полах шинелей и тоже глядя вниз, с повисшими книзу дулами автоматов, почти бежала следом за равномерно покачивающимся и неудержимо уходящим вперёд строем серых бушлатов.

В толпе царило усталое возбуждение — подобие радости. Позади был день, проведённый в трясине снега, воды и грязи, и тем ощутимей было блаженство вольного шлёпанья разбухшими валенками по твёрдой дороге. Короткие реплики, лапидарный мат, ухмылки, мелькавшие на кирпичных от загара лицах, выражали меру благодушия, на которую ещё были способны эти иззябшие души, выражали готовность потерпеть и прошагать сколько надо (ведь идти — не работать), пока, наконец, не покажется вдаль вожделенная зона, ограждённая тыном, охраняемая рядами колючей проволоки, прожекторами и часовыми на вышках. Пока их снова не пересчитают и не впустят в ворота.

В этом предвкушении, изнеможённые, они были расположены к необычным надеждам. Фантастические слухи волновали толпу, обрывки откуда-то налетевших известий, слухи об отмене уголовного кодекса, о болезни Вождя, наплывали волнами, как запах гари; вдруг охватывало предчувствие чего-то ещё не опубликованного, и сладкая дрожь пробежала по рядам, ждали знамения, чуда. То вдруг узнавали, что вышел приказ — не рубить больше лес. То шла молва о войне и скором приходе американцев. То об амнистии.

Но лес по-прежнему падал под пулемётное стрекотанье электропил — и завтра, и послезавтра, и всё так же воздвигались штабеля на складе, и грузились составы. Вождь был здоров и не старел, судя по портретам. Война тлела где-то далеко и не сулила избавления.

Они грезили — глухо, упорно — о возмездии. Мечтали: загремит засов, распадутся ворота, и толпа, объятая злобной радостью, выбежит из постылой зоны и забросает псарню и всё начальство сухим окаменевшим говном. Должен же был кто-то ответить за «всё это».

Но кто был в этом виноват?

Однажды случилось — подломился намест в отхожем месте, и человек свалился в яму. Он упал и барахтался там, покуда не собралась толпа. Задышающегося, окоченевшего подбадривали:

«Не тушуйся, Рюха, небось не привыкать. Гребни к берегу!»

Другие были восхищены: «Во, бля! И не тонет!»

Выломали длинную лежню из лежнёвки, проложенной для подъезда золотарю позади выгреба, сунули в пролом, несчастный вылез со зверскими ругательствами. Он стоял посреди образовавшейся вокруг пустоты, развесив руки, и на чём свет стоит поносил суку-помпобыта.

Но помощник по быту был не виноват, сколько раз он докладывал капитану, что помост сгнил.

А капитан? Он тоже был ни при чём: сверху спущен был приказ перебросить бригаду плотников в другое место, кроме них, никто не имел права входить в зону с гвоздями и топорами.

Высшее же руководство и вовсе не могло отвечать за случившееся, слишком уж было оно высоко, и было частью сложного механизма, и вращалось вместе с ним. Чем дальше, тем очевидней становилось, что ни один начальник, вообще никто в отдельности не виноват. Везде зло и насилие носили характер почти сверхъестественный и неподвластный людям, хоть и были строго организованы. Конус уходил ввысь, к облакам, на его вершине восседал Вождь. Но разве мог он отвечать за подгнившие доски?

Было уже совсем темно; в сиянии тусклых лампочек, висевших над частоколом и вахтой, они стояли перед раскрытыми настежь воротами, со злобой и завистью смотрели на музыкантов, исполнявших Марш военно-воздушных сил, «всё выше, и выше, и выше», знакомый жестяной мотив. Их всё ещё пересчитывали.

Но это были последние минуты. И когда, теснясь и толкаясь, и крича прорвавшимся вперёд, чтобы заняли местечко, люди побежали мимо спальных барачков к столовой и впихнулись в полутёмный зал, пролезли между скамьями и уселись за длинными, пахнущими кислой тряпкой столами, плечо в плечо, шапка между коленями, — настал конец их равноправия. В парном тумане могучие краснорожие подавальщики несли подносы с четырьмя этажами оловянных мисок в дальние углы, откуда сорок голосов орали им номер бригады. Доверенные старосты получали в окошке пайки хлеба. Вступил в дей-

ствие закон лагеря, по которому блага жизни отмеряются в точном соответствии с сословным положением. Кому положена была глыба, кому кирпичик.

По Сеньке и шапка, древнейший закон Руси.

Никто не возмущался. Никого не удивляло, что помбригадира, который весь день ходил да покрикивал, и учёточник, чиркавший карандашиком, время от времени макая в рот, на торцах окорённых и распиленных брёвен, и производственный художник, малевавший лозунги, загребают полные ложки густой жирной жижи, а тот, кто вкалывал, втыкал, горбатил, ишачил, упирался рогами, — вылавливает картошинки из зелёной воды. Никто не находил странного в том, что бригадира теперь вовсе не было среди них. Бригадир сидел в тёплой кабинке с мастером леса, нарядчиком и помпобытом, и все четверо ели жареное и журчащее с большой чугунной сковороды. Не власть и авторитет давали им право есть жареное, наоборот: авторитет их был основан на том, что они сидели в тепле и ели жареное.

Зычный голос раздался из раздаточной амбразуры, староста сорвался с места и вернулся с миской жёлтых и осклизлых килек, Он протискивался между рядами и клал щепотью на стол перед каждым кучки тускло-ржавых рыбок. Староста знал точно, кто из сидящих — человек, а кто — букашка, кому полной горстью, а кому пальцáми. Люди с наслаждением жевали и глотали кильки с головами и хвостиками. Зубами утопали, как в глине, в хлебном мякише; подле амбразуры, в хлеборезке, позади стола с весами и гирьками и ящика с ножами и нарубленными колышками для насаживания довесков хлеборез поливал буханки водой, чтобы они весили тяжелей.

Доставали ложки: из-за пазухи, из валенка, из ватных штанов; у кого алюминиевая, у кого деревянная, у кого и самодельная. Склонившись над столами, молча ширкали ложками — длинный ряд согбённых спин. У иных не было вовсе орудий еды — ложки крали, как и всё прочее, — и они пили, обжигаясь, через край, догребали обмылки картошки хлебной коркой. Потом поднимали почернелый оловянный сосуд и, закрыв лицо, как близорукий держит книжку, сопя и задыхаясь, страстно высасывали остатки.

И всё же они не были последними на общественной лестнице. Вдоль стен стояли мисколизы, мрачными провалившимися глазами смотревшие на едоков. Ждали, когда подадут второе

блюдо. Здесь была своя конкуренция, от одного привилегированного могло остаться больше, чем от всего стола рядовых работяг; от тех-то ничего не оставалось. Миски, измазанные кашей, рвали друг у друга из рук.

Сытые и довольные, выбирались из-за столов, близились блаженные минуты — их ожидал ночлег; бригада сидела на полу, перед печкой и между нарами; кряхтя, стаскивали с ног рыжие эрзац-валенки, тесные в голенищах и растоптанные внизу, разматывали сырые портянки, расковыривали завязки ватных штанов. Занималась очередь за окурком.

«Ты! Покурим».

«Покурим, морда...»

«Корзубый, покурим!»

Так дымный чинарик, кочуя из уст в уста, превращался в ничто между пальцами, в искру, угасшую на потрескавшихся и обросших шелухой губах. Покурив, выпрастывались из набухших портов, оставлявших лиловые пятна на подштанниках сзади и на коленках. Старик дневальный, нацепив груды одежды на коромысло, собрался нести их в сушилку.

В это время в репродукторе, висевшем на столбе барака, раздавался звук, похожий на хруст разрываемой бумаги. Кто-то дунул в микрофон, и на всю секцию разнёсся голос начальника культурно-воспитательной части. Стараясь подражать обыкновенному радио, ежедневно гремевшему о трудовых подвигах по всей стране, КВЧ говорил так, словно обитатели бараков были обыкновенные рабочие и работали в обыкновенном лесу, и поэтому возникало подозрение, что обыкновенное радио на самом деле говорит о заключённых. Никто, само собой, не слушал. Все жались к печке, к её тёплому брюху. Несколько человек сидели на короточках перед дверцей, протянув ладони, устремив глаза на огонь. На одну короткую минуту все почувствовали себя одной семьёй. Начальник умолк, и жестяный оркестр, сидевший там наготове, грянул «Всё выше». Внезапно, заглушая радио, в сенях загремели сапоги. Люди вскочили и выстроились на черную поверку.

Поздно ночью один дневальный сидел за столом, повесив голову, под тусклой лампочкой, окружённой туманом. В углу за печкой Корзубый на нарах, поджав чёрные ступни, играл с кемто в рамс самодельными картами, которые стояли две пайки хлеба. Корзубый был совсем без зубов, с седой бородой: хотя на

голове иметь волосы было не положено, о бороде в лагерных инструкциях ничего не говорилось. Игроки молчали, слышалось шмыганье носом и скрип нар. Потом храп спящих, усиливаясь, как непогода, заглушил все звуки.

Явление

И тогда на краю болот, занесённых осенними снегами, появился Беглец.

Лагерный эпос знал свои блуждающие сюжеты и свои вечные образы. Доходяга-пеллагрик, герой анекдотов, прозрачный и шелестящий, как крылышко стрекозы. И неунывающий Яшка-бесконвойник, таёжный Ходжа Насреддин. И начальник-джинн. И герой-производственник, Голиаф с формуляром, — он толкал составы, носил на плечах деревья, своими руками, когтями вырыл в земле Волго-Дон. Но ни один герой не был так живуч, ни одно сказание не возобновлялось с таким постоянством, как это.

Не сомневались, что Беглец существует на самом деле. Одинокая фигура, бредущая, как мираж, раздвигая колючий подросток, — стреляй в него, трави его собаками, он всё ещё маячит вдалеке, и всегда находились очевидцы, видевшие его своими глазами. Вот как от меня до того поля. Или хотя бы слышавшие, но уж от несомненных свидетелей. То был некто без имени, без возраста, не то чтобы уж очень молодой, но и не старый, вот как ты, только чуток повыше, ж... вислая, идёт-оглядывается; некто не слышащий окриков, неуязвимый для пуль. Рассказывали: ночью следил из чащи, как веди на станцию погрузколонну. Рассказывали: однажды солдат-азербайджанец, в морозную полночь дремавший на вышке, открыв глаза, увидел его совсем близко; выходит, и псарня верила в Беглеца. Опомнившись, попка с вышки дал очередь — человек-волк повернулся и побежал, и следов крови не оставил. Итак, вновь и вновь легенда оживала под видом события, происшедшего недавно и недалеко. Слухи, сочившиеся, как почвенные воды, питали её. Всё рассасывалось в студнеобразном времени: сенсационные параша, вести о групповом побеге с концами, во главе с каким-то бывшим майором и Героем Советского Союза, рассказы о целом транспорте заключённых, ушедшем в Японию, о восстании на Севере, подавленном с самолётов, — но

при этом успели смыться несколько сот человек, — всё тонуло в мёртвой зыби вседневного существования, исчезало из памяти, окутывалось непроницаемой секретностью, — а басня-правда, дивное видение тлело в сердцах, поднималось из сумрачных глубин мозга и торжествовало над эфемерной правдой, рассыпавшейся в прах.

Но начальство знало, что ни одного неразысканного не числилось, по крайней мере, в нашей округе. Понимало, что, открой сейчас ворота — побежит не каждый. Некуда бежать! И, однако, удивительным в этом предании было не то, что Беглец остался не пойман, что никто, увидев, не донёс и, непопознанный, он ускользнул и от местного, и от областного, и от всесоюзного розыска, профильтровался сквозь все фильтры и при этом даже лагерного тряпья не сменил. Нет, удивительным и непостижимым было то, что он вернулся. Он вернулся, но не с простреленными ногами, не изорванный овчарками и не исполосованный до полусмерти. Он вернулся *сам*. Каждый из тех, кто день за днём, разбуженный зычным матом нарядчика, сползал с нар и садился на пол обматывать ноги портянками, и пил баланду в выстуженной за ночь столовой, и влёкся в крысиной толпе по шпалам узкоколейки в рабочее оцепление, — каждый с тоской думал о том, что даже тот вернулся в страну Лимонию, кого никто не поймал. Очевидно, что тут скрывалась некоторая мораль, а то и мудрость. Быть может, она и была единственной правдой.

Беглец вышел из леса. Перед ним лагерь скорби вознёсся в кольце огней, обнесённый глухим частоколом и рядами колючей проволоки. Не видно было никого, и никого не слышно. С угловой вышки бил по запретной полосе прожектор. Поодаль мерцали редкие огоньки посёлка вольнонаёмных. Беглец прошёл два-три шага и провалился в снег. Осмотрелся полным тоски взглядом. Лагерь, сияющий огнями, был мёртв — ни единого звука не доносилось из зоны.

Беседа

В это время оперативный уполномоченный, с некоторых пор переименованный из младшего лейтенанта в лейтенанта, сидел в своём кабинете, в конце длинного, теперь уже тёмного коридора конторы. Ночное бдение придавало особую значи-

тельность его трудам. Посетитель, когда входил и садился в углу на особый стул, испытывал, при виде папок с делами и нависших над ними золотых погон, сосущее чувство беспомощности и мистической вины.

Сам великий князь не вызывал таких чувств. Длинная, покроя, сохранённого со времён первых лагерей, шинель капитана Сивого, возвышаясь по утрам на крыльце вахты, откуда начальник лагпункта, как полководец, следил за выступлением своего войска, внушала трепет, но и симпатию. Народная молва передавала рассказ о том, как однажды, накануне праздника, капитан выпустил из кондея всех находившихся там. Между тем у кума в зонной тюрьме было образцовое хозяйство, подследственные сидели по камерам в тонко продуманных сочетаниях. Капитан разогнал всех. Доходягам-отказчикам, недостаточно быстро выбиравшимся из узилища, досталось ещё и пинком под зад. Воображение людей пленялось этим свирепым великодушием. Хитро-безумный взгляд слезящихся оловянных глаз и алкогольный юмор великого князя заключали в себе нечто родное. Самое имя капитана звучало как лагерная кликуха. И возникло странное единение начальника и народа перед лицом тайной власти оперуполномоченного.

Капитан был, при всей жестокости, то, что называлось человек. Опер походил на оживший плакат: пустое мальчишеское лицо, белёсые волосы. И не было у него ни имени, ни фамилии, а только чин и прозвище, и оно, это прозвище — кум — означало существо и родственно-близкое, и нечто иное и высшее. Ибо это был пернатый дух, который мог сидеть за столом, читать донесения и писать протоколы, а мог летать в ночи, распластав когтистые крылья.

На стене ровно и безостановочно постукивали часы. Сапоги уполномоченного поигрывали под столом. Прошёл уже целый час после того, как он сверил установочные данные: фамилию, имя, год рождения, номер статьи и срок. Кум листал бумаги, открывал и закрывал папки. В углу сидел Степан Гривнин, сучкожог, судя по обгорелой вате, торчащей из дыр бушлата, и медленно погружался в свой стул. Ошеломление первых минут прошло, в тепле и тишине, под брызжущим светом, преступник оцепенел, как жук, уставший дёргаться на булавке. Всё ещё было неясно, зачем его вызвали.

Гривнин не принадлежал ни к одному из лагерных сословий, следовательно, служил примером тех, кто составлял лагерное большинство: одиноких, от всего оторванных и чуждых друг другу. Гривнин не был ни блатным, ни полуцветным, ни варягом, ни шоблой, ни духариком; не шестерил ни вельможам, ни вóрам — для этого он был слишком туп, мрачно-замкнут и не мог рассчитывать на покровительство. Он был просто мужик — в лагерном и в обыкновенном смысле этого слова: нагой и босой в своём прожжённом одеянии, козявка, человек-нуль, ходячий позвоночник, и они могли делать с ним всё что хотели.

Кто — *они*? Безжизненное железо, безымянное высшее начальство, те, для кого даже капитан, даже кум были только исполнителями, шавками. При мысли о высших силах в сознании брезжили не лица и не голоса, а лишь ряды блестящих пуговиц, фуражки и столы-бастионы, над которыми они возвышались. Этому начальству, чтобы повелевать, не нужно было показываться на людях, в своих чертогах они сидели и молча кивали лакированными козырьками, и одного такого кивка было достаточно.

Степан Гривнин не помнил за собой ничего такого, что он согласился бы считать преступлением, но он знал, что перед властью виноваты все. В тюрьме он как-то сразу удостоверился, что всё, что с ним происходит, — обман. Настоящее, действительное дело, в котором была записана его судьба, вершилось где-то в глубокой тайне, на других этажах, и там стояло работать. Горбить, втыкать, мантулить, ишачить; а все допросы и протоколы были просто видимостью дела. Все они: и следователи, и начальники следственных отделов, и начальники начальников, и прокурор, и вся собачня, да и сами арестанты, были участниками одного представления, вроде актёров в театре; было бы странно, если бы кто-нибудь заартачился. Для чего-то им всё это было нужно; должны же они чем-то заниматься. Но цель была одна — заставить его работать. Вол, обречённый всю жизнь работать — вот чем он был, и на лбу у него было написано: «Упираться рогами». Но им, сколько ни работай, всё мало. Потому-то и придуманы тюрьмы, и следователи, и столыпинские вагоны, и лагеря; а какую тебе пришьют статью, не имеет значения.

Раздался скрип — уполномоченный писал, навалившись мундиром на стол, — носки сапог задрались и замерли. Он пи-

сал заключение, вовсе не касавшееся осоловелого сидельца, по рапорту командира взвода о том, что бабы из деревни носят стрелкам самогон.

Тот, в углу, почти спал, угревшись в светлом кабинете под стук часов, и даже видел во сне уполномоченного, который хлопал себя по синим штанам и обводил озабоченным взором стол — искал спички. О чём говорил ему уполномоченный? Гривнин открыл глаза. Кум стоял перед ним, закинув голову. Прищурился, пустил вверх струю и следил за ней, пока дым не рассеялся.

«Вот так, брат Гривнин».

Произнося это странное обращение, оперативный уполномоченный сгребал со стола документы, завязывал тесёмки. Кое-что порвал и устроил маленький костёр в пепельнице — здесь всё было секретным, любая бумажка. Сел боком к столу, нога на ногу, сунул в рот папиросу.

«Так, говоришь, зачем вызывали?»

(Ничего такого Гривнин не говорил.)

«Ты на помилование не подавал?»

(Нет.)

«Странно. — Уполномоченный задумчиво курил. Потом взял со стола чистый лист, твёрдо зная, что оттуда, со стула, ничего увидеть невозможно. — Вот тут запрос на тебя поступил... Надо на тебя характеристику писать. А какую? Дай, думаю, посмотрю на него, кто он такой...»

Он приблизился, тряхнул пачкой «Беломора»:

«Кури».

Скорчившись на своём стуле, оборванец сумрачно взирал на лейтенанта. Он не мог подавить в себе тяжёлого, тревожащего недоверия к этим погоням, золотым пуговицам, тускло поблескивающим волосам с пробором, к этой хищной усмешке. Он ничего не понимал. Но, как собака по интонациям голоса улавливает смысл речи, он догадывался, что тут не угроза, а что-то другое. Он знал по опыту, что у «них» ласка бывает хуже ругани. От него чего-то хотели. Гривнин ненавидел дружеские разговоры. Доверительный тон мучительно настораживал. В любом проявлении человеческого участия был скрыт подвох. Любая симпатия была заминирована. Это был закон лагеря. Да пожалуй, и закон жизни вообще.

Но час был поздний. Тепло и тишина действовали одуряюще. Истома сковала Гривнина. И в этом безволии, как в гипнотическом сне, дурацкая, бессмысленная надежда поселилась в убогом мозгу пленника: что *ничего не будет*. Лейтенант, заваленный делами, уставший от долгого бдения, не станет ковырять — поговорит-поговорит и отпустит.

«Посылки из дому получаешь? — спросил кум. — Сало-масло, м-м?»

(Что он, придушивается? Посылки запрещены.)

«Могу разрешить».

(Пустое. У Гривнина всё равно никого не было.)

Помолчали.

«Э, брат Гривенник, не тужи, — снова заговорил уполномоченный. — Мало ли ещё как обернётся. Сегодня ты с формулярю, а завтра, может, и руки не подашь. Как говорится, кто был никем, тот станет всем... Тут, брат, такие события назревают... Ждём больших перемен. Ну, понятно, провести реорганизацию не так просто. Всё будет учитываться: поведение, отзывы. На каждого — подробная характеристика. Думаю, тебя включить. Ты как, не возражаешь? Небось, по бабе-то соскучился, а? Ух, по глазам вижу...»

Уполномоченный весь сморщился, точно хлопнул стопку, и покачал головой. Этот монолог сменился долгим молчанием, в голубом дыму витала железная усмешка кума, подсказывал его сапог, пальцы разминали окурок в пепельнице. На стене, как сумасшедшие, колотились часы.

«Ну вот что, Стёпа, — сказал уполномоченный строгим голосом, кладя ладонь на стол, — ты человек грамотный, долго объяснять тебе не буду... Хочешь жить со мной в дружбе — давай. Не хочешь — как хочешь. Твоё дело. Мы никого силком не тянем. Желающих с нами работать сколько угодно, только свистни».

(Уж это верно.)

«Я тебе помогу. На общих работах не будешь. Дам отдохнуть... Я так считаю, что ты для родины не погибший человек. Между прочим, мне лично не нужно твоих услуг, я и так всё знаю. А вот для тебя самого это важно, понял? Доказать надо, что ты, как говорится, заслуживаешь снисхождения».

«Твои уши — мои уши, твои глаза — мои глаза, понял? — продолжал уполномоченный. — Сюда ходить не надо, будешь писать записки и передавать...»

Он сказал — кому.

«А вздумаешь болтать, — подмигнул, — яйца отрежу!»

Кум наклонился и выдвинул нижний ящик стола.

«Ладно, заболтался я с тобой... На-ка вот, подпиши... — Это была подписка о неразглашении, узкий печатный бланк. Уполномоченный рассмеялся. — Да ты что, это же ерунда, формальность. Положено!»

Напоследок была подарена ещё одна папироса «Беломор». Ночной посетитель выбрался наружу через заднее крыльцо, торопясь и озираясь, но никто его не увидел. В пустом небе стояла одинокая сверкающая луна. Цепь огней опоясала зону.

Гривнин вошёл в секцию, не разбудив дремавшего за столом дневального, и прокрался в угол. Там, на верхних нарах, задрав бороду к потолку, храпел дед Корзубый на куче тряпья, которое он выиграл в эту ночь.

Анна Сапрыкина

Перед войной в деревне, откуда капитан взял себе жену, жил колхозник по имени Фёдор Сапрыкин. Все жители деревни носили одну и ту же фамилию. Все мужики были мобилизованы в один день.

На трёх телегах поместилось всё войско. Оторвали от себя простоволосых плачущих женщин и весь день, с поникшими хмельными головами, тряслись по лесным колдобинам до ближайшего сельсовета. Потом те же чавкающие по болотной жиже копыта потащили их в районный военкомат, прибавились другие подводы, и позади них погромыхивал, теперь уже по мощёной дороге, целый обоз мобилизованных. Никто из них не вернулся с войны.

Но не прошло и трёх лет, как явились другие — в накомарниках, с примкнутыми штыками, волоча усталых и отощавших собак. Разбившись на кучки возле костров, они со всех сторон окружили болото, где по щиколотку в воде стояла первая партия заключённых. Баб, пробирававшихся домой мимо

трясины, отгоняли ружейными выстрелами; вышло разъяснение: строится большая стройка, сведений не разглашать, близко к вышкам не походить, за нарушение — *поголовная* ответственность.

Новые партии прибывали издалека. В тайге трещали падающие деревья, мерцали огни костров. По свежей гати начали пробиваться грузовики. Взошло тусклое кривобокое солнце, и на открывшейся заблестевшей равнине узкой грядкой между кюветами, залитыми водой, протянулась насыпь узкоколейки. Первый свисток изумил слух. Вокруг расстиралось кладбище пней, это было всё, что оставалось от вековой чащи, а поодаль находилось кладбище людей.

Комары тучей кружились над грубо сколоченными вышками-раскоряками, на площадках стояли, как в клетках, с оружием наперевес, стрелки внутренней службы, довольные тем, что их не погнали на фронт. Мошкá облепляла солдат на подножках вновь и вновь подходивших составов; издалека, за сотни вёрст дотянулась досюда главная железная дорога — лагерь, подобно хищному агрессивному государству, раздвигал свои владения, покоряя местные племена. В центре трясины, в десяти верстах от деревни, окружённое частоколом и сияющее огнями, словно там был вечный праздник, воздвиглось то, к чему пуще всего не полагалось подходить. Теоретически говоря, о нём вовсе не следовало знать.

Но женщины знали — смиренные, они знали о том, чего не знал или не хотел знать весь свет. Привыкли, пробираясь по краю кювета, видеть издали поспешавших по шпалам смуглых вожатых с самопалами поперёк груди и следом колышущуюся серую массу. Новая цивилизация подчинили себе их вековую агонию, и понемногу их сирая жизнь, их певучая речь, манера здороваться с незнакомым встречным, плетёный короб за плечами и вконец развалившийся колхоз превратились в архаический придаток громадно разросшегося лагерного организма. Лагерь ободрил их существование, поселил рядом с ними тысячи мужчин, чьи взгляды будили их завядшую молодость.

Между тем голод утих, бригады труповозов были распущены, заросли подлеском поля захоронения, понемногу лагерь смерти превращался в лагерь жизни. Уже не привидения, а

кирпичнолицые лесорубы шагали по шпалам в первых рядах крысиной колонны. И стрекотание электропил, неслышанно повысивших производительность труда, треск и грохот падающих стволов, лай овчарок и предупредительные выстрелы не пугали больше деревенских баб. В своих коробах они носили обитателям казармы плотно закупоренные, полные до гордышка бутылки зелёного стекла без этикеток из сельпо, носили детям хлеб из ларька для вольнонаёмных; лагпункт, этот малый потусторонний мир, самое существование которого было государственной тайной, для них стал частью быта, ни бояться, ни стыдиться его они не могли.

Давно уже тело Фёдора Сапрыкина смешалось с землёй на полях некогда знаменитой Курской дуги. Полёг под шквальным огнём и весь тот обоз, что катился по тракту под рёв лихих песен. Семья Сапрыкина между тем жила и приумножалась. За десять лет, прожитых без мужа, Анна Сапрыкина не то чтобы постарела, но раздалась и осела как бы под грузом; черты лица её, крупные и нежные, утратили определённую форму, глаза стали меньше и покойнее, углы мягкого рта опустились. Тёмнорозовая кожа казалась молодой и немолодой.

День Анны Сапрыкиной начался, как всегда, до рассвета: из-под занавески высунулась её белая и полная нога, нащупала шаткую лесенку; в темноте Анна слезла с лежанки, отыскала в печурке спичечный коробок, прошлась, разминая сухие ороговелые пятки.

Толстыми пальцами она выбрала спичку, чиркнула — вверх взвилась струйка копоти, она подкрутила фитиль. Осветились стол, лавка, большая печь, стали видны старые фотографии, часы-ходики и сама Анна в рубашке, с тощей косицей, мягколицая, с большими, точно испуганными глазами. За ситцевой занавеской наверху спали её дети.

Она прошла за печку, прикрывая ладонью красноватый червячок коптилки. Жестяным блеском засветился в углу прадедовский, закоптело-маслянистый образ, под ним мерцал подлампадный огонёк осветил белые руки Анны, поднятые к затылку, рот со шпильками и в провалах глазниц блестящие заспанные глаза. «Мати пресвятая, — шептала она, и шпильки шевелились во рту, — Богородица ласковая...». Тут же, не спус-

кая глаз с иконы, она совала голые ноги в валенки. Потом из-за пестрядинного полога, закрывавшего кухню, слышно было тихое брэнчание умывальника.

Выйдя оттуда, она полезла на лесенку, натянула латаное одеяло на спящих. Старший лежал на спине с открытым ртом, сжав кулаки. Маленькие сопели, уткнувшись головами друг в друга. Анна встала коленками на край лежанки и достала с притолоки чулки. Задела что-то — посыпались старые валенки, пересошие, сморщенные носки, портянки. Из-под лесенки стремглав вылетела перепуганная кошка. От ветоши шёл крепкий сухой дух, напоминавший запах поджаренных сухарей. Она сняла с гвоздя полушубок и вышла, хлопнув тяжёлой лверью, отчего на столе вздрогнул и заметался язычок копилки, повевая кисточкой копоти. В снях кромешная тьма, хозяйка уверенно нашла дверь, тут же возле крыльца справила малую нужду. В сиреновой мгле обвела сонными глазами свой двор, сарай, полуразрушенные ворота. За ночь прибавилось снегу. Изба стояла на краю деревни, за воротами начинался лес. Тишина и сон царили вокруг. Тишина и покой были в душе Анны.

Она воротилась, продрогшая, заткнув рубашку между ног. Оделась, подтянула гирьку часов и задула огонь.

Дети не проснулись, когда снова, со скрипом и пением захлопнулась за нею дверь. Анна ступала по узкой тропе между елями, погружаясь в серый, как простокваша, рассвет, опустив глаза, полная сдержанного, дремотного достоинства. В низко надвинутом платке, из-под которого выглядывал платочек, в изношенном полушубке, казавшаяся толстой оттого, что под полушубком была у неё ещё надета лагерная телогрейка, она была как все женщины этих мест, где молодухи казались старше своих лет, а пожилые выглядели млажава. Так она шла, пока не расступился лес и внизу открылась широкая и топкая дорога, по которой полчаса назад, сойдя с железнодорожной насыпи, прошлёпала производственная колонна.

За колонной должны были следовать отдельные штыки. Собственно, штыков уже не было, а были немецкие трофейные автоматы, которыми вооружено было охранное войско, под отдельным штыком подразумевалась подсобная работа вне

рабочего оцепления. Ждать не пришлось, наоборот, её ждали. «Стой, кто идёт!» — прокричал голос с восточным акцентом, раздался свист, и Анна Сапрыкина медленно вышла из-за деревьев. Внизу стояли два бушлатника, точно два коня, которым крикнули «тпру!» В руках у них были инструменты, на плечах висели мотки проволоки. На десять шагов позади, как положено, стояли два конвоира. Свидание происходило на лесной опушке, там, где деревенская тропа выходила на большак.

«Чего раскричался, аль не видишь», — она отвечала, стоя на пригорке, едва заметно откинувшись и выставляя себя, и ровно и радостно сияя серыми глазами.

«А я забыл!»

«Вспомни». Их разговор напоминал диалог двух актёров.

«Ходи ближе — поговорим!»

«Не об чем нам с тобой говорить, ступай своим путём».

«Погоди! Не спеши!»

«Погодить не устать, было б чего ждать. Вон, — сказала она, — начальник едет».

«За-ачем начальник? Какой начальник? Я сам начальник. А-а, хийлакар гадын, хитрий баба!» — закричал смуглый стрелец, пожирая Анну чёрными маслянистым глазами.

Капитан

Такова была жизнь в невидимом, как град Китеж, таёжном государстве; бессмысленная с точки зрения его подданных, она была, тем не менее, частью всё той же, обнимавшей всех общенародной жизни. И здесь не менялся однажды заведённый размеренный порядок трудов и отдыха, и такими же будничными и необходимыми казались повседневные дела людей, и погода была одна и та же, и время стояло на месте. Всё так же день за днём торопились смуглые провожатые за уходящими вдаль четвёрками серых спин по шпалам железной дороги. Всё так же везли по деревянной лежнёвке, проложенной в стороне через болото, брикеты прессованного сена для лошадей и мешки с крупной сечкой для лесорубов; в утренней мгле проплывали друг за другом, как призраки, костлявые ко-

ни, опустив крупные головы, покорно переставляя копыта, тряся грязными, как мочала, хвостами. Последний одёр, долговязый, костистый, с бесконвойным конюхом на продавленной спине, качался в конце колонны, и всё громадное шествие по шпалам и по лежнёвке медленно удалялось, тонуло в серомолочных далях, лишь кромка леса отодвигалась с каждым месяцем от лагпункта.

Там тоже всё шло по-старому. Озябшие часовые на вышках топотали подшитыми валенками и пели тягучие песни. По утрам жгуты белого дыма поднимались из труб, по три пары над каждым бараком, и во всех шести секциях босые дневальные с подвёрнутыми штанами стучали швабрами, гнали по полу грязную воду. Почти все они были инвалиды, кто слишком старый, кто сухорукий, кто с одним глазом, что давало им завидную привилегию не ходить на общие работы. В этот ранний час помпобыт — бригадир дневальных — ещё спал в своей кабинке. Спали завкладом, каптёр, культорг. Бухгалтерия, слёзно зевая, в холодных комнатах конторы брякала костяшками счётов. Со скрипом отворились малые ворота обнесённого забором кондея — штрафного изолятора, надзиратели повели в камеры вереницу отказчиков от работы. Бухгалтерия, поднявшись из-за столов, смотрела на них из окон конторы.

Дневальные торопились. Запасливые выволакивали из тайных закутков самодельные сани. Заматывались в тряпье, опоясывались вервием, натягивали латаные рукавицы. В девять часов надлежало собраться у вахты, их выводили из зоны на заготовку дров.

В девять во главе пустой бочки въехал в зону одетый в ржавое рубище старик-ассенизатор. Вослед ему брёл в зелёном солдат, отвечавший за инвентарь: лопату, лом и черпак на длинной ручке. Экипаж поехал по лежнёвке к отхожему сараю. Вахтенный надзиратель хозяйственно закрыл за ним ворота.

Повсюду — в пекарне, в прачечной и на кухне — уже кипела работа; в столовой бодро носили воду в котлы — люди дорожили своим местом; в сушилке лагерный портной, семидесятилетний Лёва Жид, похожий на евангелиста, кроил зеленые галифе для важного придурка.

Как смерч, летела по зоне весть о грядущем Сивом. Капитан со свитой обходил владения, и перед призраком его долгополой шинели каждый ощущал себя одинокой козявкой, каждый был точно путник в лучах несущихся навстречу смертоносных фар — под безумным взглядом выпученных слезящихся глаз великого князя. Кто мог, спасался бегством, ещё не успев провиниться, но уже чувствуя свою вину. В чём? В том, что сидит в зоне, под крышей, а не марширует на общие работы; да и просто в том, что живёт. Украдкой из окон, из-за углов подсматривали, куда свернёт капитанская свита. Капитан шествовал по центральному трапу, расчищенному, выметенному, справа и слева украшенному щитами с патриотическими лозунгами. Не дойдя до столовой, свернул, зашагал вдоль барakov, мимо тёмных безмолвных окон. Смерч сметал всё на его пути. Вдали случайный дневальный улепётывал к себе в секцию.

Там, за печкой, в покое и на свободе возлежал Козодой, лагерный философ, писарь, хиромант и чернушник — род сказителя. Кругом на нарах два-три счастливица, освобождённых в санчасти. Шёл неспешный разговор.

Козодой полсрока просидел в кондее, в остальное время ошивался в санчасти, часами тёр ладонь о ладонь — повысить температуру. За дешёвую плату писал жалобы и просьбы о помиловании, гадал на самодельных картах, читал судьбу на ладони, предсказывал будущее по полёту мух. Раскидывал чернуху о новом кодексе, об амнистии. Никто не верил, но слушали охотно.

Козодой повернулся на ветхом ложе, поскрёб пятернёй между тощими половинками зада. «Эх, вы, — вещал Козодой, — хренья моржовые, дармоеды-дерьмоеды... Да что б вы делали на воле — луну доили, пупья чесали? На воле работать надо, шевелиться. Пети-мити зарабатывать. На воле как? Пожрал — плати. И посрал — плати. За бабу — плати. За всё плати! А здесь тебе и хлеба пайка, и баланда, и очко в сортире завсегда обеспечены. Лежи, не беспокойся. — Он сладко потянулся. — А баб нам не надоть! Нет, братцы, на хера мне сраная ваша воля...»

В секцию ввалился дневальный, задыхаясь, обрушил на пол вязанку дров.

«Сивый идёт!»

Больные на нарах вскочили, вперили в дверь ошеломлённые взгляды. В снях уже гремели сапоги...

Визит

Никто не знает, чем люди руководствуются в своих делах, считается, что каждый соблюдает свой интерес. Так и оценивают его поступки; если же непонятно, чего он хочет, значит, интерес где-то в глубине. И никто не догадывается, что для человека этого наступила единственная, божественная минута, когда он знает, что поступает бессмысленно Тайный демон подзуживает его прыгнуть в пропасть, нашёптывает: не разобьёшься, а полетишь. Абсурд притягивает его, как магнит — железо.

Дорого стоит ему эта минута. Но в эту минуту он — бог.

Несколько недель подряд Стёпа Гривнин, о котором здесь снова пойдёт речь, ходил на работу в отдалённый заброшенный квартал. Час туда, да час обратно, и работа неспешная, не то что в бригаде, где свои же товарищи жмут из тебя сок ради лишних процентов, а чуть замешкаешься — помбригадира кулачищем между рог. Спасибо куму!

Ветка к бывшему складу была давно разобрана, вчетвером брели по насыпи, увязая в снегу. Справа и слева от дороги виднелись полусгнившие остовы штабелей и клетки забытых почерневших дров. В буртах невывезенного реквизита ещё можно было откопать крепкие жерди, годные для опор высоковольтной передачи.

Дул свирепый ветер. Невдалеке, над поломанной, заметённой снегом куртиной отчаянно мотались голые и одинокие сосны, Над ними неслись сиреневые облака. Гривнин с напарником разгребали комья мёрзлого снега. Обухом и вагой выламывали из-под наледи оплывшие чёрные колья и жерди.

Они хоть шевелились. А конвоиры сидели, прижав к щеке самопалы. Мрачные и нахохленные, молча глядели на бес-

сильно бьющееся, бесцветное пламя костра, курили, цыкали слюной. Огонь едва выползал из-под сырых плах, на торцах пузырилась пена.

Невольники — что те, что эти; одной цепью скованы. Недобрая мысль шевелилась за опущенными лбами, под ушанками с железной звездой. В пустыне снега, на остервенелом ветру проклятье принудительного безделья было для них, как для тех двоих проклятье труда. «А-а, мать их всех, и с ихней работой». Кого — всех? Опять-таки это были *они* — неопределённое начальство. Смуглый Мамед сплюнул в огонь.

«Айда. Кончай базар».

Он первым поднялся. Оба поняли друг друга без слов. Автоматы — через плечо. Заключённым: «Съём!» А те и довольны.

Все четверо полезли наверх по глубокому снегу. Шли долго. Потом насыпь кончилась. Перебрались через овраг, поднялись по склону и побрели сквозь лес, четыре привидения, не соблюдая дистанции, автоматчики впереди безоружных, пока, наконец, не показались угластые крыши, окошки словно из чёрной слюды, полузанесённые снегом. Откуда-то выкатилась с пронзительным лаем косматая собачонка, но тотчас умолкла и, поняв завитушкой хвост, затрусила прочь. Оглядевшись — деревня казалась вымершей, — они вошли в ворота крайнего дома, поднялись на крыльцо. Столбики, подпиравшие кровлю, были источены червяком, почернели и потрескались, точно старые кости. Друг за другом нырнули в полутёмные сени. Там была другая дверь, в лохмотьях войлока, с хлябающей скобой.

Со стоном поехала тяжёлая дверь, и, как весть из чужой страны, как два апостола, сдёрнув ушанки, обнажив сизые головы, два бушлата встали на пороге. Тотчас сильные руки втокнули их в горницу. Два стрельца, головами вперёд, красные и изящные, гремя сапогами и самопалами, ввалились в избу.

«Хазайка! Гостей принимай!»

Анна, словно во сне, поднялась навстречу... Сонно, затхло, тепло было в избе с низким потолком, с большой печью, от которой шёл легкий сухарный запах пересохших портянок. Сухо щёлкали ходики. Сверху, с лежанки на прищельцев усталились три пары детских глаз.

Грохнули об пол кованые приклады. Мамед уселся на лавку, по-хозяйски вытянул из разлтых штанов жестяной портсигар. Второй солдат, белобрысый, молоденький, на первом году службы, поместился рядом. Заключённым — сесть на пол. На ходу стирая с губ шелуху семечек, точно проснувшись, женщина бросилась за занавеску. На столе воздвиглась бутылка тёмнозелёного стекла. В чистом белом платочке с горошком Анна Сапрыкина несла на двух тарелках угощение.

Идея

Напарник возле Гривнина, угревшись, посапывал, его наголо остриженная и лысеющая голова свесилась на грудь. Под столом, наискосок от них, свисали в домашних вязаных носках и бумажных чулках круглые хозяйкины ноги, с двух сторон от них расставились солдатские сапоги. За столом разливали уже по третьему разу. Довольно скоро как-то сама собой явилась другая бутылка. Анна тоненьким голоском задумчиво пела песню, это была всё та же известная, жалостная песня о бродяге, бежавшем с Сахалина. Белобрысый робко подтягивал, а Мамед, который не знал слов, хлопал в ладоши, притопывал сапогами и радостно скалил свои белые сахарные зубы.

Он уже предвкушал момент, когда хозяйка полезет на лаванку. Ребятишек отошлют на кухню, парень останется сторожить внизу, ждать своей очереди, — а он поднимется к ней, и они задёрнут занавеску.

У Стёпы от долгого сидения на полу затекли ноги, он попытался пересесть на корточки. Тотчас голос Мамеда приказал сидеть.

За столом пели:

«Жена найдёт себе другого, а мать сыночка никогда!»

Анна вышла на кухню. Там она сняла с себя исподнее, оправила юбку и явилась, сияя серыми спокойными глазами.

«Сидеть!» — вновь прогремел голос.

«Гр'ын начальник, на закорки... жопа болит!». Гривнин ворочался, пробуя так и сяк переменить положение. Лезгин за

столом обнимал за талию разругавшуюся Анну. Белобрысый, изрядно захмелевший, тыкался вилкой в грязную тарелку, а с печки на них смотрели дети.

Стало совсем невтерпёж, захотелось встать неудержимо.

«Ку-уда?» Волосатый кулак, как кувалда, поднявшись, грохнул об стол, зазвенела посуда.

«Я сейчас... — бормотал Гривнин, вертясь, словно жук на булавке, — мне на двор надо, поссать, гражданин начальник... Сбегаю и назад».

«Какой такой двор, — отвечал грозно начальник, — я тебе дам двор. Сидеть, твою мать, не слезать твоё место!»

Рука его по-прежнему гладила Анну.

«Х... с ним, Мамед, пуцай сходит, никуда он не денется», — заговорил вяло белобрысый солдат.

Это неожиданно разгневало горца.

«Сказал сидеть! Вот я его, суку, за неподчинение законом-требованием, попытку побёгу!» — он двинулся было, оттолкнув товарища, к стоявшему в углу оружию, но не устоял и схватился за край стола. Задребезжали стаканы, пустая бутылка покатила и полетела на пол. Мамед плюхнулся на скамью. Второй стрелок смеялся.

«Застрелю всех паскуд!» — заревел Мамед, сжав кулаки, и как будто не знал, на ком остановить желтоватые белки огненных своих глаз. Белобрысый парнишка по-прежнему давился от смеха. Хазяйка тоже хихикала, утирая глаза углом платочка.

Вот тогда и произошло неожиданное, необъяснимое — осенила *идея*, — отчего у мальчиков, глядевших с печки, округлились глаза и раскрылись рты. И то, что произошло, они потом помнили всю жизнь.

Жук сорвался с булавки.

Арестант вскочил на ноги, подхватил с полу бутылку, и дети видели, как побелели его пальцы, сжимавшие горлышко.

Он стоял, подавшись вперёд, растопырив руки, с гранатой в правой руке, и походил на обезьяну в человеческой одежде.

Смех оборвался. «Ты что, — неожиданно спокойно проговорил второй стрелок, — уху ел?.. — Он нахмурился. — Бутылку-то брось. И садись, не тыркайся. Сейчас все пойдём... Эй, Мамед!»

Но Мамед не отвечал, не издал ни звука, он начал медленно расти из-за стола, ручищи вдавились в стол. Под его чёрным, липким и обжигающим взглядом преступник сжался. Но мыслей уже не было: за Гривнина думал его спинной мозг.

Он ринулся в угол. Это случилось прежде, чем они успели сообразить, — он опередил белобрысого, который хотел забежать ему в тыл, — Гривнин пригвоздил его к лавке, наведя на него автомат. Он стоял один посреди избы, держа палец на спусковом крючке. Достаточно было шевельнуть пальцем, чтобы скосить напрочь мерзкую сволочь! Ха-ха! Гривнин ликовал. Теперь *он* был господином. Сейчас *он* заставит их языком лизать пол.

Гривнин облизал шершавые губы.

«Беги, земляк», — сказал он монотонно, не глядя на сидящего на полу напарника, но зная, что тот глядит на него. Напарник, точно, не сводил с него полных ужаса глаз.

«Беги! — раздался снова жёсткий, холодный голос. — Рви когти, пока не поздно. Терять нечего! Думаешь, они тебя пожалеют? Пожалел волк кобылу».

Он медленно отступал. Напарник не шевелился.

Второй автомат висел на руке у Степана, сильно мешал ему; он пытался забросить его за плечо короткими судорожными движениями; наконец, это ему удалось; всё это время он целился то в одного конвоира, то в другого; наткнулся на брошенную бутылку, отшвырнул ногой. С порога правая стена не простреливалась, её загоразивала печь. Он подался влево, по-прежнему отходя осторожными шажками.

«Ты! — крикнул белобрысый. — Стой. Пожалеешь!»

Пьяный Мамед прохрипел что-то невнятное.

Гривнин усмехнулся. «А ты, — сказал он с наслаждением, — поговори у меня, сука помойная, черножопая падла...»

«Караул! — вдруг завизжала женщина. — Не пушу! Стой, ирод! Не пойдёшь никуда! — И со сбившимся платком бросилась к нему. — Милок, — задыхаясь, заговорила она. — Окстись, куды ты побежишь... Кругом тайга... Тебя звери загрызут...»

Степан опешил. Пнул Анну ногой, но она с пылающим лицом упрямо лезла на него.

«Опомнись... Мы никому не скажем... А то хочешь, я тебе дам. — Она схватилась за грудь. — Никому не дам, тебе одному дам...»

Размахнувшись, Гривнин двинул тётку прикладом. Анна полетела навзничь.

Гривнин встал на пороге. С силой лягнул дверь.

«Сидеть, суки! — проговорил он зловеще. — Если кто выскочит, не отвечаю».

Хлопнув дверью, он выскочил на крыльцо.

В десяти шагах от дома стоял лес. Смеркалось. Свобода...

Раб и потомок рабов! Он был свободен.

Тревога

Побег! Бежал заключённый. Ползучий гад, пёс смрадный, — это за всю заботу, за даровой хлеб, за то, что дали ему жить, *искуплять вину перед родиной*, туды её... А он?!..

От руководства лагпункта до высших учреждений, от исторгнутого из нирваны алкоголизма, обездоленного начальника спецчасти до угрюмого орла-главнокомандующего на высотах Главного Управления все ступени, все инстанции исполнились желчью и зажглись гневом, скрипнули зубами и задвигали жвалами, почувствовав необычайное присутствие духа. В ярости, в смятении, услышав, *кто* сбежал, появился оперативный уполномоченный, прилетел и повис когтями над обтянутым проволокой частоколом, ронял злобные слёзы, — снизу дежурный надзиратель почтительно отдал ему честь, и стрелец, дремавший на вышке вахты, подхватил на плечо аркебузу, вытянулся во фронт и тоже взял под козырёк, — впрочем, козырька на ушанке не бывает. В серо-голубой шинели, чётко и твёрдо впечатывая в мёрзлый трап каблуки зеркальных сапог, лейтенант шагал в контору, в кабинет, писать объяснение для высшего начальства.

Побег! С утра на вахте, перед воротами — всё руководство. Великий князь мрачен, как грозовая туча. Надзиратели щупают выходящих. Но не так, как всегда, не томным взмахом ленивых рук, прогулкой по рёбрам пальцами баяниста, привычно, для виду и кое-как. Тут трещат завязки, брови насу-

лены, и стальные персты чуть не срывают одежду. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. Каждый из этих безмолвно-покорных, в расстёгнутых бушлатах, с беспомощно поднятыми руками, словно разбитая армия, сдаваясь на милость победителя, — каждый! — возможный беглец.

Внимание, колонна! — Навязшие в зубах стихи вновь полны смысла и обещают смерть. — За неподчинение законным требованиям конвоя, попытку к побегу... в-вашу мать. Следуй — и не растягивайся.

И вот начинается... Стой! Ложись! Начальнику конвоя привиделось нарушение. Через сто шагов снова. Впереди, в розовом дыму рассвета, видно, как опускается на шпалы головная колонна. За ней остальные. Но нет худа без добра, и все бригады начинают работу с опозданием на час.

Тем временем в зоне шмон — тотальный обыск. Жаль, невозможно разобрать бараки по брёвнышкам. Из распоротых постельников летят на пол жалкие их потроха. Добыча — колода захватанных самодельных карт, нож из черенка старой ложки и пахнущая мышами, растрёпанная Библия в валенке у сушильщика-баптиста. Не позабыли и кондей: надзор лазает по камерам, шурует в парашах, народ раздет догола и жмётся от холода, переступает босыми ногами.

Побег! Звонят телефоны... Что такое Стёпа Гривнин, вчера ещё никому не известный, по сравнению с сонмом намертво сидящих в лагере и другими десятками, сотнями тысяч, которые ещё сядут? Микроб, пылинка. Что значит одна обритая голова, ходячий позвоночник, посреди этой громадной массы голов, людского фарша, длинными лентами вытекающего из ворот на всех подразделениях? Насрать на неё! Но нет. Придёт в движение весь аппарат, вся многоголовая рать начальников, подчинённых и подчинённых подчинённым, выступит в боевой поход дружина стрелков, командиров, проводников служебно-разыскных собак и возвратится домой лишь после того, как убедится, что беглец *слинял*, выскользнул из пределов княжества, и тогда заработает гигантская машина всесоюзного розыска и будет лязгать до тех пор, пока преступника не опознают в каком-нибудь тухлом городишке, с чужим паспортом, в какой-нибудь полумёртвой деревне, у бабы под юбкой.

...Ревёт, бушует непогода. Далёк, далёк бродяги путь. Всё ненадёжно, всё коварно кругом на его пути. За каждым кустиком ловушка, любой прохожий, заметив, побежит доносить. За ним крадутся, его поджидают на станциях, блокпостах, на перекрёстках дорог, патрули караулят на разъездах, обходят товарные вагоны, пока состав стоит перед закрытым семафором. Вся страна ему враг.

И вся страна друг. Она огромна, эта страна. Тёмной ночью непролазная чаща схоронит его, снег засыплет ямки следов. В глухом селении сморщенная старуха пустит в избу переночевать, накормит кашей и даст краюху хлеба на дорогу. Звери его не тронут, а люди отвернутся, скажут, что не видели.

Укрой тайга его глухая...

Тогда говорит: возвращусь в дом мой.

Мф. 12:44

Зимней ночью в глубине леса мерцал огонь; у костра сидел человек и готовил себе ужин в старом солдатском котелке. Котелок был без дужки, чёрный и погнутый во многих местах, а ужин состоял из растопленного снега.

Когда вода закипела, он подвинул к себе кастрюлю и стал хлебать, зачерпывая куском бересты, согнувшись над котелком, чтобы не капало мимо.

В это время явился из темноты и подошёл к нему некий странник.

Шатаясь, он приблизился к костру, сбросил наземь два немецких автомата АК-47 и протянул свои обмороженные руки.

Хозяин костра, казалось, не обратил на него внимания. Добавил снега в котелок, поставил в пляшущее пламя. Потом взглянул на пришельца и покачал головой.

Треск отсырелых сучьев был ему ответом, Полумёртвые ладони Гривнина висели над огнём.

«На-ко вот, — сказал хозяин, — попей кипяточку. Небось в бегах?»

Гость сидел на мокрой коряге, освещённый багровым светом и, придерживая рукавами кастрюлю, от которой валил пар, дул на неё своим белыми, неживыми губами. Хозяин костра поглядел на стальные игрушки, валявшиеся на снегу.

«Охрану-то, того?»

Странник покачал головой.

«Что ж, — хозяин вздохнул, — к лутчему. Расстрелять не расстреляют, а срок — он и без того срок!»

Он занялся костром, посапывая волосатыми ноздрями. К небу поднялся столб искр.

Сквозь треск горящих веток послышался голос Степана Гривнина — он говорил, едва шевеля губами, превозмогая дремоту и всё усиливающуюся боль в кончиках пальцев.

«Знаем, — бормотал Гривнин, — слышали... Всё враньё. Никого нет... привидение, сон гадский... Маленько погреюсь и пойду дальше».

Он тянул руки к огню.

«Тёпло... Ташкент... Вот погреюсь чуток, и...»

«Куды ж ты пойдёшь?»

«А вот пойду, — лепетал Гривнин. — Куды пойду, туды и пойду. В деревню, к бабам... Да не в энту, подальше... Нет, — он покачал головой. — Стороной надо. К железной дороге».

«Оцепление там. Кто ж тебя пустит».

«Ночью уеду. На тормозной площадке. Зайду сзади, и... До Котласа доберусь...»

«И, значит, опять в лагерь. Дурень ты, прости Господи».

На это пришелец ничего не ответил. Голова его опустилась на грудь, котелок стыл на коленях. Костёр угасал, и косматая фигура смутно темнела по ту сторону алых огней.

Спокойный голос говорил, точно у него в мозгу.

«Отдыхай, не торопись. Куды уж теперь торопиться...»

Нет, подумал Степан, уйду всё равно. На карачках уползу.

«Эк заладил, — сказал хозяин, точно слышал его мысли. — Уйду да уйду. Да куды ты денешься... Дальше лагеря не уйдёшь».

Гривнин выпрямился, потрянул головой, сидел неподвижно, выставив сведённые судорогой руки. Нечего мне мозги засирать, думал он, вот возьму и... Но прежде надо было переспорить того, сидевшего напротив.

«Уйду совсем из России. Пропади она пропадом».

Ответа не последовало, хозяин ворошил угли, мычал старую острожную песню. Но оборвался, закашлялся и сплюнул в огонь.

«Нехорошо это, — сказал он наконец. — Пустое брешь, и ни к чему. Никуды ты не скроешься — и здесь неволя, и там неволя. И где нет лагеря, всё равно лагерь. Только себя истомишь напрасно».

Он продолжал что-то говорить, ворошил палкой, весь осыпанный искрами.

«...нашего-то русского хлебушка сытней нигде не найдёшь».

«Да уж! — странник скрипнул зубами. — Наелись мы этого хлеба. Сыты! По самую маковку! Нет, врешь, падло, — заговорил он, обращаясь к кому-то, — кабы ты был на самом деле, небось не сидел бы тут... Суки, гады ползучие... — он забормотал, дрожа и озираясь, — как для других, так...»

И он дёрнулся встать, как тогда в избе, но тело не слушалось, и он остался сидеть на обледенелой коряге. Лес раскачивался над ним и осыпал его снегом. Костёр потух. С ужасом почувствовал Гривнин, что в мозгу у него нет больше воли. Старик, почти невидимый, вразумлял его ровно, настойчиво, словно читал над усопшим.

«Не юродствуй. Сколь с человека не взыщется, того богаче останется. Десять шкур сдерут — последняя крепче будет. Ты, парень, лутче не рыпайся. Это я тебе точно говорю. Тебе на больничку надо, коли не помрешь. Куды бежать? Чего задумал... Куды спастись?.. А ты в себе самом спасайся, тут до тебя ни один начальник не доберётся, ни одна сволочь не дотянется».

Он продолжал:

«Ружьё брось. С ружьём толку не будет. Ты вот один сбежал, а там за тебя десётерых посодют. Да сотню накажут, на тысяче отыграются... А ты ничего не делай, так-то поспокойней будет... Никого ты не трогай, и тебя не тронут. Сиди себе и жди. Они сами придут. Они, брат, везде. Побежишь — собаками разорвут, а то, гляди, пулю схлопочешь. Сидеть будешь — не тронут».

Беглец собрал силы, поднялся. Надо было этого старика кончать, другого выхода нет. Он потянулся за автоматом. Но потерял равновесие и упал.

Отшельник твердил своё:

«Сказано: злой дух вышел, да вернулся, и с собой ещё семерых привёл. И бывает для человека того последнее хуже первого. И куды вас всех носит. Тюрьма, что ль, надоела? Дать за ней другая, ещё хуже. Всё жизнь наша, парень, одна тюрьма, кем родился, тем и помрёшь».

В темноте раздался кашель, старческое кряхтенье. Гривнин, наконец, поднялся на ноги. Погавкаешь у меня, падло, сказал он или, вернее, подумал. Он стоял, пошатываясь, и целился в старика.

Старик мычал песню.

Гром автоматной очереди разорвал тишину и слитным эхом отозвался в чащах. Беглец стоял и нажимал окоченевшими пальцами на спуск, самопал гремел и гремел, эхо потрясало тайгу. Затем смолкло. С веток сыпался лиловый снег. Старик исчез.

Старика не было, но на том месте, где он сидел, остался вытоптаный след, и котелок чернел на снегу. Бессмысленная погремушка, умокнув, осталась в руках у Степана Гривнина, он нажал снизу, пустой магазин выпал на снег. Беглец посмотрел на него, гнев его стих, он испытывал странное успокоение. Где-то в глубинах слуха, во тьме мозга родился и нарастал высокий, как струна, зов овчарок.

1969, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

К северу от будущего	5
Возвращение	183
Грёзы (или кошмары?) романиста	263
Жертвоприношение	289

Б. Хазанов

К СЕВЕРУ
ОТ БУДУЩЕГО

Директор издательства *Т. Ретивов*
Дизайн обложки *Н. Макаров*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24. 11. 2015 г.
Издательство «ФОП Ретивов Тетяна»
01001, г. Киев,
ул. Малая Житомирская 8, оф. 3
Тел. (+38) 096-53-85-115

www.kayalapublishing.com

Отдел продаж
Kayala@ukr.net

Формат 66x88 ¹/₁₆
Усл. печ. л. 21,7
Подписано в печать 12. 04. 2020
Печать офсетная



Борис ХАЗАНОВ (псевдоним Г. М. Файбусовича) родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист-премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.



978-617-7697-52-6